

ЛИНОР ГОРАЛИК

# БОБО



Б О Б О





Линор  
Горалик  
•  
Бобо

Роман

Горалик, Л.

Бобо: Роман / Линор Горалик. — 408 с.

## Глава 1. Стамбул

И всюду наши флаги.

И ты, сердце мое, — флажок: трепещешь. Я не спал, и у меня не подействовал кишечник. Аслан пришел еще затемно, трогал ненавистными, похожими на стручки кэроба пальцами, слушал: тахикардия, борборигмус максимус, учащенное сглатывание; впрочем, все это объясняется просто-напросто моим душевным состоянием, я здоров, совершенно здоров. Этот раб троакара все записал в свою мерзкую тетрадь; знаю, пишет он туда только ради того, чтобы в случае неудачи заранее заготовить себе оправдания. Вот он вышагивает слева от меня, надменный стручок,— в белом костюме и красном пальто, только фески ему, дураку, не хватает, — и я отлично знаю, что лежит у него, подлеца, в саквояже, среди таблеток и настоек. Не дождется, нет, не дождется, я здоров, совершенно здоров и думать о его поганом саквояже вовсе не намерен. Отец мой уже лежал, помню, в лежку, и боли у него в паху были такие, что хоботом разбил он мраморную мозаику на полу султанского слоновника, а все же он ни разу не дал подлецу Аслану к себе приблизиться; ах, железного, железного склада были мои отец и матушка, и боевые раны их всю жизнь были мне, балованной султанской игрушке, непреходящим укором, — но теперь!..

И всюду наши флаги.

Ноги мои отражаются в проплывающих мимо витринах, и на ногах тоже — белый, синий, красный: белый ствол обвивается вокруг каждого колена, синие листья пририсованы к нему густо, зреют красные плоды, а вокруг — золото. Ноги мои великолепны; да и весь я наверняка хорош невообразимо. Толгат мой, с раннего утра щекотно наносивший на меня достойную моего нового положения красоту, имеет, кажется, полное право гордиться делом рук своих и теперь, сидя у меня на шее в лучшем своем черном костюме и при тугом сером галстуке, небось, улыбается блаженно, как бывало, когда он надыхивался дымом конопки и вел меня с собой тихо-тихо в узкую аллею, где нас скрывали кипарисы, и мы стояли и сквозь эти кипарисы и заросли бередянки просто смотрели часами на купающихся в фонтане султанят. Пот выступал у Толгата на лбу; я осторожно убирал хоботом этот пот и обсасывал соленые пальцы; потом внезапно Толгат сникал, и мы уходили, и шли в слоновник, и Толгат вяло рисовал в песке какие-то кружочки да черточки, а если завтра у султана предстоял выезд на мне, Толгат готовил мои краски и попонки, и седла, и золотые ленты для бивней. О, ленты для бивней! Теперь они — не красный и белый, а белый, синий, красный, и золотом, золотом продернуто вдоль полос: золотом, вытянутым из старых моих нарядов, три дня прошивал терпеливый Толгат присланные Кузьмой простые трехцветные ленты, а попоны и оголовья из парчи и флагов шил добрых два месяца, а под конец добрую неделю окантовывал колокольчиками. Хорош я, должно быть, очень хорош. Когда Кузьма нынче поутру увидел меня, ко всему готового, у главных ворот дворца, он только и смог, что открыть рот, снять очки, прикрыть глаза, сжать себе пальцами переносицу и тихо сказать: «Ах ты ж еб же ж поперек, Толгат Батырович!..» — так, видимо, впечатлился; и это Кузьма! Едва-едва полтора часа я знаком с Кузьмой

Кулининым, а уже мне кажется, что он не из впечатлительных. Да и у человека, которого Кузьме представили как Зорина, лицо каменное, очки черные, одежда военная, потрепанная, а на кармашке значок: белый, синий, красный.

И всюду наши флаги.

Ай-ай! (Стыдно, стыдно: не выдержал, вструбил немножко, и все подскочили, а где-то впереди вдруг стих шум толпы — и снова накатил волной.) Но и правда: очень было больно, торчал из асфальта кусок какой-то железной дряни и прямо в ногу мне воткнулся; не проткнул, слава богу, но пришлось хоботом отогнать Аслана и дать Толгату посмотреть. Толгат помял, потер, уже вроде и не так болит, а вообще надо признаться, что стопы мои немножко ноют: асфальт не слишком мне нравится, я и на парадных наших с султаном выездах его не любил, и Толгат мне всегда после них хорошо отпаривал ноги ромашковой водой. К счастью, отец всегда твердил мне, что в бою боли не чувствуешь; раз отцу пробили копьем ногу повыше колена, копье сломалось в ране, и осколок прошел насквозь, но отец, не заметив ничего, продолжал нестись вперед, сокрушая врагов, и даже после боя не сразу дал солдатам заняться своею ранюю — так они с матерью были возбуждены победой. К шрамам на его ноге я в детстве прикасался с трепетом и восторгом; по собственным моим ногам начинали бежать мурашки, и я тихо взвизгивал, за что отец недовольно шлепал меня по голове. Они все-таки любили меня; я понимаю теперь, что холодность их объяснялась вовсе не недостатком любви. Если бы они дожили до этого дня, может быть... Нет, нет, не надо об этом думать. Важно лишь то, что день этот настал.

И всюду наши флаги.

Толгат тихонько наддает мне за ушами двумя пятками — собраться, значит, надо, подходим, значит, к праздничной толпе. Сердце мое вдруг проваливается



куда-то, нет-нет, постоит, то есть буквально постоит, постоит-ка со мной на месте, и я постою: а как мне дальше идти? Ах ты глупый Толгат, это ты должен был подумать про такой момент заранее и подготовить меня, и убери свои каблуки от моих ушей, как мне дальше идти-то, в самом непосредственном смысле? Ходить под султаном я учился с тех пор, как мне был годик с небольшим, и учили меня хорошо, учили еще до тебя, Толгат; покойный старик Керем становился передо мной на колени и показывал: головой не качать, глаза держать долу, ноги ставить плавно и перебирать ими мелко-мелко — плыть. И я понимал: все это для того, чтобы при всей красоте моей не на меня смотрела толпа, а на султана, а уж если и на меня, то не как на меня, а как на знак султанова могущества; если бы при этом, не дай бог, султан из-за меня еще и пошатнулся... От одной этой мысли делалось у меня в животе нехорошо. Но как же мне идти сейчас? Разве на Кузьму Кулинина пришли посмотреть эти люди? Разве на Зорина они явились в первый и, может быть, в последний (помилуй господи!) раз посмотреть? Нет, не на Зорина и не на Кузьму, и уж точно не на эту землеройку Аслана. И тогда идти бы мне надо было, видимо, быстро, свободным шагом, подняв голову и кидая по сторонам мужественные взгляды и легкими кивками всех приветствуя. Но в то же время ясно, что я, разумеется, не вполне и себе принадлежу: я представляю новую свою Родину, и все во мне должно говорить о ее мощи, чести и достоинстве. Перестань же, Толгат, пинать меня за ушами! Я думаю, я думаю! Вот что: ни перед кем моя новая Родина не склоняет головы, это я точно знаю, — и я не должен. Хорошо, кивки отменяем. Итого: шаг быстрый, свободный, глаза смотрят прямо, голову поворачиваем из стороны в сторону, благо толпу полиция удерживает справа и слева, взгляд боевой, мужественный, хобот полуприподнят. Кончай, Кузьма, нервничать, идем,

идем. Ага, что, трудно теперь поспевать за мной? А ты поспевай! Голова вправо, голова влево, глазами встречаемся, впечатление производим правильное. Только, мамочки мои, что же это они на меня так странно смотрят? По лицам их я вижу — это новые соотечественники мои, так почему же взгляды их так суровы? Почему не бросают мне цветы и яблоки, почему не кричат «Бобо, Бобо, Бобо!!!..»? Я не стал бы эти яблоки подбирать, помилуй боже, а все-таки где мои яблоки и где мои цветы?! Протискивается вперед какой-то рослый с кудрями, в руках у него рупор, и он начинает кричать очень громко и неприятно: «Слон тирану не игрушка! Слон тирану не игрушка! Слон тирану не игрушка!!!..» — и флаг у него на плечах не наш, а тот, ужасный, желто-голубой, и тут толпа подхватывает: «Слон тирану не игрушка! Слон! Тирану! Не! Игрушка!!..» — и я не понимаю, не понимаю, не понимаю, и что-то мокрое шлепается об мою ногу, и девчушка с синими волосами вскрикивает: «Ой, слоник, прости, это не тебе!» — и перекатывается по толпе смех. Тычок за ушами, и еще, и еще: быстрее, быстрее! Я уже не смотрю по сторонам, я прибавляю шаг, и Кузьма уже почти бежит рядом со мной, и Аслан переходит на мелкую рысь, и Зорин цедит сквозь зубы: «Мрази сраные...» — и только когда толпа остается позади, я опять начинаю дышать и понимаю, что мы уже вошли в порт, в порт. Толгат гладит меня по голове, но что мне сейчас Толгат? Не понимаю, не понимаю. «Всех, сука, перевешать, на хуй!» — рявкает Зорин. Кузьма хмыкает, нам навстречу бежит человек в костюме, с застывшей улыбкой на лице, за ним семенит красивая начесанная женщина с папкой и микрофоном, следом спешит на полусогнутых ногах рослый сатир с камерой, и еще кто-то, и еще, а я все не могу отдышаться, не могу и не могу, и пока эти люди жмут руки Кузьме, и Зорину, и даже Аслану — не могу и не могу, сколько бы Толгат меня ни

гладил. Не понимаю и не замечаю, как мы доходим до пристани, и даже того не замечаю, что успели все уже как-то полумесяцем построиться по сторонам от меня. (А в хоботе у меня уже цветы, между прочим. А я только и чувствую, что в груди так больно, так больно и так... Почему? А какие фантазии виделась мне! Что передадут младенца мне из толпы и я его на хоботе покачаю... Что девушки венки мне поднесут, и будет он мне мал, и я одной из них нежным жестом на шею надену его... Ах, как стыдно теперь, как стыдно и мерзко, мерзко, мерзко от самого себя, и извлеки же ты из этого, Бобо, урок: все потому, что ты и фантазии твои достойны дворцового хлюпика, султанской покатайки, вот от чего тебя так тошнит! Ты солдат теперь — ну так и соберись же ты и веди себя как солдат. Возьми и укуси себя изнутри за щеку, тряхни головой как следует и соберись! Ай-ай! Тот же.) Что Кузьма говорит? Посмотри вон на Кузьму, как он вольно руками поводит и с ноги на ногу переминается. Что он говорит с трибуны, показывая то на меня, то на баржу у меня за спиной? Я, значит, доказательство того, что турецко-российская дружба переходит человеческие границы. Человеческие границы! А что, неплохо. Смотрю на красивую женщину, а красивая женщина смотрит на Кузьму, блестит черными волосами, улыбается, кивает. Все ничего, ничего, слонячая твоя душа, все ничего, давай, хобот полуприподнят, глаза в камеру, во вторую, в третью. Видишь: смотрят на тебя, пальцами показывают, снимают. Все ничего.

И всюду наши флаги.

Кончили снимать, и красивая женщина идет торопливо к нам, и я чувствую, как подсобирается Кузьма, но она идет к Зорину, роется в папке, достает длинную узкую книжку с серо-красной обложкой, «Моя Чечня (стихотворения)»:

— Подпишите!

Зорин снимает очки: глаза у него ясные, круглые и с такими светлыми ресницами, что у меня сердце екает: как похож он на бедного моего Мурата! На секунду я так и представил себе, что Зорин подается вперед к этой женщине и, задрвав иголки, обнюхает ее, шевеля кончиком носа, с ног до головы. Но Зорин вместо того вынул из кармана золотую ручку и книгу подписал с большой аккуратностью («Дайте угадаю... Елена!»). Селфи. Елена уходит с оператором. Зорин оглядывается: заметил ли Кузьма? Кузьма заметил, но сделал такое лицо, что лучше бы не заметил. Зорин поджимает по-женски мягкие губы и становится окончательно похож на Мурата во дни сомнений и тягостных раздумий, непременно наступавшие, когда пузико у него начинало задевать песок и Аслан переводил его на довольно безжалостную диету.

— Все, — говорит Кузьма, — хватит, пора, пора, пора, пора.

Зорин выбрасывает руку влево:

— Шампанское!

Ему тут же подносят бокал; Зорин приспускает очки: ах, недотепы! Оказывается, по обычаям новой Родины моей положено разбить бутылку шампанского о борт баржи, прежде чем впервые отправиться ей в плавание. Сердце мое екает: а если бы Зорин забыл?! Не люблю дурных примет. Время идет, мы стоим, недотепы мечутся: нет бутылки, все выпито! А Зорин, видать, тоже не любит дурных примет: когда Кузьма отводит его в сторону и шепчет ему что-то, разворачивается к Кузьме спиной. А, вот бежит уже кто-то с бутылкой: ба-бах! Что же, от меня ждут, что я пойду первым; и пойду, как не пойти, а только сходни эти какие-то слабенькие; гм. Не о себе забочусь, но провалиться сейчас между пристанью и баржей было бы в высшей степени недостойным представительствованием. Еще минуту постоять можно, пока прощаются со всеми Кузьма и Зорин и пока Аслан ищет по всей

пристани поганый саквояж свой, который никому не готов доверить. Что ты хочешь от меня, Толгат, зачем пинаешься? Толгат тычет пальцем куда-то вниз, вниз; осторожно беру хоботом бутылочный осколок, поднимаю и кладу себе на голову, и Толгат, судя по всему, прячет его в свою старую котомочку.

— Все, — говорит Кузьма раздраженно, — ну все, все, все!

Ай-ай! Как грохнул оркестр, и сходни нехорошо скрипят, и у меня опять, кажется, тахикардия и во рту сухость страшная. Толгат тянет меня за ухо: мы поворачиваемся к провожающим; Толгат щелкает пальцами: я трублю три раза, словно сейчас закроются за мной двери султанского дворца, — конец парада. Ноги у меня натерты, и я не уверен, что моей коже показаны морские брызги; надо будет, чтобы Толгат хорошо почистил меня и растер. К счастью, в бою, по словам отца моего, не чувствуешь и грязи; однажды отец мой шел со своими солдатами во главе войска одиннадцать дней, без пищи и почти без воды, пробирался сквозь заросли, вез на спине раненых, и их кровь спеклась на нем такую жесткою коркою, что под ней завелись муравьи. Так что же — я не вытерплю морскую воду? Пусть даже Толгат меня и вовсе не чистит! Вот, вижу, построен для меня на палубе особый шатер, а я возьму и не пойду в него, пока туда обед мой не принесут! Бушуй, стихия, я готов помериться с тобой силами — меня, видит бог, ждут битвы посерьезнее уже через несколько дней.

А все-таки — помилуй, Господи, Господи, помилуй, — как же страшно мне!

И всюду наши флаги.

## Глава 2. Керчь

Как я блевал!.. Я двадцать с лишним часов блевал так:

1. С надрывом горла, чем-то твердым, чего, клянись, я отроду не ел.

2. Мелкими приступами.

3. Длинными волнами, предварительно хорошенько вдохнув (это когда ко мне уже пришел некоторый опыт).

4. Чем-то кислым.

5. До судорог в желудке.

6. Чем-то горьким.

7. Качаясь от усталости и еле держась на ногах, так что Толгату пришлось меня к переборке подвести и дать мне на нее опереться, а то не знаю, чем бы это закончилось.

И все это время безжалостный Толгат заставлял меня пить воду из ведра, и с этой водой, честно говоря, блевать было полегче, но меня и от нее тошнило! Слава богу, больше никогда не придется мне взойти на проклятую баржу; одной мыслью во мне душа держалась — что покойный мой Мурат в последнюю ночь перед гибелью нагадал мне на своей иголке смерть в бою, а выблевать душу от качки — об этом речь не шла. Думаете, стыдно мне? Нет, мне вовсе не стыдно! В двух случаях я бы должен был стыдиться охватившей меня немощи: если бы источником ее была трусость или другая недостойная черта характера (но нет) или

если бы я вел себя во время этой напасти подобно Аслану. Ха! Этот великий лекарь, этот суровый эскулап, дома нагонявший страх на каждую тварь, принадлежавшую султану, здесь, на барже, видимо, мучился не меньше моего и требовал, чтобы Толгат, вовсе у него в подчинении не находящийся и при этом нужный мне каждую секунду, ежеминутно бегал к нему в каюту с содовой и компрессами и кислыми леденцами, и таблетками «Драмины», и доносами — доносами! — о моем состоянии. Я не намерен был это терпеть и, стоило Толгату отлучиться, принимался из последних сил трубить, чтобы напомнить Аслану, к кому тут Толгат приставлен, и Толгат, верный мой человек, сразу бежал ко мне в шатер сломя голову. Не сомневаюсь, что он врал Аслану, будто состояние мое лучше некуда, а если и доносятся до лекарской каюты какие-то подозрительные звуки, то это потому, что я отрыгиваю немножко после сытного питания. Ах, если бы я мог в тот день питаться! Новое мое довольствие превосходит все, что мне раньше доводилось есть, и обед, ждавший меня в шатре сразу после отплытия, был так хорош, так хорош — о, как же я пожалел о нем потом! До этого ананасы я видел только в клетках у мерзких маленьких бонобо, которых презираю и буду презирать по причинам очевидным; а им они доставались только потому, что султанша этих бонобо обожала и закармливала (что, интересно, нам это о ней говорит?). А ведь на обед у меня были еще папайя и рамбуваны, кокосы и айва, китайские яблоки и огромные красные апельсины и столько сладкого тростника, что при виде его я немножко вострубил... Надобно сказать, что уже к середине обеда стало мне несколько томно, так что я не доел и трети, и хорошо — когда зеленый, как жаба, Аслан выполз утром поглядеть на меня, я вновь с аппетитом хрустел тростником, и заметно было, что при виде фруктов Аслана снова замутило. В этот момент жизнь моя была удивительно

хороша; морской ветерок играл у меня в ушах; Аслан страдал; спал в углу моего шатра, хорошенько вымыв полы, мой верный Толгат; виднелся уже впереди берег моей новой Родины; сладок был тростник; и, если не допускать мыслей о предстоящей мне судьбе — мыслей, от которых сжимался мой натерпевшийся мученный желудок, — я был счастлив в это утро, счастлив так, как уже никогда не буду счастлив.

Дорогой ты мой Мурат, видели бы меня сейчас твои стеклянные глаза! Слезы наворачиваются, и першит в горле; как тяжело мне думать о тебе в твоём нынешнем состоянии, и как же я тоскую. Где похоронено сердце твое, и печень твоя, и неумный твой желудок? Да нигде, конечно: выброшены в мусор, разумеется, — негодяй Аслан распотрошил тебя, как обычную скотину; я видел тебя сквозь окно омерзительной трупной залы, которую этот мерзавец называет музеем, — будь он проклят, подлец, так замечательно сделавший подлую свою работу, — ты прекрасен: левая передняя лапа твоя поднята, шея вытянута вперед, ты словно бежишь навстречу новым экспериментам, один из которых и погубил тебя; ты был неусмирим. Молочай! Говорят, он горек невыносимо, но что остановит исследователя, задавшегося целью перепробовать все растения в султанском саду? Ты знал, чем рискуешь, но я понимал, что с тех пор, как поймали тебя, огромный сад наш был тебе постыл и тесен, и только так ты мог занять свой ненасытный ум; но как я плакал, глядя на тебя сквозь это пыльное окно, — и вот, плачу сейчас. Ты собирался отправиться в ночь и вдруг сказал мне — ты, бесстрашный, мне, едва узнавшему в тот вечер о своей новой судьбе, ошеломленному, растерянному, бессонному: «Может, сегодня?» Я понял тебя сразу: до этого ты предлагал мне погадать дважды, и дважды я отказывался — не потому, что не был суеверен, но потому, что был; теперь же душевная слабость взяла верх надо мной, и я кивнул. Ты повернулся ко мне



задом; я все не решался, сердце мое колотилось; наконец я зажмурил глаза и осторожно, чтобы не уколоться, порылся в твоих полосатых иглах, захватил одну пальцами и дернул что есть мочи. Ты взвизгнул, я ойкнул, все было позади: игла осталась у меня. Ощетинившись от боли, ты стал бегать по кругу; чувство вины захлестнуло меня, я, понурившись, молчал; но вскоре ты подошел ко мне, успокоенный, и я положил иглу на траву между нами. Мы стали вглядываться в иглу — ты, вытянув шею и приподняв переднюю левую лапу, и я, ничего не понимая, но боясь и жалея уже о своем согласии. Игла была длинная, очень длинная и совсем кривая; в самом начале шла по ней маленькая трещинка; основание было совсем желтым, почти золотистым, а дальше мелко шли длинные черные полосы и небольшие белые промежутки. Последняя черная полоса казалась почти серой, и край ее там, где она переходила в длинный белоснежный кончик, был размыт; стоило тебе дотронуться до иглы лапой в этом самом месте, как игла с тихим хрустом переломилась. Я вскрикнул и отпрянул, ты покачал головой. «Скучно тебе не будет», — сказал ты, но я уже не слушал тебя: я побежал прочь, я не хотел знать, не хотел... Вот что мучает меня: останься я с тобой, выслушай я тебя, может, в тот самый вечер ты бы не... Нет, нет, не в тот — так в другой, и я не могу такое на душу брать. И думать о той игле мне нельзя, нельзя, а я все думаю безо всякого толку: что это была за трещина? И почему обломился конец? Я почти уверен, что черные полосы были предстоящими мне битвами, а белые — заслуженными передышками между ними, но значит ли это, что... Ах, да перестань, Бобо, перестань, перестань, перестань, ты эдак с ума сойдешь! Сосредоточься лучше на том, чтобы держаться крепко на ногах, потому что баржу водит вправо и влево, и суетится Толгат, и играет на берегу музыка громко и незнакомо: понимаешь ли ты, что произойдет

сейчас? Понимаю и не понимаю: вот через минуту, через секунду я впервые ступлю ногой на берег нового отечества моего. Толгат уже лезет на меня; вышел из каюты готовый ко всему Кузьма Кулинин в светлом пиджаке со светлым галстуком, стоит у него за плечом Аслан, сумевший привести себя в относительно приличное состояние, и Зорин вглядывается в толпу, приложив ко лбу руку козырьком, а потом подает кому-то на берегу знак: четверо людей в черных костюмах, кажется, только этого знака и дожидались. За спиной у них небольшая толпа, и от толпы делается, честно говоря, страшновато мне.

— Человек двести, — с интересом говорит Зорин. — Ваша работа?

— Они сами, клянусь, — отвечает Кузьма, — но с прессой работал я.

— Ниче так, — говорит Зорин и усмехается.

— Лиха беда начало, — говорит Кузьма очень серьезно, и Зорин смотрит на него поверх очков долгим заинтересованным взглядом, и вот уже пора идти вперед, и я иду очень медленно, и сходи скрипят подо мной, и я ставлю на причал одну ногу, потом другую, и делаю по причалу несколько шагов, и останавливаюсь, и зажмуриваю глаза.

Россия. Керчь.

Мужчины в черном уже стоят вокруг меня, Зорин обходит их, здоровается, Кузьма распоряжается людьми с камерами, но мне не до камер.

Россия. Керчь.

Кто-то выходит из толпы, кто-то дает мне цветы (женщина с ребенком на руках; можно), кто-то хочет дать мне яблоко (мужчина с маленькой девочкой; нельзя). Толгат пришпоривает меня пятками за ушами, я не чувствую, как начинаю идти вперед, — я дышу. Я дышу русским воздухом; вот и все, я русский слон теперь, и чувство у меня такое, будто никаким другим слонном я никогда и не был. Да разве я и был? Я родился

в султанском парке, жил в султанском парке, покидал султанский парк два раза в год для прохода по одному-единственному маршруту и в султанский парк возвращался. Родина моя была — султанский парк. И вот — Россия. Керчь.

Не помню я, как мы дошли, но помню, что стертых ног я под собой не чуял, а это о чем-то говорит. Мне хотелось, чтобы провожающие из толпы гладили меня, трогали меня, говорили со мной, но надежные люди в черных костюмах не позволяли, что, может, и к лучшему было, ибо я от нежности непременно бы расплакался. Об одном только я жалел — что солнце есть, а боевых моих лат на мне нет; я понимал, что мне их выдадут, скорее всего, уже прямо перед первой битвой, но я хотел бы в такой день сиять и блистать во всем величии русского военного слона ради народа моего, а я был всего-то наскоро покрашен золотой краской и одет в свои трехцветные попонки, больше ничего после моего нездоровья Толгат сделать не успел. Мы свернули направо, потом налево, потом снова направо, на площадь Ленина, и я увидел: огромная сцена, вся украшенная шарами — синий, белый, красный, — стояла на площади, и толпа, в десять раз больше той, что шла за нами, встречала меня, а перед сценой были расставлены стулья, много-много стульев, и красно-белые машины подъезжали одна за другой, одна за другой, и из машин этих бережно выводили и вывозили на креслах людей в военной форме с белыми повязками, и рассаживали, и располагали. И все они смотрели на меня, и я на них смотрел. И сверху сцены было написано: «За дом, За Родину, За славу!!!» И меня увели в сторону и спрятали за деревьями, и я жевал незнакомые мне сладковатые ветки, и нервничал, и меня опять тошнило. И заиграла вдруг музыка, и вышел на сцену Кузьма, и заговорил, и обо мне тоже.

— Я долго готовился говорить с вами, — негромко сказал Кузьма в микрофон, нервно снимая и снова

надевая очки, — но сейчас, стоя на этой сцене, я чувствую, что лишился слов. Я простой русский дипломат, а вы — вы слава России. — Тут Кузьма перестал говорить и опустил голову, и я перестал жевать и опустил голову, потому что я был простой русский слон, а они были слава России. — Кровь, пролитая вами на поле боя, в борьбе за освобождение братского украинского народа от марионеточного нацистского правительства, танцующего под дудку развращенного Запада, взойдет цветами вечного мира, межнациональной дружбы и подлинного благоденствия. Я знаю, вы пришли сюда не затем, чтобы слушать меня; сейчас я уберусь; я только быстро расскажу вам небольшую историю.

Тут Кузьма повернулся прямо ко мне и поманил меня рукой, приветливо крикнув: «Толгат Батырович, а приведите к нам Бобо!»; Толгат двинул меня каблучками за уши; я растерялся и засуетился и напрямик попер через кусты, стыдясь и мучаясь своей нелепостью, и кое-как допер до сцены и встал между первым рядом и Кузьмой, и тут же солнце принялось бить мне в глаза, так что я перестал что бы то ни было видеть; зато в рядах раненых произошло большое оживление — я им явно очень понравился, и кто-то крикнул Толгату: «Батыр, дай прокатиться!», и смех мелкими шариками посыпался мне под ноги, но смеялись не надо мной, и я улыбнулся тоже, и вдруг стало почти не страшно.

— Друг России, турецкий султан, подарил этого замечательного слона отцу нашей нации, нашему верховному главнокомандующему — нашему царю, — сказал Кузьма, становясь вдруг очень серьезным, и смех измелечал, задохнулся, исчез.— Когда в Стамбуле мы шли от султанского дворца к порту, нам внезапно перегородила дорогу кучка каких-то хмурых личностей. Я не сразу понял, кто это, а когда понял, было поздно: это явились эмигранты, сбежавшие из нашей страны, предатели и отщепенцы, кормящиеся из рук Запада, чтобы поливать грязью нашу с вами Родину, нашего

царя и нашу Спецоперацию. Мы готовы были пройти мимо этой горстки ненавистников нашего государства, не вступая с ними ни в какие разговоры, но тут произошло страшное. Я до сих пор не могу поверить, что люди способны на такой поступок, но любой из моих попутчиков это подтвердит: из толпы выскочил какой-то плюгавенький человечек в очках, размахнулся и кинул в Бобо «коктейлем Молотова».

Ужас пробрал меня. На площади стояла тишина. Помолчал и Кузьма, а потом заговорил тихо-тихо, словно боялся, что от его слов все переменится в прошлом и настоящем.

— Господь берег нас. Бутылка ударилась об ногу нашего Бобо и упала на асфальт, только чудом, чудом не взорвавшись. А то, что сделал Бобо, потрясло меня: вот этими самыми ногами, — тут Кузьма указал на мои ноги длинным пальцем и как следует им потряс, — вот этими самыми ногами он успел затоптать огонь, и потом на корабле Аслан Реджепович лечил его от ожогов. А я сидел у себя в каюте, возвращался мыслями к этому ужасному событию и все думал: русский Бог — за нас. И русская природа в лице Бобо — за нас. А больше нам никакой поддержки не надо, и на любые санкции нам плевать. Так?..

И пока грохотали аплодисменты, пока прижимал руку к груди Аслан, на которого, разумеется, никто не смотрел, пока пялились на меня камеры, я стоял и не мог отвести глаз от Кузьмы, уже сбегающего со сцены, уже передающего микрофон какому-то рослому, дебелому, фрачному, с полной головой золотистых волос, и думал: но ведь не было, не было этого всего — но очень надо, чтобы было, а если надо, чтобы было, то пускай бы оно как бы было! Не мне надо, бог с ним, со мной, не для себя я сейчас раскланиваюсь, но для этих людей с забинтованными ногами и перевязанными головами, для этих людей, готовых по выздоровлении вернуться в бой ради другого народа, и для

тех, кто стоит там, поодаль, за их спинами, и разве, случись такое на самом деле, я бы не?.. Тут на секунду промелькнула неприятная тень сомнения в мыслях у меня, но я сказал себе, что иной Бобо, лучший Бобо, так необходимый этим людям Бобо ни секунды бы не сомневался, голыми ногами бы по огню пошел и что это от его имени я сейчас киваю и кланяюсь и от его имени цветы получаю, которые, между прочим, неприятно колются, когда мне их засовывают под попонку. А этот, фрачный, златокудрый, уже пел со сцены широко и сладостно, и нес его на волнах оркестр, и скоро закачалась на этих волнах моя душа:

...За что сражался ты, солдат?  
За счастье братского народа,  
За наш язык, за их свободу,  
За общий дом, за общий сад!

И раны свежие твои —  
Следы безжалостного боя —  
Навек останутся с тобою  
Как знаки славы и любви...

И прослезится медсестра,  
Шепча над воином молитву,  
А сердце рвется, рвется в битву —  
Дожить бы только до утра!

Держись, солдат, борись, солдат.  
Твой командир нахмурит брови  
И скажет: «Поправляй здоровье,  
Ребята ждут тебя назад».

И ты вернешься в ратный бой  
За счастье братского народа,  
За наш язык, за их свободу,  
За жизнь, спасенную тобой!..

Память моя! Почему от этих слов — ах, да совсем же простых слов, неприлично простых слов — горло дерет у меня и я запрокидываю голову назад, ровно как тогда, на площади Ленина, чтобы слезы у меня из глаз не полились? А потому что не в словах дело: дело в вере; что это был за момент? Это был момент, когда я был полон... Но нет, нет, что теперь говорить об этом; это был момент русского моего детства, если угодно; покончим на том и вернемся на площадь и скажем прямо, что не только у меня были слезы на глазах, когда песня кончилась, поэтому я не сразу сообразил, что именно торжественный голос над нами говорит. А говорил он: «Виктор Зорин. Стихотворения нового времени». Когда я понял наконец, что это именно нашего Зорина, начальника моей охраны Зорина, ждут теперь на сцене, я думал, что он бегом побежит, но Зорин стоял напряженный, сжимая в руке телефон и играя желваками, и я понял, что он переживает аплодисменты.

— Когда это ты ввинтиться успел? — весело поинтересовался Кузьма.

— Хуй соси, — очень серьезно ответил Зорин и пошел к сцене твердым шагом, и быстро поднялся, и долгим жестом выпрямленных перед собой рук добился тишины на площади, и всмотрелся в телефон, и стал читать.

Хлопали, и хлопали хорошо, но Зорин замахал руками — не сейчас, не сейчас — и прочел еще два стиха; один очень мне понравился, напевный и грустный, «Ночь укрывает танки траурной простыней», — про то, как солдаты, оставшиеся без командира, подсчитывают потери и составляют донесение в штаб («...убит командир — один...»), а второй не понравился мне совсем — там солдат пишет девушке, которая его отговаривает воевать за чужую свободу («...Что тебе этот братский народ, если губы мои пересохли?..»), и вместо

того, чтобы поставить ее на место и напомнить ей, что быть боевой единицей и верным слугой своей Родины — высшая цель мужчины, долго рассусоливает про то, как он вернется победителем и сможет без стыда смотреть ей в глаза. Я начал думать о Зорине: Толгат — как бы часть меня, Аслан — чудовище, Кузьма мне нравился, но хитрец большой, а Зорин, как и я, воин, и я должен бы ощущать его ближе всех к себе, но две вещи мне мешали: первое — открывшиеся мне только что в душе Зорина большие странности, а второе — что он вроде бы не замечал меня и этим неприятно напоминал Аслана — тот уделял мне, напротив, очень много внимания, но так, словно я животное. Вот и сейчас, закончив читать, Зорин на меня даже не посмотрел, а ведь всем концертом именно меня чествуют! На краю сцены уже стояли три девицы в красивых вышитых костюмах и с бубнами, явно намеренные танцевать, но Зорин на них махнул рукой — подождите, мол, — и сказал в микрофон:

— Если есть какие-то вопросы по этим новым стихам и вообще — вы задавайте, я буду рад ответить.

Хмыкнул у меня над ухом Кузьма, повисла тишина над площадью, и стало немножко неловко, но тут откуда-то из-под сцены вывернулась бойкая девица, которая, рассыпаясь в восторгах и выделяя из себя бесконечные значки с гербом города Керчи, встречала нас в порту, вела, забегая собачонкою мне под ноги, на эту площадь и, заливаясь краской, пятьдесят раз за минуту спрашивала Зорина перед концертом, не желает ли он воды, мороженого, шампанского, шашлыка из местной замечательной шашлычной, сока, шампанского, воды, печенья, воды и шампанского, а мне даже яблока не предложила. Девице этой теперь поднесли микрофон, и она, став потной и пунцовой, проговорила в него все той же бешеной скороговоркой:

— Виктор, мы всей Керчью счастливы, и для нас такая честь... Спасибо вам за потрясающие, ну просто



потрясающие стихи!.. И вопрос у нас, у меня был... Ну мы с вами по дороге уже познакомились, но я и по текстами вашим вижу, слышу... Вы героический, героического склада человек, вы герой по натуре! Вот я хотела спросить, как вы удерживаетесь, как вы сдерживаетесь, чтобы не пойти сейчас на фронт? С вашим опытом, ну и... Как вы вот сдерживаетесь, чтобы не пойти сейчас в бой, ну на спецоперацию, с вашим героическим складом?

В этот момент я понял, что Кузьма заболел. Я не видел его лица; он отвернулся и стоял теперь ко всем спиной, а ко мне боком; его мелко трясло, он закрывал рот рукой, и мне стало по-настоящему страшно — я вспомнил рассказы маменьки о том, как у отца начинался муст: с мелкой безудержной дрожи, выдававшей нарастающую у отца внутри ярость, после которой отец, ослепленный этой яростью, крушил все подряд, огромный, страшный, неостановимый, крушил до пяти дней кряду, и даже мать, которую он обожал и которая по силе не уступала ему, уходила тогда у него с дороги. Я вдруг осознал, что, невысокий и худой, в мусте Кузьма будет страшен, и попятился, но тут Кузьма стал издавать такие звуки, как черная свинья Бабируса во время обеда, и я в ужасе заметил, что он вовсе не болен, а давится смехом. Пауза на сцене между тем длилась, а потом Зорин заговорил тепло и мягко. Он сказал, что ему очень тяжело. Что засыпает он плохо. Что он каждую ночь спрашивает себя, почему он сейчас не спит на земле вместе со своими братьями по оружию. Но кто-то, сказал Зорин, должен не спать. Кто-то должен смотреть и слушать, кто-то должен писать и рассказывать. Кто-то должен стать голосом тех, кто идет в бой. И этим человеком пришлось стать ему. «Я ответил на ваш вопрос?» — спросил Зорин, поднося руку ко лбу козырьком и глядя на девицу, но как бы и поверх девицы. Пунцовая и всячески переминаясь, девица закивала так, что с ее макушки слетел на

глаза обрuch, а затем сложила пальцы сердечком. «Ну, я рад», — печально сказал Зорин и сошел из мира горнего к нам — к Аслану, у которого он сразу попросил две таблетки кетанова, и к громко сморкающемуся Кузьме, которому он немедленно показал от бедра фак. Девушки с бубнами принялись плясать то, что я сразу понял как русский танец, и вдруг я почувствовал, что ужасно устал, и закрыл глаза, а когда я их открыл, уже не били бубны и не пели хором учащиеся 67-й школы; на сцене разбирали аппаратуру, зато ко мне выстроилась огромная очередь желающих сфотографироваться.

Я был не рад, но тронут; с одной стороны, казалось мне, что парадные портреты для представителей моей профессии так не делаются, и, пока не наденут на меня латы, лучше бы было с фотографированием повременить; а с другой стороны, я вдруг представил себе, что будут значить эти фотографии для тех, кто сейчас терпеливо томился под вполне себе резким мартовским ветром в этой длинной очереди, когда дойдет до них, не дай боже, весть о моем, скажем, боевом ранении: подзовут они друзей своих и, нежно касаясь пальцами экранов, скажут им: «Вот он, наш Бобо: мне довелось видеть его, и я поднес ему яблочко!» При мысли о ранении мне посмурнилось; я затряс голову, и кто подошел ко мне следующий и дал очередное яблоко, тот получил плохую фотографию, а два раза одному и тому же семейству или, скажем, раненому человек в черном костюме фотографироваться не давал, и я был ему благодарен: бесконечные яблоки надоели мне, я проголодался по-настоящему, и попадающемуся время от времени пирожку с вишнею бывал очень рад — мне была видна на дальнем краю площади торговка с двумя полными пирожков корзинами, и очередь к ней стояла немногим меньше моей, чтобы, купив пирожок у нее, мне же его и принести. Пирожками, однако, тоже сыт не будешь; терпение

мое кончалось. Я стал топтаться и трубить; очередь попятилась; прибежал откуда-то Толгат, утирая масляные губы; я вдруг обиделся — я понял, что из наших остался на площади совсем один, если не считать безмянных мужчин в черных костюмах; что, судя по аромату, идущему от Толгата, все они где-то неподалеку едят и пьют, пока я катаю языком по зубам несчастные яблоки и чуть не целиком глотаю жалкие пирожки; что, пока мои ноздри раздражены городскими запахами, они там вдыхают фимиам парадного обеда.

От досады не желал я иметь с Толгатом никакого дела, но он сказал что-то одному из людей в черном, приподнявшись на цыпочки, и тот, дав знак своим неразличимым братьям, принялся вместе с ними отеснять недовольную очередь от меня. Я понял, что сейчас поведут и меня пировать, а пустой желудок — плохой хранитель чувства собственного достоинства: я смягчился и дал Толгату на себя взобраться, отчего толпа смягчилась тоже и радостно нам похлопала. Мы пошли через площадь, в направлении старухи, уже паковавшей свои корзины, к которым больше никто не проявлял интереса; раненых увозили, остальные шли прочь. Я бы прихватил еще пирожков, но решил не портить себе аппетита, однако тот человек в черном, который всеми распоряжался, дал нам знак, и мы остановились прямо у самых корзин. Я сунул было хобот под теплое полотенце, но Толгат обидно пнул меня, и я оставил надежду поживиться.

— Хорошо поторговали, Надежда Викторовна? — спросил тот человек в черном, который был рыжий.

— Люди нынче бедные, — грустно сказала торговка, разгибаясь и поворачивая к нам бледное узкое лицо. — Поторгуешь тут, Сашенька.

— Ну, давайте сочтемся, и мы пойдем, — сказал Сашенька. — Ждут нас.

— А может, пирожки оставшиеся заберете? — безо всякой надежды спросила торговка.

— Это само собой, — сказал Сашенька. — Это нам, я думаю, сегодня причитается.

— Жадный ты, Сашенька, — сказала она.

— Я не жадный, — сказал рыжий в черном, — я пирожки люблю.

— Тридцать на двести, ваша половина, — сказала торговка, залезла себе под фартук, достала пачку денег и принялась отсчитывать.

— Так-таки ровно двести? — с усмешкой сказал Сашенька.

— А вам до копейки надо? — огрызнулась торговка.

— Мне не надо, — сказал Сашенька, — я точность люблю.

— Вот вам точно три тысячи, — сказала торговка и протянула ему купюры.

— Не умеете вы торговать, Надежда Викторовна, — с досадой сказал Сашенька. — Не зазываете народ, не рекламируете товар. Вот и осталась у вас почти корзина.

— Ты поучи меня, Сашенька, — грустно сказала Надежда Викторовна, поправляя в волосах блестящую бабочку, от которой в прежние времена могло бы выиграть и мое парадное одеяние. — Поучи, авось, я научусь.

— А и пожалуйста, — сказал Сашенька. — Стояли бы да покрикивали: «Пирожки слоновые — свежие, здоровые! Кто слонику поднесет — того Бог побережет! Кто слона уважит — слон спасибо скажет!..»

— Есенин ты у нас, Сашенька, — сказала Надежда Викторовна.

— Я у вас недаром все сочинения на пятерки писал, — сказал Сашенька, довольно улыбаясь.

Тут другой человек в черном толкнул Сашеньку локтем в бок, Сашенька подхватил корзину, и мы двинулись дальше, к стоявшей прямо у площади гостинице, но я успел заметить, что Надежда Викторовна мелко перекрестила Сашенькину спину.

— А хорошо я ее устроил, — сказал Сашенька, вроде как ни к кому не обращаясь. — До ста тысяч в месяц нам с ней набегаёт, особенно если концерты или праздники. Всю площадь за ней держу, никто сунуться не смеет. Это вам не тетрадки чиркать.

— И тебе прибавочка, — усмехнулся второй.

— А что, несправедливо? — вдруг вспыхнул Сашенька.

— Справедливо, справедливо, — сказал второй очень спокойно. — Старуху крышевать — это тебе не тетрадки чиркать.

Сашенька взмахнул рукой, но ничего не сказал и почесал нос. У гостиницы встречала нас все та же шумная девица, упорно называвшая меня «слоником», отчего у меня самого все чесалось, — она забегала, закрутилась и известила нас, что еда для меня приготовлена прямо на стоянке и что, по ее мнению, если один кто-то со мной останется, то остальные могут пойти на банкет, «попить-покушать». Второй человек тут же распорядился, что останется со мной Сашенька, и тот, молча повернувшись ко второму спиной, полез в карман за сигаретой и сел на специально приготовленный стул. Еда моя, разложенная в тазы, выглядела куда как хорошо, и сквозь порезанные пополам ананасы с апельсинами в тазу с надписью «Третий этаж — персонал» проглядывало щедро насыпанное печенье, чему не мог я, конечно, не обрадоваться, но, едва взглянув на эти тазы, я вдруг почувствовал, что есть совершенно не в силах: спать, спать, спать, так я хотел спать, что, сунув в рот печенек пять или шесть, немедленно закрыл глаза. Еще успел я услышать удаляющиеся Сашенькины шаги — видимо, он отправился посмотреть, не прячется ли где за грузовиками намеренный похитить меня злоумышленник, — а больше уже не слышал ничего. Нет, не так: мысль о злоумышленнике сделала меня тревожным, и я сквозь сон не то чтобы слышал, но кое-что чувствовал: чувствовал

я, что Сашенька вернулся и тоже на своем стуле задышал ровно и с хрипотцой — задремал; еще чувствовал я, что окружающий нас султанский парк неприятно шумен и по нему прогуливаются не два трусливых жирафа Рассвет и Козочка, а целое стадо, вчера только родившееся, и у каждого жирафа на ногах какие-то ватные чуни, и этими чунями они ужасно шуршат по асфальту. Тут появился мой бедный Мурат и, спасаясь от жирафов, прижался к моей ноге своим игольчатым боком, сделав мне больно, но вскрикнул я не от боли, а от радости: Мурат был жив! Немедленно распахнул я веки — и что? Чей-то костлявый зад предстал перед моим взором: пожилая женщина копалась в моих тазах и быстро-быстро набивала ананасами и папайей пустую плетеную корзину. Воровка! Пихнув негодяйку хоботом под зад, я возмущенно затрубил; подскочил на стуле Сашенька, бросился вперед, схватил Надежду Викторовну за руку — да так и остался стоять; через секунду вырвалась она у него из рук и помчалась прочь, высоко подкидывая ноги. Сашенька сел обратно на стул и потер лоб, а я бросился за ней, внутренне клопоча. Она обернулась, я увидел ужас на ее лице; я сам не знал, что сделаю с ней, когда догоню, но знал, что не имею права показаться слабым соотечественникам моим в первый же день пребывания на Родине, и еще знал, что, спусти я ей с рук это преступление, Сашенька непременно расскажет об уязвимости моей всем нашим и я потеряю их уважение — что за боевой слон, если он старухе позволяет из-под носа у себя забрать ананас?

Визжали машины; она бежала; я бежал. Она упала; вывалились ананасы, покатился по проезжей части апельсин; я успел затормозить у самой головы ее; она накрыла голову руками. Я зажал ручку корзины пальцами и гордо понес назад. Кругом блестели телефоны: все снимали меня; Сашенька, чьи веснушки на совершенно белом лице стали темно-коричневыми,

несся мне навстречу, и слова, которые он мне сказал, я повторять здесь не желаю, но запомнил хорошо. Медленно вернулся я с корзиной на стоянку, медленно поставил корзину рядом с тазами и принялся из нее есть — с таким, я надеюсь, видом, будто сердце мое не колотилось как бешеное от всего пережитого и будто я не был готов упасть в обморок от грохота в собственной голове. Доев содержимое корзины, я поднял голову: из окон банкетного зала смотрели на меня Кузьма и Зорин, и Толгат, и заполошная девица с вытянувшимся лицом, и еще какие-то незнакомые люди в пиджаках и галстуках — все, кого, как мне казалось, не посрамил я в этот момент, все, кому, как представлялось мне, я продемонстрировал, что такое русский боевой слон. И не было во мне ни стыда, ни раскаяния, а только одна гордость. И спать мне больше не хотелось.

Одно удивляло меня: не вышел Толгат дать мне сахару и похвалить, как он всегда делал, когда удавалось мне отличиться, — например, когда особо ловко в конце парада я ловил цветок или когда впервые изящно встал перед женой султана на колено, повстречав ее во время прогулки. Не вышел он и позже, когда ставили мне шатер на ночь и когда Сашеньку сменил другой охранник, помельче; удивление мое росло, а ноги горели; я сперва беспокоился, потом приуныл, потом рассердился: когда он собирается мыть меня и растирать?! Когда он планирует заняться моими стопами?! Уже ночь была на дворе, когда знакомая маленькая и сутулая тень показалась на стоянке. Я затрепетал, сам не знаю почему; но Толгат пришел без щеток и без льняных простыней. Что это значило? Я не понимал. Он вынул из кармана маленький круглый предмет, а из предмета стал тянуть узкую ленту с нанесенными на нее равными отметками и этой лентой принялся обмеривать мне ноги и на листке бумажки, прижимая его к моему боку, стал записывать что-то. В ужасе

я понял, что латы мои еще не готовы — или по крайней мере не до конца готовы, — если с меня только сейчас снимают мерки, но тут же и устыдился прокатившейся по всему моему телу волны облегчения: что, слоник, есть у тебя еще время до первого боя? То-то же... Вертлявый охранник, подойдя поближе, смотрел на работу Толгата с большим любопытством, а когда тот занялся третьей моей ногой, спросил:

— А для чего мерки, Толгат Батыевич?

— Батырович, — мягко поправил Толгат.

— Батырович, — кивнул охранник.

— Сапоги будем шить, — сказал Толгат. — Не дойдет он без сапог до Урала, нежный очень.

— Это да, — сказал охранник и вздохнул. — Я смотрю: вон под коленями у него кожица как у младенца.

«Нежный!» Слово это поразило меня. Так вот каким меня видит Толгат! Так вот каким меня видит даже охранник этот несчастный, дня со мной толком не проведенный! И это после того, как я сегодня, машинам наперекор, жизни своей не жалея, отстоял то, что мне по праву принадлежит!.. Слезы навернулись у меня на глаза. «Нежный!» Что ж, я докажу им — я докажу им всем, я откажусь надевать эти чертовы сапоги, я им прилечь не дам, я впереди их всех побегу, я не то что до Урала — я за Урал пойду, я дойду до самого... Пойдите, куда?!



### Глава 3. Новороссийск

Он собиратель земель русских, отец нации, действительный государственный советник первого класса, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны и армии полковник, а я животное. Как я мог усомниться в Его гении! Конечно, я буду Его личным боевым слонем, и, с моей помощью, Он будет совершенно, совершенно неуязвим, особенно если мне справят латы наконец. И действительно: какой от меня одного прок в свободном бою? Даже маменька и отец мои, при всем своем боевом величии, против врага и вдвоем-то не выходили: в тех битвах, про которые мне только известно, один раз их в отряде было пятеро душ слоновьих, другой семеро. Хорош бы я был, один против целой нацистской армии где-нибудь под Харьковом! Погиб бы ни за что, погиб бы и царя опозорил... Дурак, дурак, самонадеянный дурак — а ведь вчера, когда я услышал про Оренбург, у меня от горя и смятения начались такие боли в груди, что сделалось мне трудно дышать. Я принялся запрокидывать голову и сипеть, но воздух не проходил в легкие, мне его было мало; по ногам, по шее и вдоль хвоста у меня побежали мурашки, и я почувствовал, что вот-вот упаду. Я искал глазами Толгата, но Толгат исчез, только пятился от меня в ужасе растерянный охранник, и отражалось в его черных очках последним пламенем красное-красное небо. Тут что-то

страшное произошло: я потерял на миг способность дышать вовсе; я ничего не видел; я решил, что все. Но это поганец Аслан, раздобыв где-то шланг, бил мне прямо в морду струей ледяной воды! Я слышал хохот: это веселился выбежавший из гостиницы следом за Асланом Кузьма; я видел, как охранник складывается пополам, держась за живот, при виде того, как я, мокрый и несчастный, дрожу от холода; и лица зевак, еще раньше начавших, несмотря на старания охранника, собираться за шлагбаумом, теперь были растянуты в улыбках и наполовину заслонены телефонами. Меня трясло; я затопал и завертелся в поисках выхода, но идти мне было некуда; и вдруг зычный голос заорал, и заорал как следует:

— А ну свалили отсюда все немедленно! Мозельский, вы охранник или хуй собачий?! Почему посторонние пялятся? Телефоны кто не убрал, тот сейчас мне их сдаст и обратно в полиции получать будет!!! Мозельский, а ну отбирайте телефоны у этой падали!..

Через секунду у шлагбаума не было ни одного человека. Но Зорина это совершенно не удовлетворило: вплотную, лицом к лицу, став перед охранником Мозельским, он процедил зло и тихо:

— Что, Мозельский, веселитесь? При посторонних людях позволяете себе хохотать над личным государя нашего слонем, хотя перед ним, может быть, стоят важнейшие политические задачи, о которых такой моли, как вы, даже догадываться не положено? И еще и шваль всякую веселите и на телефон им унижение царского слуги снимать позволяете, нормально так, да? Настоящее уважение к царю вы проявляете, Мозельский, приятно посмотреть. У вас, случайно, портрет Навального в спальне не висит?..

Мне показалось, что Мозельскому тоже стало трудно дышать — он несколько раз запрокинул голову и под конец вполне отчетливо засипел. Зорин не прореагировал на это никак — он подошел к Аслану

и заговорил куда более сдержанно, но ничуть не менее гневно:

— А вы, Аслан Реджепович, я вам поражаюсь. Не сомневаюсь в вашем профессионализме, может, полить Бобо водой и прекрасная идея была, ровно то, что надо, но вы, простите, должны все-таки понимать, что вы в нашей стране исполняете дипломатическую миссию. Я вам не начальник, начальник вам Кузьма Владимирович, — тут Зорин бросил мрачный взгляд на Кузьму, который все еще безмятежно улыбался, но внимательно Зорина слушал, — но я был бы очень вам благодарен, если бы вы не подавали массам повода относиться к царскому имуществу как к ржаке из тик-тока. Это оскорбительно для царя в частности и, простите, для России в целом.

О, напыщенный и многословный Аслан, куда делся твой длинный и велеречивый язык? Твое лицо сделалось еще серее обычного; ты пробормотал только: «Я приношу России свои глубочайшие извинения...» Кузьма мелко затрясся; я должен был быть счастлив, но не был, и вовсе не потому, что назвали меня «имуществом», — имуществом я, собственно, и был. Я просто понял, что и Аслану, затопчись он сейчас и завертись в поисках выхода, некуда будет идти; и если для меня еще эта страна — новая моя Родина, которой мне предстоит служить до последнего вздоха, то бедный Аслан просто невыносимо далеко от дома и, в сущности, совсем один: никого у него нет, кроме, некоторым образом, меня. Грустное дело: этот человек рождение мое у маменьки принимал, и от детских болезней меня лечил, и всех моих друзей пользовал — Мурату вырезал желчный пузырь, зебру Герберу спас от воспаления легких, жирафу Козочку поставил на ноги, когда та полиэтиленовый пакет съела, — а все равно за ним слава психопата и убийцы, и если кто умирал у нас в парке, то сразу от него мы начинали шарахаться и про него рассказывать нехорошее;

и что? Вот мы переплыли Черное море, а сию секунду Керченский пролив переплываем, недалеко Аслан от родной земли — и опять у него никого нет: Зорин его отругал и молчит теперь, Кузьма просто не замечает, Толгат боится, я терпеть не могу, для Сашеньки с Мозельским он скучный старик, говорящий на русском с сильным турецким акцентом, — еще бы, со времен дружбы СССР с Турцией и его учебы в Москве на ветеринара чуть не сорок лет прошло. Одно лишь и держит его на свете — безумная идея. А только я султана знаю не хуже, чем он: никогда, никогда, никогда султан на это не согласится; он бы и рад, да тут политика — нельзя. А Аслан вроде и третий придворный калач, но только когда у тебя идея есть, ты из тертого калача превращаешься в свежую булочку.

Не могу поверить, что я Аслана жалею. Аслана! Впрочем, что это я лукавлю? Я первый раз пожалел его еще в старой стране, в стране моего исхода, когда ничего не знал о том, что меня ждет; только предчувствие росло во мне; нет, даже не так — не росло, и не предчувствие, а просто я стал засыпать с дурацким чувством, что проснусь за стенами дворца, на незнакомых мне улицах Стамбула, и ужасно испугаюсь. В результате засыпал я все позже и позже, все хуже и хуже и в какую-то ночь не смог заснуть вообще; я пошел к фонтану в надежде сунуть в него голову. Там стояли и беседовали султан с Асланом; было поздно; я удивился, но понял, что они благодаря журчанию струй стараются избежать лишних ушей, и мне тут же стало ужас как любопытно. Звучало имя Омера, Аслана главного помощника и правой его руки, Аслан же почему-то настаивал, что делом, о котором шла речь, должен заняться он лично. Султан упрямылся; Аслан нижайше просил. Мне стало смешно: я не раз во время наших с султаном прогулок наблюдал, как султан дает себя уговорить на то, что и сам давно решил, и узнавал сейчас его интонации. Аслан клялся,

что это дело — его единственный шанс; султан строго говорил, чтобы, если — если! — он согласится, Аслан помнил, что суть дела — вовсе не набальзамированным, а живым подарок доставить. Аслан клялся, что ни на секунду этого не забудет, но в том печальном случае, ежели придется... И вот тогда он докажет, что способен... Султан молчал и кивал недоверчиво; этот жест я тоже знал: так султан вселял в человека веру, что просьба его может быть выполнена, хотя на самом деле — никогда.

— Прямо в специальном здании лежать будете, — говорил Аслан, немножко кланяясь всем телом, — и словно бы временем вообще не тронутые. Под стеклом, и чтобы ходили преклоняться. Обещаю, ваше величество, я способен; если выпадет шанс — я докажу!

Султан смотрел, склонив голову набок; глаза его лучились живейшим интересом; это означало, как мне было известно, что он давным-давно думает о хорошей порции мороженого.

— Что ж, доктор, — сказал султан, давно научившийся по ходу разговора всех как бы повышать немножко в звании, — если вы так настаиваете — а вы, я вижу, настаиваете, — то, конечно, идите лично.

И Аслан поскакал от фонтана прочь, очень счастливый. И мне тогда вдруг стало жалко, очень жалко ненавистного Аслана, почти так же жалко, как вчера на стоянке.

Сильно после полуночи мы причалили в Новороссийске, Кузьма отказался давать интервью торчавшему в порту самоотверженному корреспонденту какой-то местной газеты, и мы тихо пошли по спящему городу в сторону какой-то гостиницы. Скрипела у меня за спиной наша тяжело нагруженная подвода, которой правил Мозельский. Я немного расстроился, что не было ни толпы, ни оркестра, но списал это на ночное время. Стопы мои болели ужасно; я стал считать

шаги, чтобы на чем-то сосредоточиться, и насчитал три раза по тысяче и еще триста пятьдесят два, прежде чем дали мне остановиться. Толгат, спавший у меня на загривке, очнулся, засуетился и стал спускаться; я приподнимал то одну ногу, то другую и, не в силах сдержаться, постанывал.

— Что с сапогами-то сраными? — спросил, глядя на мои мучения, Зорин, причем спросил таким тоном, словно я последний в мире симулянт, чем очень, надо сказать, меня задел.

— В Ростов-на-Дону мерки отправили, — равнодушно сказал Кузьма. — В Ростове-на-Дону шьют.

— Он до Ростова-на-Дону дойдет вообще босиком, Толгат Батырович? — с сомнением поинтересовался Зорин.

Толгат закивал и пожал плечами одновременно. Зорин поджал губы.

— Мозоли набьет, ничего ему не сделается, — сказал Кузьма. — Пошли, пошли.

— Срал я на мозоли, — сказал Зорин, — а на что я не срал, так это если царский слон будет прилюдно враскоряку на стертых ногах ходить или вообще идти откажется. Или через эти ноги инфекцию какую-то подхватит. Аслан Реджепович, вы его осмотреть можете? Забинтовать, может, или что.

— Инфекция — это очень возможное, — с интересом сказал Аслан, и мне тут же захотелось прилюдно, враскоряку, этими самыми стертymi ногами его затоптать. — Вы идите, я все заботиться могу.

— Но он завтра километр-два пройти сможет? — заволновался Кузьма.

— Пройдет-пройдет, — сказал Аслан уверенно, и Кузьма, успокоившись, ушел себе спать, а за ним отправился и Зорин, строго предупредив оставшегося меня сторожить Сашеньку, что если с царским слоном что-то случится, то он, Сашенька, до конца жизни будет голым в цирке выступать.

Ни за что бы я не подпустил Аслана к своим ногам, как бы они ни болели, но Аслан, как оказалось, облегчать мои страдания и не собирался: обойдя вокруг меня с большим вниманием раз и другой раз, он поспешил в гостиницу и вернулся все с тем же мерным инструментом, который использовал Толгат, чтобы заказать мне сапоги, и с большой стремянкой, одолженной, видимо, у гостиничного персонала. Сашенька успел устроиться с сигаретой и большим бутербродом, принесенным ему Мозельским, на стоящей тут же скамейке; у ног его расположился стаканчик с кофе, и на Аслана Сашенька посмотрел недобрый взглядом. Уж не знаю, что этот негодяй наобещал моему охраннику, мне было не слышно, но только Сашенька живо подскочил со стула и потащил стремянку ко мне. Я шарахнулся.

— Но-но-но! — сказал Сашенька строго.

Мне было совершенно невдомек, что они задумали, но я рассуждал так: во-первых, от Аслана ничего хорошего не жди, а во-вторых, добрые дела под покровом ночи не делаются. Сашенька снова подтащил стремянку мне под правый бок. Я отбежал.

— Вот же ж скотина, — сказал Сашенька. — А ну заходите ему слева, Аслан Реджепович.

Аслан зашел слева. Я дернулся вперед и пробежал несколько шагов, задев боком припаркованную машину. Машина заревела. Аслан выругался по-турецки так, что повторять это здесь я не буду. В одном из номеров гостиницы у нас над головой загорелся свет, потом еще в одном.

— Ладно, тварь ты такой, я просто две цистерны формалина заказать, — сказал Аслан, уставившись мне прямо в левый глаз, а потом отобрал у Сашеньки стремянку и, согнувшись под ней всем своим дряблым тощим телом, потащился обратно в гостиницу.

Спал ли я в эту ночь, как вы думаете?

На рассвете пришел Толгат, добывший в какой-то круглосуточной аптеке мазь, от которой бедные мои

стопы онемели — и слава богу. Я был покормлен, и у меня удовлетворительно подействовал кишечник. Толгат отправился в гостиницу, чтобы вооружиться ведрами и лопатой и заняться гигиеническим вопросом; Сашенька же, стоило Толгату удалиться, неожиданно повел себя очень грубо — схватил меня правой рукой за пальцы и потащил наискосок через стоянку к шлагбауму, где сидел в будке какой-то неприятный дед, пахнувший потом и пылью. Дверь в будку была распахнута, и, кроме лакированного стола, старого красного телефона и маленького толстого телевизора, я ничего в этой будке не увидел, да и на самом деде, хоть и красовалась у него поперек груди надпись «Охрана», не заметил я ни огнестрельного оружия, ни даже приличной дубинки, так что попечение Сашеньки, пусть и был он хам, очень меня успокаивало, пока не было у меня ни лат, ни надлежащей боевой подготовки, которая, я не сомневался, должна была вот-вот начаться. Я принюхался получше: пахло еще и печеньем; оно лежало, я заметил, в приоткрытом верхнем ящике стола. Я открыл ящик пошире и взял себе печенья; дед, до того на большой громкости смотревший телевизор, отвесив губу, пронзительно ойкнул и вжался в кресло.

— Здравсьте, дедушка, — сказал Сашенька вежливо.

Дед закивал.

— Я пришел с вами телевизор посмотреть, можно? — спросил Сашенька.

Дед, продолжая глядеть на меня, молча развернул стоящий на столе пузатенький телевизор так, чтобы Сашеньке было видно. Сашенька посмотрел пять минут и сказал вежливо, не обращаясь ни к кому конкретно:

— Стало быть, ебашат хохлы по своим мирным жителям.

— Ебашат, — вежливо ответил дед.

— Никого, суки, не жалеют, — сказал Сашенька, покрутил головой и поцокал языком.



— Никого совсем, — сказал дед и тоже поцокал языком.

— Ни детей, ни женщин, — сказал Сашенька.

— Да вообще никого, — сказал дед, явно сокрушаясь, и развел руками, насколько размеры будки это позволяли.

— А с хуя ли они это делают? — задумчиво поинтересовался Сашенька, глядя куда-то в небеса.

Внезапно глаза деда стали такими, что мысль о шланге немедленно посетила меня. Я покосился на Сашеньку, но тот по-прежнему задумчиво глядел на холодные утренние облака с розовыми бахромками и словно бы не замечал, что деда сейчас хватит удар.

— Сука ты костюмная, — сказал дед очень спокойно. — Думаешь, мы тут лаптем щи едим? А пожалуйста, я тебе отвечу, как положено: разумеется, тварь ты такая, они это делают, чтобы царя нашего во всем мире дискредитировать и всех собак на него навесить. А царь наш, упаси господи, ни в чем не виноват и хочет только мира во всем мире, дружбы народов, любви и жвачки. Как на Украине ребеночек какой погибнет от рук хохляцких-то нацистов, провокаторов-то сраных, так у нашего царя сердце кровью обливается. Ясно тебе, товарищ офицер?

— Так уж сразу и «товарищ», — сказал Сашенька, выпятив нижнюю губку. — Я, может, «господин офицер».

— А хоть «ваше сиятельство», — сказал дед, глядя на Сашеньку все теми же побелевшими глазами. — Идите, ваше сиятельство, за слоником присматривайте, у вас, небось, поважнее работа есть, чем до старика семидесятилетнего с утра пораньше ни за так доебываться. Стыда у вас ноль.

— Я, может, разминаюсь, — весело сказал Сашенька.

Дед повернул обратно к себе маленький свой телевизор, и я заметил, что руки у него трясутся; зато Сашенька был легок и весел; он попытался снова схватить

меня за пальцы, но я хорошенько шлепнул его хоботом по руке, и он просто пошел рядом со мной обратно к черному ходу гостиницы. Я ступал медленно; страшная тоска охватила меня. Я вдруг почувствовал обступающий меня город Новороссийск невыносимо огромным и совершенно чужим; я твердил себе, что это Родина, новая Родина моя, но слова эти вдруг перестали значить что бы то ни было, зато от воспоминания о султанском парке наворачивались у меня слезы на глазах, и мне все труднее было врать себе, что виноват просто ветер, мартовский ветер. Другой телевизор стоял у меня перед глазами: и не будка там была, а довольно удобный кабинет окнами на парковую аллею, и сидел в этом кабинете не один тощий дед, вооруженный лишь горечью собственного злого языка, а двое крепких молодых людей под стать Сашеньке и Мозельскому, с пистолетами под топорщащимися пиджаками, — когда Халиль и Павел, а когда снова Павел и Салих. Вот к ним-то под окно и приходил я каждый вечер по мягкой, влажной траве и приносил с собой во рту пару бананов или початок кукурузы; Павел всегда сидел к окну спиной, а экран его, конечно, развернут был ко мне, и я жевал, и смотрел, и слушал, и душа моя наполнилась восхищением перед страной, которой суждено было стать страстью моей и судьбою, и болью за нее наполнилась тоже: не было ей, этой великой стране, покоя, ибо сила и доброта ее были безмерны, а враги — подлы, и, будь их воля, они сделали бы из России чучело, огромное чучело на устрашение и восторг своим детям... Маленький Павел казался мне тогда человеком загадочным и тайно страдающим — и всякий русский, думал я, наверняка тайно страдает вместе со страной своей от бесконечных испытаний, которые насылают на нее враги. Я понимал, что одним царем держится Россия, и боялся даже вообразить себе, каково приходится каждый день этому человеку: проснется он — и словно

вся тяжесть русской жизни разом обрушивается на тебя, а ты встань да правь... Смешно, но я часто вел с ним воображаемые разговоры: медленно, неловко, но все-таки удавалось ему разговариваться, я же молчал, и кивал, и давал ему излить душу — а кстати, в жизни мне в голову не пришло бы султана исповедовать, вот только сейчас я впервые это сообразил! Что мне сытый и лукавый султан — и думал ли я, что от меня лично будет когда-нибудь царская жизнь зависеть? Нет, я и помыслить не мог; но вот сейчас, вот в этот утренний миг я, вместо того чтобы ликовать сердцем по такому поводу, чувствовал себя так, словно я один слон во всем мире, и детство босоногое мое навсегда осталось в султанском дворце с глупыми друзьями моими, не ведающими ни ответственности, ни страха, и вся тяжесть русской жизни разом обрушилась на меня, а ты бери да иди... Я взял да остановился — и обнаружил, что Зорин с Кузьмой, успев позавтракать, вышли уже на мою парковку и ждут меня.

Зорин мелко крестился на виднеющийся неподалеку храм и бил неглубокие поклоны.

— Вчера в темноте не разглядел, — сказал он виновато в ответ на немой Сашенькин вопрос. — Сегодня двенадцать раз надо.

— Идите, Сашенька, в мой номер спать, — сказал Кузьма. — Пока без вас справимся, а днем дальше пойдем, как только Аслан Реджепович свою бесценную доставку получит.

Сашенька посмотрел на Кузьму с некоторым сомнением.

— Идите-идите, — сказал Кузьма, — никто нашего слона не спиздит.

— А если теракт? — сказал Сашенька неуверенно. — Тут близко.

— Ну и что вы, слона собой закроете? — сказал Кузьма. — Если теракт, Зорин всех спасет, а потом еще в поэме свои подвиги опишет. Да, Зорин?

Зорин, ковыряясь в зубах, на Кузьму не посмотрел. Удалился Сашенька; мы вышли со стоянки; серое мартовское солнце поднялось повыше, и меня немножко отпустило: город просыпался.

— Долго это займет? — спросил Зорин, поводя плечами перед замирающими при моем появлении редкими еще прохожими.

— Идти тут минут пять, — сказал Кузьма, — а сколько они на месте провозятся, я не знаю. Скажу им, что у нас сорок минут есть. Пусть уложатся как хотят.

— Можешь сказать, что час, — добродушно предложил Зорин.

— Ну спасибо, — сказал Кузьма. — Ты двадцать минут собираешься маленьким девочкам стихи декламировать?

— Я вообще не собираюсь ничего декламировать, — окрысился Зорин. — Я просто не хочу быть свиньей. Это большое событие в их жизни, между прочим. Ты их клятву читал?

— Я ее сам писал, уебан ты эдакий, — сказал Кузьма.

Зорин посмотрел на Кузьму не без интереса.

— Ты, может, и весь этот прием в «искорки» сам придумал? — спросил он.

— Нет, блядь, оно самозародилось у двенадцатилеток в головах, — сказал Кузьма, явно ерничая.

— А ничего, — сказал Зорин с уважением. — Патриотично. Будущие жены солдат — это патриотично, и клятва хорошая.

— Я свою курочку недаром кушаю, — сказал Кузьма надменно, и этот же надменный вид сохранялся у него все время, пока он здоровался за руку с учителями и учительницами, директорами школ и руководителем местной «Росмолодежи», одновременно толстым и вертким, как угорь в масле, с зачем-то приехавшей сюда бригадой «скорой помощи» и со все тем же неумным журналистом, который так хотел видеть меня ночью,

да как раз Кузьма и не дал. Но как же изменился тон его, когда подбежали к нему с большим букетом две девочки в завязанных на шее узлом треугольных красных косынках с золотой каемкой! Он стал по-отечески ласков; букет принял и похвалил и передал Зорину (который немедленно пришел от этого в бешенство), а девочек оставил стоять рядом с собой. Вдруг суэта прекратилась в один момент: все были на своих местах. Я огляделся: памятник, изображающий женщину с младенцем на руках — жену моряка, — был хорошо вымыт (небось, из шланга), и девочек, наверное, полтора года было построено рядом с ним в сложную геометрическую фигуру, чтобы все хорошо попадали в один кадр со мною. По краям нарядно торчали учителя; росмолодежник пристроился к Кузьме на маленькой сцене с микрофонами; прессы поприбавилось, и все они наверняка сообщали в данный момент, что галстуки будущих «искорок» искрами сверкали на солнце.

Росмолодежник заговорил; я не слушал — я завожжен был этим торжественным порядком, этим гордым умением быть заодно, в котором чудилось мне нечто очень большое и важное. Вдруг этот верткий блестящий человек стал говорить отрывистыми фразами, и хор девчоночьих голосов эхом принялся откликаться ему, и сердце мое екнуло:

- ...торжественно клянусь...
- ...торжественно клянусь!
- ...вырасти верной женой российского солдата...
- ...вырасти верной женой российского солдата!
- ...воспитать моих детей в духе патриотизма...
- ...в духе патриотизма!
- ...и любви к Родине!
- ...и любви к Родине!!!

И показалось мне в тот момент, что Кузьма Кулинин на этих словах прослезился, но, может быть, это просто искры от девичьих галстуков играли как хотели в стеклах его круглых очков.

О русский лес!..

Мать моя рассказывала мне однажды, как впервые разбудило ее нечто влажное и невесомое, ложившееся ей на ресницы; то был снег, снег в Стамбуле, снег, никогда не виданный ею прежде, и она вдруг с болью осознала до самого дна души, что все кончено для нее: никогда больше не пойдет она в бой, никогда больше не понесет на себе отважных людей своего племени с длинными копьями во вскинутых руках и отравленными стрелами за блестящими спинами, никогда больше не почувствовать ей на языке кровавый вкус воды, приправленной победой... Мать разбудила отца; тот понял все, и много дней подряд они отказывались ходить по снегу и только стояли на одном месте как вкопанные. Мать ненавидела снег; я же, к стыду своему, был им заморожен — он шел, и шел, и шел, и остужал бедные мои ноги, и лес под снегом боялся пошевелиться, а я ел этот самый снег на ходу, и то был вкус начала начал: никогда больше не пойду я под султаном на глупый парад, никогда больше не понесу на себе дурацкое золотое кресло, никогда больше не буду я дворцовой игрушкой, никогда. От этого русского снега я словно наливался силой; мне хотелось бежать, приплясывая; я побежал, Толгат подскакивал у меня на загривке и смеялся и кричал: «Ну! Ну!» — и пинал меня пятками,

пытаюсь успокоить. Я остановился, чтобы не сердить его: лошадки наши, Яблочко и Ласка, тащившие подводу со скарбом, к которой прицеплены были сзади ненавистные мне две цистерны формалина, не поспевали за нами. Лошадки мне нравились: умненькие и спокойные, они хорошо слушались Мозельского, но и в обиду себя не давали, и, когда Мозельский на въезде в лес попробовал просто так, безо всякой причины, одну из них огреть кнутом, они просто встали обе и не шли дальше, как Мозельский ни кричал на них и ни тянул их за поводья, пока не получили по бананчику. Это был Мозельскому хороший урок, и больше он лошадок не обижал, тем более что безо всяких кнутов и бананчиков шли они резво и ровно, а когда хотели отдохнуть — останавливались, и вместе с ними останавливались мы все. В термосах у сопровождающих моих были кофе и чай, в сумках бутерброды; для меня на подводе лежал мешок с обедом и ужином, не слишком обильными, но я не скорбел по этому поводу: до поселка нашего Ильского было уже близко, я чувствовал редкое единение и с этим постепенно синеющим лесом, и с этими людьми, и с лошадками, и мне приятно было, что постоянно ноет закутанный в триста тряпок и стучащий зубами от холода неженка Аслан.

— Надо было и вам, Аслан Реджепович, купить ватник, — неразборчиво сказал Кузьма, вжевываясь в громадный бутерброд и показывая подбородком на маленького Толгата в большом синем ватнике, перепоясанном для тепла грубым твердым ремнем.

Толгат заулыбался, приподнял термосную кружку с чаем и довольно похлопал себя серой набивной рукавицей по животу. Рукавица тоже была ему велика, и опытный Зорин надел Толгату на запястья резиночки для волос, купленные в маленькой лавке прямо рядом с магазином рабочей одежды. Сам Кузьма, в бирюзовом с малиновыми вставками лыжном

костюме и алой шапочке, был щеголеват и подтянут; Аслан посмотрел на него с неприязнью и крепче намотал вокруг лица свой безразмерный шарф, а потом принялся тереть одну руку в тонкой перчатке о другую. Ласка посмотрела на меня лукаво и, задрав хвост, сделала свои дела; мы с ней, кажется, хорошо понимали друг друга.

— Двигаться давайте, — сказал Зорин, поморщив нос и забираясь обратно на подводку. — До ночи дойти хочется.

— Давай отойдем покурим, — сказал Кузьма.

— Не курю, — ответил Зорин.

— Это странно, — сказал Кузьма. — Я думал, куришь, но скрываешь как слабость. Тебе как персонажу положено курить. Лежа, знаешь, в траве-мураве после тяжкого боя. Вспоминая погибших товарищей, затаиваясь едким дымом самокрутки и говоря себе, что это просто от него у тебя слезятся глаза.

— Блядища ты, — сказал Зорин лениво.

— Ну ладно, пойдем покурим, — сказал Кузьма, улыбаясь и протягивая Зорину сигарету.

Зорин взял сигарету и слез с подводки. Я пошел за ними — я привык делать свои дела деликатно, в стороне. Белка проскакала по веткам на уровне моих глаз, заметила меня и замерла, приоткрыв рот: я-то в нашем парке видал белок, а ей мне подобных встречать не доводилось. Что ж, подумал я, пусть смотрит на нового соотечественника своего: толстая, серая, она тоже заинтересовала меня — она не похожа была на наших (а надо бы мне было отучиться думать «наших»!), рыжих и поджарых; кисточки на ушах у нее дрожали, и она спросила меня грубо:

— Ты что за хуй?

Отвечать ей я был не намерен; дунув на негодыяку из хобота, отчего ее и след простыл, я в несколько испорченном настроении сделал все, что намеревался сделать, и полюбовался на плоды своих трудов,



присыпанные мерно падающим снегом: как родные они тут смотрелись, и мне стало лучше. Я хотел уже вернуться к подводе (а у меня был план: как следует разглядеть запоры на цистернах с формалином, пока еще относительно светло), но вдруг услышал, что голоса Кузьмы и Зорина, стоявших в двух-трех елях от меня, звучат странно. Я прислушался: Кузьма говорил устало, а Зорин зло. Я вдруг с тревогой подумал о том, что они могут поссориться; мне не хотелось, чтоб они ссорились, я успел прикипеть, кажется, к обоим; я стал слушать внимательно.

— Да мне поебать, что вы там делаете, — говорил Кузьма тихо. — Моя проблема не в том, что вы войну проебываете, моя проблема в том, что вы коммуникации проебываете. Ты ж у нас поэт, ты должен про слова понимать...

— «Вы»? — с нажимом переспросил Зорин. — «Вы»? Мало того что «роебываете», так еще и «вы»?

— «Мы», «мы», — сказал Кузьма и вздохнул. — Мы проебываем.

— Мы ни хуя не проебываем, — сказал Зорин, повышая голос. — Мы их ебем, как баб последних. Я не знаю, какое говно ты читаешь через какой випиэн...

— Да никакое говно я уже сколько дней не читаю, у меня, как и у всех, с самого начала телефона нет, — сказал Кузьма. — Что я, с пейджера твоего драгоценного «Медузу» читаю? Ебете вы их, как же... Женщин и детей вы ебете, стариков под бомбами по подвалам держите, молодцы, ебите дальше...

Зорин начал набирать воздух в легкие, но Кузьма быстро-быстро замахал на него руками:

— Да ты пойми: мне насрать, это вообще не важно, что вы там делаете, важно, как и что вы об этом говорите стране и миру. А вы говорите стране и миру какой-то отстойный, тоскливый, неубедительный, позорный пиздец. Вы можете войну...

— Спецоперацию, — сказал Зорин спокойно.

— Спецнахерацию! — тихо рявкнул Кузьма. — Вы можете свою спецпохерацию триста раз выиграть — вы коммуникации просираете и просрете.

— А ты типа знаешь, как надо, — сказал Зорин с интересом.

— А я типа очень даже знаю, как надо, — спокойно сказал Кузьма. — Я в МГИМО оканчивал, между прочим, межкультурные коммуникации, но это хуйня, неважно, у меня это просто внутри сидит. Лавров этот ваш, обезьяна говорящая... Буква зет эта ваша зиганутая... Позор это все — не потому позор... А потому, что это уровень ниже плитуса с коммуникационной точки зрения, понимаешь? Все это могло иначе смотреться. И не только с войной...

— Спецоперацией, — сказал задумчиво Зорин.

— Да отъебись ты, — сказал Кузьма. — Не только сейчас, короче, а двадцать лет.

— Ну вот и объяснишь ему, — сказал Зорин. — Я серьезно. Дойдем — и скажешь.

Тут Кузьма посмотрел на Зорина очень внимательно.

— А чего, ты думаешь, я сейчас с вами прусь? — сказал он. — Я, может, людей жрал, чтобы с этим слоном на подводе трястись. «Скажешь!» Я не просто скажу. У меня, Зорин, план...

Зорин молчал.

— Что молчишь? — сказал Кузьма. — У тебя, небось, тоже планчик есть? Ты, небось, тоже не просто так здесь оказался? Тоже слово к нему имеешь?

— Ехать пора, — сказал Зорин, оглядываясь на подводу и одергивая полы бушлата. — Нам еще два часа на телеге трястись. Холодно, сука, и дуть начало, а туречика нашего, боюсь, мы насмерть поморозим.

— Спирту ему, что ли, дать? — задумчиво сказал Кузьма.

И они пошли давать Аслану спирту, а я пошел за ними на ставших ватными и чужими, немедленно замерзших ногах. Лес, синий и черный кружевной

лес, больше не радовал меня, словно не на ели опустилась тьма, а прямо на мое сердце. Я стал ругать себя: ты посмотри на них, на этого щеголя в очочках и в цветных тряпках посмотри — и посмотри на Зорина, военного человека в военной форме, с военной выправкой и военным, стало быть, мышлением. Я не понимал, что сказал Кузьма про подвалы, и женщин, и детей, но я понимал, что он сказал дурное, очень дурное, и что это касалось того единственного человека, ради которого положено было мне теперь жить и которого положено было до последнего вздоха защищать; но дело было не в словах Кузьмы — в конце концов, это могли быть глупые, неправильные слова! — а в том, как плохо и слабо возражал ему Зорин. Я не понимал, почему Зорин не взял бессовестного Кузьму крепкой рукой за горло и не указал ему его место. Не понимал, почему Зорин смотрел во время разговора то вниз, то в небо. Не понимал и того, почему Зорин просто не поссорился с Кузьмой, — ах, как бы мне этого не хотелось, но я бы понял, понял! Если бы Зорин на Кузьму накричал, если бы затопал ногами, если бы просто отказался с ним разговаривать — и тогда я бы понял, я бы... Но что мне было думать теперь? Мысли мои клокотали; я двигался вперед, не замечая дороги, и Толгату понадобилось аж потянуть меня за уши, чтобы я притормозил, — я, оказывается, перешел на рысь. В темноте меня перестало быть видно, и Мозельский кричал нам вслед: «Вы куда делись?! Эй! Да не неситесь вы, мне что, лошадей загнать?!..» Мне стало стыдно перед Яблочком и Лаской, я развернулся и пошел вдоль просеки назад, и мысли мои словно бы тоже потекли в обратную сторону — я вернулся к словам Кузьмы и вдруг с преступной ясностью подумал: ну хорошо, а вдруг?.. И тут, слава богу, меня окатило целебным и чистым, как явившийся мне днем лесной снег, стыдом. Зачем бы Зорину возражать словам Кузьмы, если в них попросту ни слова правды

нет? Более того, и Кузьма прекрасно знает, что в них ни слова правды нет, а что это только чужая, вражеская коммуникация, с которой царевы люди, уж не знаю почему, не умеют правильно бороться. Может, в том дело, что есть у них занятия много важнее: у них на попечении огромная страна, которая мало того, что о своих людях заботится, так сейчас еще и братский народ от беды спасает; есть ли им дело до коммуникации? Кузьма считает, что должно быть, а Зорин, пусть и в сердцах, с ним соглашается; Кузьма, стало быть, показывает Зорину, что враги о нас говорят, а Зорин, расстроенный, это видит — как не увидеть; вот и весь разговор, а ты, Бобо, животное бессмысленное, и не бери в голову то, чего понять не можешь.

Я аж потряс головой, чтобы окончательно выкинуть из нее идиотские сомнения, и Сашенька, сидевший на козлах рядом с Мозельским, сказал сочувственно:

— Уши, небось, замерзли. Шапку бы ему связать с чехольчиками.

— У тебя как с вязанием, Саш? — спросил Кузьма с подводы.

— У меня хорошо, — сказал Сашенька с гордостью. — Меня бабушка научила, я себе шарфы вяжу, маме носки — настоящие, вкруговую. И спицами могу, и крючком. Если ниток в Ильском раздобудем побольше, могу слону шапку с ушами связать. А то простудится он у нас, еще не хватало.

— От слона, небось, соплей не оберешься, — хмыкнул Мозельский.

— Поищем ниток, — сказал Кузьма серьезно.

— И крючок большой, — заволновался Сашенька. — Крючком хорошо будет.

— И крючок большой, — кивнул Кузьма.

Я вообразил себя в шапке и остался доволен: все были в шапках, кроме лошадок и меня, и я тоже хотел русскую шапку, пусть и с ушами. Только подумав о шапке, я понял, как на самом деле замерз и устал;

стопам моим не помогал больше даже снег — они горели от постоянно подворачивающихся под них палок и шишек; спина ныла; пальцы замерзли, я хотел было погреть их во рту, но понял, что так хуже будет. Толгат, поняв, что мне тяжело, принялся хлопывать меня по макушке. Ильский был близок, и мы пришли.

Нас разместили в чем-то большом доме, и меня завели в теплый гараж, чтобы не мерз я на снегу. От тепла тут же сморило меня, но Толгат не дал мне спать: он пришел в гараж с ведром и тряпками и принялся всего меня обтирать шваброю, а потом присел на корточки и стал ползать у меня под ногами: видимо, стопы мои беспокоили его даже больше, чем меня, потому что тупая ноющая боль, особенно в левой передней ноге, не мешала мне мечтать, чтобы чертов Толгат ушел наконец и дал мне заснуть. Я и так, кажется, вчетверть спал: мне приснился даже немолодой человек с ушастой шапкой на голове, который стоял в углу гаража, наполовину спрятавшись за какие-то полки, и смотрел на меня, приоткрыв рот.

— Неужто и потрогать можно? — вдруг сказал этот человек, и я понял, что он мне совсем не снится.

— Трогайте, пожалуйста, конечно, — сказал Толгат, ковыряясь палочкой у меня в ноге и вынимая из расслоившейся кожи всякий лесной сор; это были вежливые слова, но я хорошо знал Толгата, и тон его мне не понравился: Толгат явно был озабочен, и мне бы тоже озаботиться, но я устал и решил, что подумаю о ногах завтра и как следует осмотрю их на утреннем свету.

Немолодой человек в ушастой шапке подошел ко мне, осторожно погладил меня по боку и что-то шептал. Рука у него была теплая. Был он похож и на Мозельского, и на Сашеньку, только старше.

— Вот спасибо вам, не знаю, как вас зовут, — сказал он.

— Толгат Батырович, — сказал Толгат, пыхтя с большим достоинством и переползая у меня под брюхом к моей правой задней ноге.

— Спасибо вам, Толгат Батырович, — уважительно сказал человек.— Пойду назад на пост, пока не заметили.

Он направился было к выходу, как вдруг спохватился:

— Постучать забыл! Толгат Батырович, можно я постучу?

— Куда постучу? — изумился Толгат, выглядывая у меня из-под брюха.

— Погладить вашего слоника — это, говорят, желание загадать. Ну у меня желание понятно какое — у меня три сына по контракту ушли, какое тут желание... А постучать — это от ментов, говорят, помогает. У меня так вроде кое-что схвачено, а все-таки не помешает — можно я постучу?

— Постучите-постучите, — услышал я голос Кузьмы. Кузьма стоял на пороге, вместо костюма на нем под наброшенной лыжной курткой была пижама, на босых ногах красовались аккуратные кожаные тапочки. — Чего бы не постучать?

— Вот спасибо, — смущенно сказал охранник и действительно, подойдя поближе, легонько постучал меня по боку.

— А что, лютые у вас менты? — спросил Кузьма, тоже подходя поближе, и, склонясь над Толгатом, принялся рассматривать мою ногу, которой я уже легонько дергал от нетерпения.

— Да нет, — подумав, сказал охранник. — Хорошие, честные.

— Неужто честные? — переспросил Кузьма, от изумления выпрямляясь.

— И то, — сказал охранник.— Никого не обижают, каждый месяц со всех поровну берут.

— Ишь какие, — сказал Кузьма, помолчав.

— Вы ж Павла Савельича видели, он у нас молодец, — сказал охранник с гордостью. — Жена его называет «Мэр-солнце».

— Красиво, — сказал Кузьма.

— Она, небось, завтра тоже слоника погладить придет, — сказал охранник. — Да все наши придут. Ну это как положено. А вот что всякая шушера со всего города сбежится — так это вы гоните их, нечего; залапают.

— Понял, — сказал Кузьма. — Нашим дадим, шушера погоним.

— Ну спокойной вам ночи, — сказал охранник. — Полегчало мне, как я вашего слоника погладил. Уж дай бог... — он не закончил фразу, криво кивнул и вышел.

— Что у нас, Толгат Батырович? — спросил Кузьма.

— Эх, — сказал Толгат печально.

— Есть у меня мыслишка одна, — сказал Кузьма. — Займемся завтра утром. А сейчас давайте все поспим, мне кажется, он вас вот-вот лягнет.

Чтобы подтвердить эту мысль, я затоптался на месте, затряс коленом правой задней ноги, и меня оставили наконец одного. Я спал сквозь боль, поднимая то одну ногу, то другую; мне снился бой, мы терпели поражение, я бежал по горячей земле, неся на себе человека в ушастой шапке, и он стучал по мне кулаком от страха, и я не мог понять, что он кричит, и от этого чувствовал себя тупым животным, тупым, тупым, тупым! Я проснулся со скачущим сердцем; был почти день, Толгат заносил простую, но обильную еду в мой гараж, и стояли у двери «наши»: мэр с женой, двое их мальчиков, снова охранник, нагадавший, видимо, за ночь еще желание, — на этот раз он пришел с непокрытой головой, — и их домашние люди. Я услышал голоса и гул и захотел узнать, что происходит, и с большой болью сделал шаг, а потом, переваливаясь с ноги на ногу, еще шаг и еще и подошел к узкому высокому окну, через которое в гараж падал свет, и глянул в него.

Там стоял народ-шушера — много-много народу, — и все с желаниями. Что же, подумал я сначала, разве жалко мне выйти к ним и дать каждому прикоснуться ко мне? Конечно, времена такие, что может среди них оказаться и злоумышленник, и просто дурной человек, шутки ради готовый нанести мне ущерб, но только будут рядом со мной и Сашенька, и Мозельский, и, конечно, Зорин, и, наверное, мэров охранник, так почему не дать народу моему причаститься меня и получить кусочек надежды? Вдруг и правда есть во мне что-то, подумал я, от чего судьба будет благосклонна к моим соотечественникам, — в конце концов, если царь — Божий помазанник, а я слуга его, вдруг и меня благословение хоть немножечко, а окружает? Я поискал глазами Толгата — я готов был потерпеть эти прикосновения; но тут на крыльцо мэрского дома вышел Зорин, а за спиной у него замаячили Мозельский с Сашенькой, и Зорин, взмахнув рукой, крикнул: «Кончайте эти глупости! Всем разойтись! Слоны — личная собственность государя, никакой этой фигни не будет! Давайте, давайте, граждане, ну что за глупости!..» — и через несколько минут никого не было на улице перед домом. Тогда вошли ко мне мэр и его приближенные и гладили меня и стучали; а потом Сашенька уложил на подводу двадцать мотков сиреневых ниток и шестьдесят листов серого войлока, и мы собрались двигаться дальше, и вдруг забибикало что-то очень громко. Это был пейджер Зорина, и все мы смотрели по очереди на экран, и только два слова было там, и это были слова:

«С Богом».



## Глава 5. Краснодар

Никогда не видел я, как всерьез бьют человека, разве что сам султан даст расшалившемуся султаненку на прогулке подзатыльник или юные султанишны со своими подругами устроят между собой драку, да такую, что смотреть страшно. Отец мой однажды начал с большим энтузиазмом рассказывать мне, что присутствовал при пытке, когда во время Большой войны захватили они с солдатами пленного, да только мать дала ему тумака, и он замолчал, хотя остался очень недоволен. Он вообще считал, что мать растит из меня «миску сладкой каши», но особенно этому не препятствовал, поскольку полагал, со всей очевидностью, что ждет меня исключительно сладкая же дворцовая жизнь. И вот теперь я в ужасе смотрел, как белый снег становится серым на черной одежде да капает красная кровь из розового рта, и в ужасе думал: какое же это легкое дело — бить человека! Как легко бьется человек! Султанишны наши, бывало, оставляли друг на друге синяки и шишки — ну так посмотрите на мои ноги, и я не железный, — но тут... Я не мог оторвать глаз от маленького зуба, желтоватого зуба в красной лужице на белом снегу, и меня ужасно мучило, и я стал смотреть на Кузьму, а Кузьма пытался выдернуть торчащую ниточку на своей перчатке, а они этого все били, били, а он все лежал и лежал, а я впервые подумал совершенно крамольную вещь

о папеньке и маменьке своих: а ведь, кажется, никогда, никогда не ходили они в бой против других слонов! Люди стреляли в родителей моих из луков и швыряли копья, люди били родителей моих мечами, и следы собачьих укусов сохранились у них на ногах до конца их дней, но... Вдруг представил я себе, что на героического папеньку моего обрушиваются удары двух таких же глыб, какой был он сам, и промелькнуло во мне что-то очень приятное и постыдное, от чего я поспешил со страхом отмахнуться. Тут Кузьма вдруг довольно громко сказал:

— Так, все, хватит, ребята, плохо кончится.

Люди в черном с круглыми стеклянными головами не то услышали Кузьму, не то сами решили, что дело их сделано, не то просто притомились, но оглянулись на соратников своих, крепко державших двух других преступников, рвущихся у них из рук и выкрикивающих оскорбления, и остановились. Я увидел вдруг, что они устали: плечи их от тяжелого дыхания ходили ходуном, и один, сняв шлем, чтобы утереть лоб, оказался рыжим и очень молодым, не старше самих задержанных на месте преступления вандалов. Он развел руками, словно в отчаянии или изумлении, и обернулся на памятник: красивые бронзовые фигуры казаков, стол, за которым они писали письмо, бочка под столом — все это было залито морем масляной краски, по верхней части памятника шла широченная желтая полоса, а по нижней — голубая, и брызгами краски были заляпаны белые стены по бокам от казаков, и деревья, и ведущие к столу ступени. А по цветной плитке перед памятником шла огромная надпись красным: «Запорожье не сдастся! Русский царь, иди на хуй за турецким султаном!!!» Эта надпись была теперь размазана и истоптана, и непонятно было, где краска, а где вандальская кровь на подошвах у людей в шлемах. Заново оглядев этот ужас и эту надпись, вызывавшую у меня дрожь, рыжий полицейский хорошо

размахнулся ногой и ударил лежащего на земле скрюченного преступника по копчику. Впервые за все время избиения преступник взвизгнул, жалобно и тонко, совсем как султанишна, получившая пощечину.

— Это тебе, — сказал рыжий, — от царя.

Потом размахнулся ногой снова и снова ударил.

— Это тебе, — повторил он, — от царя.

А потом, сняв с пояса дубинку, со всей силы ударил преступника по руке, и преступник заорал страшно и низко.

— А это тебе, — сказал рыжий, тяжело дыша, — лично от царя.

— Так, — сказал Зорин и двинулся вперед, доставая что-то из-за пазухи, — закончили. Забирайте их.

— А вы какого хуя лезете вообще? — поинтересовался напарник рыжего, снимая шлем, и я понял, что он не старше самого рыжего. Мрачный, с кустистыми бровями, он посмотрел сурово на Зорина и положил руку на рукоять дубинки. — Подводу вашу, между прочим, еще досмотреть надо. Вы, может, и царские посланники, а в работу нашу лезть не нужно, скажите спасибо, что мы вам тут стоять разрешили, я сейчас подкрепление вызову, не посмотрю, что у вас слон, мы вас живо...

Тут Зорин, успевший подойти к нему вплотную, развернул перед ним какую-то желтоватую бумажку, с которой свисала золотая кисть, и, не отдавая в руки, дал внимательно прочесть. Подошел и рыжий, успевший приковать шатающегося и согнутого в три погибели преступника к себе наручниками, и принялся, глядя из-за плеча своего напарника, тоже читать бумажку, но, не дочитав и до середины, попытался взять перед Зориным под козырек схваченной наручниками рукою, отчего преступник дернулся, как театральная кукла, а свободной рукой ткнул напарника в бок, и тот тоже, вытянувшись, поспешно козырнул.

— Отставить, — устало сказал Зорин. — Кто за старшего? Отвечайте неформально, без церемоний.

— Я, — сказал рыжий испуганно. — Старший лейтенант Бекиров Сергей Павлович.

— Немедленно очистить место задержания, — сказал Зорин. — Идиот вы, старший лейтенант. Скажите спасибо, что пять часов утра. При свидетелях... Я разделяю ваше негодование целиком и полностью, но голова у вас не только для того, чтобы шлем носить!

— Так указ же... И никого же нет, и темно еще, — обиженно сказал старший лейтенант.

— А вызвал вас кто? — рявкнул Зорин. — Кто-то еще, может, тут прячется, смотрит...

Старший лейтенант в ужасе огляделся, никого не увидел и хотел было возразить. Но тут же спохватился:

— Так точно, есть очистить место задержания!

Он махнул своим подчиненным, и преступников — покорную рыдающую юницу и упирающегося, растрепанного молодого человека с длинными волосами — повели в большой автомобиль с решетками на окнах. Рыжий медлил.

— Понимаю ваше беспокойство, — сказал Зорин, — но гарантировать ничего не могу. Посмотрим на последствия. Докладывать ради доклада не намерен — я слишком занят, старший лейтенант, чтобы заниматься вашим воспитанием, — но, если потребуется свидетельствовать, скрывать ничего не буду.

Рыжий тяжело вздохнул, еще раз взял под козырек и двинулся прочь. Кузьма смотрел ему вслед.

— У тебя хоть звание есть, ты, боевой певец? — усмехнувшись, спросил он Зорина.

— Да отъебись ты, — сказал тот беззлобно. — Я человеку, может, жизнь спас.

— Герой, — сказал Кузьма и вдруг окликнул рыжего: — Старший лейтенант!

Рыжий обернулся и пошел обратно, волоча за собой еле передвигающегося преступника, держащего на весу сломанную руку. Кузьма сделал несколько шагов

к памятнику и подобрал валяющееся у его подножия почти пустое ведро с синей краской.

— Не удивляйтесь и не кричите на меня, — сказал он, — но сейчас я плесну синей краской вам в лицо. Такая, ну, милая рифма. Это будет очень неприятно, но к вечеру вы мне спасибо скажете. Закройте глаза.

От удивления старший лейтенант действительно на секунду закрыл глаза, и в следующий миг его лицо, одежда, рукав, которым он яростно утирался, — все стало синим. От запаха краски меня замутило. Я уже ничего не понимал.

— Да вы... Да вы с ума сошли? — по-детски закричал рыжий. — Да вы чего?!

— Это не я, — терпеливо сказал Кузьма, — это преступник. Вот он. При попытке законного задержания он плеснул вам в лицо краской, ослепил, кричал «Вот вам за Навального!», бил ведром по голове, пытался ткнуть кистью в глаз, сопротивлялся.

Старший лейтенант оказался сообразительным.

— Я тогда полотенцем вытру, а отмывать не буду, — задумчиво сказал он.

— Как минимум до завтра, — сказал Кузьма.

— Это спасибо вам, — сказал рыжий.

— Я же прямо тут стою, суки, — сказал задержанный, и кровь выступила у него на губах. — Я прямо вот тут стою.

И они уехали, а я успел заметить, как Толгат тихонько поднял с земли желтый выбитый зуб, быстро обтер его снегом и положил в свою котомочку.

Сна у меня теперь не было ни в одном глазу; мы стояли на совершенно пустой площади перед памятником, в городе, куда вошли всего час назад, — в Краснодаре нам полагалось не только отдохнуть, но и основательно запасть фуражом, — и должны были ждать наших сопровождающих здесь, у памятника, а они запылавали, видимо, проспав. Вдруг представилось мне, как они приходят сюда, и видят и краску на памятнике,

и кровь на снегу, и кошмарную надпись, на которую я не мог смотреть, и решают хоть на малую долю секунды, что мы причастны, что это наших рук дело. У меня тут же свело живот. Я побежал к подводе — мне надо было срочно поговорить об этом с кем-то, — но Яблочко, раздражающе равнодушный ко всему, что не касалось его лично (как, впрочем, и все несчастные калеки такого сорта), совершенно спокойно дремал, а Ласка жевала клок сена, выданного ей Сашенькой, отвернув от памятника умную узкую морду. Я выразил ей свои опасения. Она усомнилась в том, что наши сопровождающие — такие уж дураки, а потом проницательно заметила, что, если им и придет в голову подобная мысль, они решат, что все это нами сделано царской волей и по царскому же велению, а зачем — это им знать по рангу не положено. Видно было, что наш разговор не доставляет ей удовольствия, и я вдруг почувствовал себя ужасным, бестактнейшим невежей: если мне, едва обрусевшему чужаку, эти немыслимые слова в адрес нашего государя причиняют такую боль, то каково ей, русской коренной, видеть их прямо перед глазами уже добрых полчаса! Я пристыженно замолк и отошел; Ласка вслед мне пробормотала что-то, но я не расслышал: утренний ветер становился все сильнее, и мне задувало в уши даже через связанную Сашенькой замечательную шапку.

Задремавшего было Сашеньку между тем Ласкино ржание согнало с подводы и побудило размяться; потягиваясь, он подошел к кутившему, топтавшемуся на месте Зорину и спросил:

— Что, нейдут?

— Придут, — сказал Зорин коротко.

Понятливый Сашенька цыкнул зубом и сказал, кивая на памятник:

— Вот суки. Как же их к ногтю прибрать-то, а?

— Это ваша, Сашенька, работа, не моя, — отрезал Зорин.

— Мы работаем, — вздохнул Сашенька. — Но и они, пидарасы, работают.

— Все у вас «они», — сказал Зорин зло. — Да кто, блядь, «они»?

— Ну это мы их расспросим, ребяточек, — сказал Сашенька.

— Вот тут-то вы и ошибаетесь, — ответил Зорин устало. — Ошибаетесь или притворяетесь, я не знаю. И говорить с вами про это не буду.

— Ну поговорите со мной, — жалобно сказал Сашенька. — Я же сейчас не на работе.

— Конечно, на работе, — усмехнулся Зорин.

— Ну на работе, — согласился Сашенька. — Но не каждую же секунду. И вообще, вы у нас человек свой. Вы ж надежный, как слон. Ну поговорите!

Зорин молчал и колебался, и видно было, что слова собираются у него во рту комом, как орехи за щеками у жадных бонобо, и вот-вот он уже будет не способен их проглотить, и, когда этот момент настал, Зорин выплюнул:

— Да нет же никакого «они»! Бабкам вы рассказываете из телевизора про западные гранты и американских заказчиков, только мне, я вас умоляю, не пиздите! Сашенька, ну вы же сами в это не верите, а?

Сашенька молчал и внимательно смотрел на Зорина с маленькой улыбкой, в которой не мог я прочитать ни «да», ни «нет», а Зорин ковырял большим пальцем ноготь указательного, и опять собирались у него во рту слова, которые он не хотел говорить, но что-то такое было в Сашеньке, отчего не сказать, что у тебя наболело, оказывалось ужасно непросто, и Зорин продолжил — сперва тихо, будто не хотел, чтобы его слышал отошедший подальше и снова занявшийся своей перчаткой Кузьма, а потом вдруг громко, как будто именно к Кузьме и обращаясь:

— А лучше бы были! Лучше бы были и гранты эти ваши вымышленные, и американский заговор, и хер

знает какие спонсоры, честное слово. Но нет же, блядь, это они сами. Са-ми! И еще совестью нации себя считают, интеллигенция ебаная. Как же надо ненавидеть свою страну, чтобы желать ей поражения в... ее делах. Ее солдатам чтобы смерти желать — это какими надо быть зверями? Интеллигенция! Интеллигент, между прочим, это гуманист в первую очередь. В семнадцатом году — да, смерти большевикам желали, с оружием на них шли, но за что шли? Почему желали? За Ро-ди-ну шли! За Рос-си-ю шли! А эти... Это говно нации просто сбегает на хуй из страны, а у кого бабла нет сбежать — те вон что делают, ненавидят ее и поражения ей желают, и смерти желают, и вон что делают. Говно, говно, говно — и это лучшие люди страны!..

— Так говно или лучшие люди страны? — вдруг быстро спросил Сашенька.

Зорин осекся и остался стоять с открытым ртом, затем сделал нелепый жест руками, как собака, чешущая уши, и сказал расстроено:

— Да вы же поняли меня.

— И очень хорошо, — кивнул Сашенька. — Они вас считают говном нации, а вы их не считаете говном нации.

Зорин побелел.

— Да при чем тут я! — сказал он очень спокойно. — Мне на них поебать. А на что мне не поебать, так это на то, что вы — вы, вы — с ними в игры играете, церемонитесь, а они как сепсис, они страну отравляют своим пиздежом гнилым. Они здоровых людей заражают. Вы возьмите простого человека и спросите его, что он думает о стране, — вы увидите, что у него все правильно в голове, но, если глубже копнуть — там есть, есть эта гнильца, есть, есть, есть. Она от кого пошла? Она от меня пошла? От вас пошла? Она от ТАСС пошла? От Первого канала? От «Известий»? Нет, она пошла от этих подонков. Вы возьмите простого человека — он их «Медузу» ебаную не читает,



«Дождь» их сраный в жизни не смотрел, а они как-то добрались до него, я вам клянусь, и гниль их в нем где-то есть. Да вот пойдете, ну!

Тут Зорин быстро направился к нашей подводе, где под тремя спальниками дремал Аслан, которому наше путешествие давалось тяжелее всех, и я предвидел по этому поводу значительные неприятности. Толгат, пытаясь согреться, сидел на краю подводы и очень осторожно наливал себе кофе из огромного термоса, уступленного нам на хуторе Водокачка суровой женщиной Марией за то, что я катал ее сына Сеню вдоль реки Афыпсна на зависть женщине Алене и ее сыну Пете. Все время, пока мы шли к дому женщины Алены, юный Сеня лежал у меня на загривке, держался за мою шею мертвой хваткой и орал не переставая, так что, будь моя воля, я бы это катание живо прекратил, но у женщины Марии был единственный термос на весь хутор, и таково было ее условие, а Кузьма сказал, что без термоса дальше не пойдет, и пришлось Толгату с Мозельским подсаживать вынужтого из постели Сеню мне на спину, явно вопреки его желанию. Зорин подбежал к Толгату и сказал запальчиво:

— Толгат Батырович, вот вы, извините, простой человек, вы скажите, вас новости интересуют? Вы интересуетесь, что в стране происходит?

Толгат осторожно поставил термос и кружку на край подводы, так, чтобы их случайно не пнул во сне ворочающийся Аслан, и смущенно заулыбался.

— Интересуют же, наверное, — сказал Зорин. — Я же вижу, вы равнодушный человек. Вы телевизор смотрите?

— Сейчас нет, — сказал Толгат, — у нас тут нет телевизора.

Зорин растерялся. Сашенька издал удивительный звук, как будто пытался удержать во рту лягушку. Но Зорин, кажется, решил не отступать.

— Я имею в виду, вы же, пока мы не выдвинулись, как-то за новостями следили, наверное?

— Как-то, — кивнул Толгат.

— А как? — жадно спросил Зорин.

— Я беседовал о них с охранником, — улыбаясь, сказал Толгат. — Он телевизор смотрел и всем со мной делился.

— Видите, — сказала Зорин, оборачиваясь к Сашеньке, — видите? Простые люди, они между собой обсуждают, это главное, это главный канал, вот для чего надо работать, вот это важнее даже самого телевизора. Толгат Батырович, а можно я спрошу? Вот эти разговоры — это важно для вас было?

— Очень важно, — ответил Толгат мягко.

— А почему? Почему важно? — требовательно спросил Зорин.

— Мне интересно было, что этот человек думает, — сказал Толгат, по своей привычке ласково кивая. — Про телевизор, про все. Он был очень интересный человек.

— Тоже простой человек, — сказал Зорин, обращаясь к Сашеньке. — И что он думал, Толгат Батырович?

— Он думал, по телевизору менты пиздят, — сказал Толгат, улыбаясь и продолжая ласково кивать. — Так и говорил: «Как они что пиздят — так ты, Толгат, все наоборот понимай!» Очень интересно. Но он был совсем непростой человек. Он по заказу убивал людей в девяностых в городе Самаре и при этом входил в секту хлыстовцев. Очень интересно.

Повисла тишина.

— Толгат Батырович, а кто вы по профессии? — улыбаясь, спросил Сашенька.

Подошел Кузьма и, хлопая в ладоши, бодро сообщил, что пришли наши сопровождающие. Аслан тут же проснулся и полез из-под спальников наружу, озираясь и покряхтывая.

— Минуточку, — сказал Сашенька. — Тут, как выражается Толгат Батырович, очень интересно. Ну так, Толгат Батырович?

— Я математик, — сказал Толгат, смущенно глядя на свои ботинки. — Профессор Оренбургского университета, у нас в Орске филиал.

— Вы идете или как? — спросил Кузьма. — Я задубел, сейчас без вас уйду, — и отошел прочь.

Зорин с ненавистью смотрел на Сашеньку, а Сашенька, не улыбаясь, смотрел на Толгата, спешно принявшегося зачем-то получше укладывать вещи на подводе.

— Вы же знали, — сказал Зорин.

— Как не знать — положено, — сказал Сашенька печально. — Айпенев Толгат Батырович, профессор математики, жена, трое детей, в две тысячи восьмом году уехал из своего несчастного Орска в Турцию на заработки, знакомые устроили его в зоопарк мусорщиком, а он очень хорош оказался со зверьми и вот выслужился, уже восемь лет как при нашем Бобо. Все деньги отправляет семье, жену любит, детей обожает..

— Скотина вы, Сашенька, — сказал Зорин устало.

— А по мне, так у нас получился очень важный разговор, Виктор Аркадьевич, — серьезно сказал Сашенька. — И вообще, вы же поэт, вас должна интересовать жизнь в ее неожиданных поворотах.

— Неожиданных поворотах... — с отвращением сказал Зорин, и вдруг голос его окреп: — А я вам скажу, что это совершенно ожидаемый поворот! Преступник отравляет мозг хорошего, доброго, чистого человека — чему тут удивляться?!

— Интеллигентного, — тихо добавил Сашенька.

— Да, интеллигентного! — рявкнул Зорин. — Изначально — интеллигентного, но отравленного, понимаете?!

«Ах, Зорин, Зорин!» — подумал я, и вдруг стало мне за нашего Зорина очень грустно.

— Ах, Зорин, Зорин! — сказал Сашенька очень грустно.

— Что «Зорин»?

Зорин насторожился, и я развесил уши, понадеявшись, что сейчас Сашенька объяснит мне, почему сердце мое внезапно так сжалось от сострадания к этому сильному и знаменитому человеку в военном бушлате с красным, белым и синим значком на груди, к этому человеку, который, как и я, верен был царю и отечеству и, как и я, страдал от наносимых им оскорблений, но нет, надо же было именно в этот момент опять явиться Кузьме, а с Кузьмой — и троим людям, пришедшим размещать, и веселить, и кормить, и чувствовать нас в городе Краснодаре. Люди эти, не замечая Сашеньки (и делая вид, что не замечают меня), тут же кинулись жать руки Зорину и говорить о том, как они рады его визиту, да какая это для них честь, да как они ждут его сегодняшнего выступления, да какой банкет они подготовили в его — то есть в нашу, тут они смущенно поправились — честь. Плечи у Зорина распрямились; мне вдруг стало смешно — и неприятно, что мною пренебрегают; я еще не знал, какие у Кузьмы планы на меня в этом городе, но не сомневался, что самые серьезные, и я подошел поближе — голова поднята, хобот вверх, осанка самая что ни на есть достойная царского слона, — так что людям этим пришлось попятиться. Я встал рядом с Кузьмой и красиво, как на параде, встречающим нашим поклонился, привстав на одно колено; они были в восторге, да и как им не быть; жаль, не было на мне моей попоны красно-бело-синей с золотым кантом, а вместо этого был я укутан в шерстяные тряпки, зато на голове у меня была связанная Сашенькой в дороге прекрасная сиреневая шапка, мягкая, с карманами для ушей, и я был уверен, что такой замечательной шапки эти люди никогда еще не видели. Они и правда были впечатлены, кажется, до крайности — пооткрывали рты

и не находили слов, так и стояли, пока одна из них, барышня на каблучках, не спросила у Кузьмы очень робко, можно ли слоника погладить на счастье — говорят, очень помогает.

— И постучать? — поинтересовался Кузьма.

Барышня смутилась.

— Мне на права сдавать по вторник... — сказала она, зардевшись.

— Стучите, конечно, — галантно позволил Кузьма, и барышня очень деликатно погладила и постучала меня ручкой в кожаной перчатке по боку.

Я был готов к тому, что и остальные наши сопровождающие поступят похоже, но они, кажется, постеснялись. Зато крепкий мужчина в синем пальто, колом стоящем на его объемистом животе, сказал, разводя руками и поворачиваясь к памятнику:

— Вы уж простите нас за этот позор...

— Да ничего, — сказал Кузьма.

— Интеллигенция — страшные люди, никакой управы на нее, да, Зорин? — сказал Сашенька.

Зорин снова побелел.

— Завтракать, завтракать, — заторопился мужчина в сером пальто. — Уж мы вас покормим, и слонику все приготовлено, по вашему брифу собирали, очень надеюсь, что доволен будет.

Теплая, сладкая каша с фруктами в теплом, чистом, светлом сарае — его еще и украсили к моему приходу какими-то пышными фикусами, очень радовавшими мой глаз, — как это было бы прекрасно, если бы не ворочались в голове моей тяжеленные мысли, плоские, как плиты, из которых были сложены ступени под памятником, и прогнать эти мысли мне никак не удавалось, и казалось мне, что они медленно оседают у меня в голове, одна поверх другой, одна поверх другой, постепенно заполняя весь мой мозг и растягивая его своими острыми краями, отчего у меня отвратительно заболела голова. Я посмотрел на Яблочко

и Ласку — оба уже поели и дремали, хорошо почищенные Мозельским, который в углу нашего сарая доедал свой завтрак и смотрел специально для него поставленный телевизор; да и не думаю я, что готов был бы эти мысли обсуждать с нашими лошадами, — я уже понял, что они совсем неглупы, но легки характером, и мне не хотелось грузить их тем, что тяготило мне душу. Ах, я понимал, я понимал то, что Зорин говорил про отраву, я понимал, что нельзя оставлять безнаказанными такие дела, как это дело с памятником, но хруст сломанной руки... Меня передернуло, и вдруг я не мог больше есть кашу. Но, с другой стороны, если не вселять в этих людей понимание, что последствия за оскорбление царя будут крайне серьезными... И ведь не каждый день же, конечно... Я закинул в рот еще немножко каши, и ее сладкий вкус приободрил меня. Да, конечно, царь наш, как всегда, во всем прав: дело тут не в серьезности или несерьезности последствий, дело в том, что чрезмерная мягкость с преступниками такого рода будет означать слабость власти, готовность власти терпеть оскорбления, а это, конечно, недопустимо: если проявить слабость к врагу внутреннему, то какой знак это подаст врагу внешнему, каковыми мы окружены? Если бы я от своей кормушки не отгонял опоссумов со всей строгостью, на какую был способен, уже на следующее утро на мне бы бонобо попытались всей ватагой кататься и по всему султанскому парку пошел бы слух, что я ослаб, а может быть, и из ума выжил, и к вечеру у моего тазика уже бы внаглую вечно голодные горалы паслись. Вот в чем вся логика! — сказал я себе, и порадовался собственному уму, и зачерпнул каши еще раза три-четыре. Но тут хруст снова вспомнился мне, и кашу я уже опять есть не мог... Черт знает что, а не завтрак! Хорошо еще, что пришел Толгат и стал мерить мне на переднюю левую ногу войлочную чуню, а к правой задней прикладывать раскроенные уже детали. Готовая левая передняя

чуня села на меня как нельзя лучше, а правая задняя получалась, как понял я из бормотания Толгата, великоватой, и надо было ее еще немножко обкроить, но по всему выходило, что дальше я, слава тебе господи, пойду уже обутым и сегодня вечером последний раз будет Толгат вытаскивать палочкой всякую дрянь из моих несчастных расслоившихся ранок. Кузьма, пришедший нас проведать, смотрел на примерку чуней с большим интересом и очень Толгата хвалил, обещая, что сегодня же найдут ему здесь, в Краснодаре, сапожную мастерскую, где к чуням пристегают надежные подошвы. По мнению Толгата, до Ростова-на-Дону, где должны были ждать меня сапоги, чуни дотянут, а там...

— А там есть у меня вот такая идея, — сказал Кузьма, но тут в телевизоре заиграла тревожно-бодрая музыка, и Кузьма со словами «Так-так-так!» метнулся к телевизору.

То были местные новости, и начинались они рассказом про наш памятник и про то, как преступники не просто залили его краской и оскорбили царя ужасной надписью (какой именно, правда, не уточнялось), но и при задержании чуть не убили полицейского. Рыжий полицейский появился в кадре с синим лицом и свежим шрамом над глазом: его облили краской, колотили по голове ведром, попытались кистью выбить глаз, он едва не лишился зрения. К счастью, преступники задержаны, а памятник сейчас спасают добровольцы (их оказалось очень много — человек пятнадцать, и все с тряпками и ведрами). Так что понятно было, что все будет хорошо.

— Молодец вы, Кузьма Владимирович, — сказал Мозельский. — И как вы это все сразу поняли.

— Я что, — сказал Кузьма скромно. — Я на них посмотрел и думаю: опоздай мы — такие бы и ведром колотили, и краской облили бы, и кистью бы тыкали...

— Небось, — сказал Мозельский с уважением.

## Глава 6. Крыловская

Чертова шапка, ах, чертова шапка! О, как бываешь страшен ты, русский март!..

Светлым утром вышли мы из Краснодара, нежным утром; спокоен был Кузьма, весел был услышавший какие-то славные фронтовые новости Зорин, Толгат мой ехал на мне верхом в такой же, как моя, сиреневой шапке, связанной заботливым Сашенькой, и поверх нее еще приладив огромной дулей красивый серый пуховый платок, купленный на выходе из города у бойких бабушек вместе с кастрюлей теплой картошки, теперь приятно гревшей мне шею; досматривал в подводе, на тщательно уложенном фураже, утренние сны сам Сашенька, уткнувшись в затылок храпящему Аслану, который наконец согласился отказаться от комичного своего щегольства и приобрести в Краснодаре страшные, но теплые зимние сапоги, комбинезон на пуху и огромную толстую куртку; Мозельский правил лошадаками, которые вели между собой неспешный семейный разговор. Я был в странном настроении: я думал о Нем. Я представлял себе нашу встречу: впервые в жизни смущала меня моя величина, и мне хотелось стать меньше, стать таким, чтобы показать Ему: я здесь, чтобы служить; спасать; смиряться; но смиряться как воин перед военачальником — другого, конечно, ему и не надо. Важный вопрос занимал меня: вставать ли мне при встрече на



одно колено или на два? В том, чтобы встать на одно, больше достоинства, на два — больше смирения; я решил наконец, что Толгат ближе к этой встрече, при мысли о которой подводило живот, даст мне правильную подготовку, но все равно разволновался и пошел слишком быстро, и Яблочко крикнул мне, чтобы я не несся вперед как оголтелый: хорошо мне вольно чесать, а на них подводы и чертов формалин. Я извинился и сбавил шаг и заметил, что небо потемнело и погасло и какой-то черный ветер поднялся и принялся дуть мне в лицо, и Кузьма сказал: «Не нравится это мне», — и вдруг от этого черного ветра и слова «формалин» ход мыслей моих изменился: вдруг, неясно почему, стало мне страшно, что я до Него не дойду. Внезапно что-то произошло во мне: по ногам побежали мурашки, мне стало холодно, холодно даже в шапке и чунях, сердце мое забилося часто при мысли, что я могу умереть в пути; отчего бы я, спрашивается, умер? — ах, да не знаю, не знаю, страх мой совершенно не искал ответа на этот вопрос, он окутывал меня морозом лютее любого мороза, щеки мои горели от стыда: я вдруг почувствовал, каким бы это было лютым позором — не дойти, разочаровав Его, оказаться настолько слабым (защитник! Боевой слон!), чтобы даже пути до него не вынести! Ноги мои вдруг стали подгибаться, сердце — колотиться; я встал на месте и принялся хватать ртом воздух; ужас мой был таким реальным, что я вдруг понял: прямо сейчас, прямо от этого ужаса я и могу умереть! Я дрожал, не разбирая, что говорит мне напуганный Толгат, видимо пытавшийся меня успокоить; а черный мартовский ветер дул все сильнее, а небо делалось непроглядным, и уже Аслан, разбуженный и встревоженный, бегал вокруг меня, а я, в ужасе от этих мыслей, которые словно бы раздувал во мне черный мартовский ветер, несший такие же черные, мокрые листья, липнувшие к моему лицу, стал крутиться на

месте; Толгат вцепился мне в уши, наземь упала кастрюля, я топтал картошку, и тут что-то впилось в мою ногу, я заорал, а Аслан отбежал в сторону, и я увидел в руках его шприц. Мышцы мои вдруг расслабились, и все мне стало все равно. Я опустил голову. Пальцы Толгата на моих ушах разжались, и я понял, что он делал мне больно.

— Ничего себе, — сказал Кузьма.— Это что было?

— Немножко погода, — сказал Аслан. — Немножко разволновывается.

— Ничего себе немножко, — сказал Зорин. — Он идти может?

— Немножко медленно, — сказал Аслан, приглядываясь ко мне.— Лучше постоять.

— Лучше-то оно лучше, — сказал Кузьма, глядя в бетонное небо, — но сейчас такое начнется...

И оно началось. Началось в ту же самую секунду, и серый снег, и ледяной дождь, и все это черный ровный ветер нес нам в лицо, в лицо, в лицо, и Яблочко начал страшно и яростно материться и пытался встать так, чтобы прикрыть собой Ласку, а Ласка только терпеливо отворачивала от мокрого снега морду, а Мозельский с Зориным и Сашенькой принялись, оскальзываясь и крича, устанавливать над нашей подводой сводчатый брезентовый навес, который никак не хотел входить в мокрые скользкие пазы, но только поздно было, поздно — за считанные секунды вещи наши промокли, промок фураж, бессмысленный Аслан бегал вокруг подводой, делая вид, что пытается помочь, но только путаясь у всех под ногами, и Зорин наорал на Аслана, а Кузьма на Зорина, и, когда люди мои наконец распрягли лошадок и отвели под деревья, не дававшие, в сущности, никакой защиты, а сами набились в подводу под навес, я почувствовал, что моя чертова шапка превратилась в шлем из мокрого снега с ледяной коркой. С воем я стал тереться ею о ствол и ветки ближайшей ели в надежде ее сбросить; ничего

у меня не получалось, я орал и звал Толгата, в ответ мне орали ужасными словами про понаехавших сойки, прячущиеся в ветвях, и одна из них, с бойким и наглым голоском, изволила заметить, что кто хочет жить с людьми и шапки носить, тот пусть убирается в город, пока его не обосрали, после чего обосрала меня довольно основательно, попав прямо на переносицу. Вдруг стало мне жарко и очень спокойно, и я понял, что сейчас просто переверну подводу и высыплю их всех оттуда и буду медленно пинать ногами, пока не снимут с меня гребаную шапку, а также размокшие чуни, в которых булькает вода. К счастью, уже бежал ко мне Мозельский; я наклонил голову так низко, как только мог, и он содрал с меня чертову шапку; и помчался назад к подводе, делая огромные шаги и матерясь; я решил, что запомню, кто мне на помощь в этот момент пришел, и отплачу добром. Странный жар отпуская меня; мышцы мои все еще дрожали; меня стало клонить в сон — видно, проклятый укол давал себя знать. Я медленно пошел к лошадам; те стояли мокрые и дрожащие под капающими ветками, и я, клюя хоботом, сказал им все, что думаю, про русский март: страшен ты, русский март, сказал я, и нельзя тебе верить. Посмотрите, сказал я, на это сияющее синее небо в разбегающихся у нас на глазах тучах; посмотрите на этот свет небесный, божественно разливающийся по умытому слезами природы лесу; посмотрите на соек в праздничном их оперении, переливающимся в солнечных лучах, на листья, трепещущие под каплями, и каждая капля чиста, как бриллиант в царской короне, посмотрите, как сам воздух, словно роскошная вуаль, полнится мелкими алмазами! О, на какую наивную слезоту настраивает тебя все это! Как хочется поверить в эту неземную, чистую роскошь русского марта! Не верь же, наивный, — страшен бывает русский март, суров и страшен, и, если не готов ты к нему, сердце твое будет сначала разбито видением подлинного его

лика, а затем ранено, а уж затем — в этом я уверен — произойдет самое худшее: ты обнаружишь, что привык к его злу, к его страшным истинам, и научишься не возмущаться ими больше, и будешь жить так, словно это свинцовое небо и черная мерзость, льющаяся тебя в уши, вовсе не существуют, а есть только божественное солнце, сияющее в промытой вышине; если же указать тебе на то, что приходится терпеть тебе ради этих божественных алмазов на дрожащих листьях, скажешь ты, что не так все просто и что светлая наша весна стоит маленького страдания...

— Хороший укол, — сказала Ласка, улыбаясь. — Я тоже такой хочу.

Я понял, что сейчас заплачу: они не понимали меня; я хотел сказать... Я пытался сказать им... О, все оказывалось здесь так непросто, так ужасающе непросто! Я учился любить, я, ей-богу, учился любить — нет, я уже любил новый мой дом, Родину бескрайнюю мою, но любовь эта оказалась больнее, чем ожидал я; я понял сейчас, покачиваясь в полусне, что, стоя за спиной Павла и Халиля или Павла и Салиха, я готовился любить ее детской любовью, но не эта, не эта любовь была здесь нужна... Слезы все-таки покатались по лицу моему, и под теплыми солнечными лучами плакать было легко.

— Совсем ебанутый, — сочувственно сказал Яблочко, а Толгат уже похлопывал меня по ноге, чтобы дал я ему взобраться мне на загривок, а Кузьма сказал:

— Два с половиной часа потеряли, пиздец.

И мы пошли вперед, и я шел, как по облаку, по чавкающему мокрому снегу, и мне было легко, но только слаб я был и словно бы прозрачен, и Кузьма сказал: «На два часа от плана отстаем». Я мечтал об одном: чтобы мы дошли уже до станицы какой-то там, и меня покормили бы, и я поспал бы, и мокрые мои товарищи, я верю, не мечтали ни о чем другом, и станица наконец встала перед нами, и тут грянул хор:

...Из далеких стран полуденных,  
Из заморской стороны  
Бьют челом тебе, родимая,  
Твои верные слоны!..

Велик был хор, человек пятьдесят, и наряжен, и встречал он нас хлебом и солью, и казацкой пляской, и камерами, и мы, шатаясь, смотрели на него, а он все пел и пел про Родину:

...О тебе здесь вспоминаючи,  
Песню дружно мы поем,  
Про твои станицы вольные,  
Про слона и отчий дом!..

— Это ты, небось, устроил, — зло прошептал Зорин, обращаясь к Кузьме, стоявшему со мной рядом и от усталости привалившемуся ко мне боком.

— Отъебись, — тихо сказал Кузьма, но видно было, что дорого бы он дал сейчас, чтобы не было хотя бы камер.

...Мы, как дань свою покорную,  
От прославленных слонов  
Шлем тебе, Кубань родимая,  
Десять тысяч теплых слов!..

Немыслимая чернокосяя красавица уточкой поплыла на меня с увенчанным солонкою караваем в руках. Я осторожно смахнул солонку и, целиком ухватив каравай, принялся от него кусать. В животе у меня забурчало. Хор начал издавать разнообразные звуки. Кузьма захрюкал. Камеры сверкали.

— И то ничего, — пробормотал Зорин с удовольствием и продолжил громко: — Господа казаки, слов наших нет — так мы тронуты вашим прекрасным приемом! Простите, если мы не слишком

бодры, — дорога нам выдалась трудная. Нам бы перекусить и поспать...

— Не поспать, — перебил его Кузьма.

Зорин уставился на него, не понимая, и я испытал маленький укол удовольствия, сам не знаю почему.

— Увы, дорогие друзья, мы не сможем остаться у вас передохнуть, — ласково сказал Кузьма, тыча Зорина локтем в бок. — Мы из-за некоторых обстоятельств сильно отстали от графика. Но если вы позволите нам сходить в горячий душ и покормите...

Оказалось, что и стол готов, и баня натоплена, и вещи можно посушить, и для меня запасено питание (к которому подошел я как-то вяло — проклят будь Аслан и его омерзительный шприц), и лошадакам, конечно, есть чем поживиться; в нашем теплом гараже при пожарной части я с радостью поделился с ними своим богатым провиантом, и они, поев груш, чернослива, печенья и всякой мелочи, принялись дремать. Ласка положила Яблочку голову на спину; любуясь ими, задремал и я, и снилось мне, что мой бедный, славный Мурат, как это часто с ним бывало, бродит бессонно у меня под брюхом, молча развивая очередную странную теорию. Помню, однажды весь дворец гадал, что творится с нашим султаном — он стал неожиданно мягок со всеми, вечно был в хорошем настроении, принялся наряжаться в яркие цвета и приходил в парк с карманами, полными орехов: кому только не доставались эти орехи! Побродив подо мной и пощекоча меня иглами в один жаркий, влажный вечер минут семь или восемь, Мурат сказал совершенно неожиданно: «У меня есть две версии, но, чтобы определиться окончательно, мне хотелось бы задать султану один вопрос: для кого человек делает пластические операции — для себя или для других?» Я с изумлением спросил, уж не собрался ли, по его мнению, наш шестидесятисемилетний султан уменьшить свой выдающийся нос; нет, сказал Мурат, но

в зависимости от ответа ему, Мурату, стало бы ясно, ждет ли султанша наконец младенца или наш правитель завел юную любовницу. Я растерялся. Мурат пояснил: султан явно переживает приступ молодости; что-то юное или кто-то юный вошел в его жизнь, причем речь идет не о деловых отношениях, не о покровительстве и не о политическом альянсе, а о глубокой эмоции; стало быть, это либо младенец, либо юная пассия. Если ответ на вопрос Мурата будет «для себя», то дело, видимо, в ребенке: ребенку безразлично, как выглядит его отец; если же ответ будет «для других», султану самому глубоко не все равно, каким видит его молодой объект страсти... Во сне своем я сунул хобот под брюхо и попытался достать Мурата — мне не терпелось узнать, о чем он думает, — и, к своему изумлению, обнаружил, что Мурат одет совсем как Аслан, не одет даже, а укутан. «И это на нашей-то жаре!» — подумал я, испугался, что Мурат перегреется насмерть, с отвращением подумал, сколько радости от этого будет Аслану, и тут с болью вспомнил, что все уже случилось, случилось... От боли этой я проснулся; да кто-то и правда был у меня под брюхом! В ужасе растопырил я ноги, осторожно продвинулся вперед, развернулся и уставился на то место, где раньше стоял: там, скрючившись и обхватив руками колени, сидела, переодетая в толстовку и джинсы, кубанская красавица, подносительница хлеба-соли, и смотрела на меня невероятными своими очами. От топота моего проснулись лошадки, увидели красавицу и удивленно заржали. Красавица в ужасе зашикала на нас и бегом перебралась в самый темный угол гаража. Я был растерян; посоветовавшись, мы с лошадами ни к какому выводу не пришли, и к моменту появления Кузьмы и Аслана, очень усталых и несколько спавших с лица, версий странного поведения красавицы у нас не было — разве что, подумали мы, прячется она от необходимости петь снова с хором,

чье послеобеденное выступление хорошо нам было слышно прямо в эти моменты даже сквозь стены нашего пристанища.

— Двигаться совсем надо, Аслан Реджепович, опаздываем сильно, — сказал Кузьма, обходя вокруг меня и глядя встревоженно. — Он идти может?

Подлый Аслан пнул меня ногой под колено. Я произвольно дернул ногой.

— Есть рефлекс, — сказал Аслан довольно, причем я был уверен, что никакого отношения к вопросу Кузьмы это не имело.

— Значит, может? — с надеждой спросил Кузьма.

— Ничего, пойдет, — сказал этот подлец кровожадно.

— Вот сука, — сказал Яблочко.

— Тогда выходить надо, — сказал Кузьма, — на четыре часа мы отстаем. Позовите Толгата Батыровича, пожалуйста, и Мозельского тоже, пусть зверей готовят. Я бы сам, вы простите, но мне еще Зорина улаживать, он ночевать хочет.

— Ничего ужасного, — сказал Аслан сладким голосом и исчез.

— Держись, слоник, — сказал Кузьма, похлопал меня по ноге и собрался уже идти прочь, как вдруг из угла метнулась к нему маленькая тень.

— Кузьма Владимирович, — заговорила красавица, схватив Кузьму за руку так, что у нее побелели костяшки, — Кузьма Владимирович, простите, пожалуйста, два слова скажите со мной.

— Да, конечно. — Изумленный Кузьма застыл в полуобороте.

— Кузьма Владимирович, заберите меня, не могу, мне надо уйти, — сказала красавица, вдруг оказавшаяся очень юной, — мне представилось, что ей от силы восемнадцать лет, а может, и пятнадцать. — Не могу больше тут... Вы бы знали, как это все... Господи! Кузьма Владимирович! Сама в жизни не справлюсь, а мне



так надо, мне так надо! Просто спрячьте меня в подводе у вас, мне есть не надо, ничего не надо, я вам готовить буду, вещи чинить буду, лошадей чистить, что угодно делать! Я все умею!

— Да куда же вам, милая? — мягко сказал Кузьма, высвобождая руку.

— В Москву! — выдохнула девушка, хватая Кузьму за палец. — Вы же через Москву пойдете? Мне только до Москвы добраться, вы меня не заметите, я очень тихо буду, мне даже есть не нужно!

— А вы почему знаете, что мы через Москву пойдём? — насторожился Кузьма.

— Да ведь как через нее не пойти, если можно пойти? — опешила девушка. — Это же Москва!

— Вы в Москве-то когда-нибудь были? — спросил Кузьма, улыбаясь и отнимая у нее свой палец. Будто она была младеница.

— Не была! — сказала красавица запальчиво. — Не была, понимаете, не была!

— Кто у вас там? — спросил Кузьма.

— Никого, — сказала она, — а только там жизнь, жизнь! Господи, да знали бы вы, как это все...

— У вас же тут семья, подруги, наверное. Любовь, может, — сказал Кузьма осторожно.

— Да хер с ними со всеми сто раз, — вдруг сказала красавица очень сухо и передернулась. — Друзья-подруги... С семьей моей сами живите, если хотите. Друзья-подруги... Любовь еще... С нашей любовью вы поживите тоже... Мне тут слова нормального сказать не с кем.

— И что же это за слово? — так же сухо поинтересовался Кузьма.

— Так я вам и расскажу, — жестко ответила красавица. — Вы человек царский. Не хотите брать — не берите, нервы мотать не надо. Скажите просто: нет. Допытываться я вас не просила.

— Что, листовки хотите клеить? — спросил Кузьма со вздохом. — В одиночных пикетах стоять? На борьбу

с режимом потянуло? Может, еще и геройского пути ищите? От «Жан-Жака» до автозака?

Красавица молча смотрела на Кузьму, и ее бархатные щечки медленно заливались румянцем.

— Зря я вас за человека приняла, — сказала она высоким дрожащим голосом. — Что-то мне такое в вас померещилось... Человеческое. Подумала на секунду: хоть и царский сукин сын, а как живой. Сейчас стою и не понимаю: с чего это я? Ну что, сдадите меня? Кому стучать пойдете? Начальнику хора? Он и главный тут у нас по этим делам, и батя мой по совместительству. Семья! Уж он из меня дурь-то повыбьет, вы довольны останетесь, не сомне...

— Вас как зовут? — вдруг спросил Кузьма.

— Катерина, — растерянно сказала девушка.

— Катя, у вас когда... — начал Кузьма, но девушка строго прервала его:

— Катерина.

— Катерина, — покорно повторил Кузьма, кивая. — Катерина, у вас когда день рождения?

— В июле, — сказала Катерина недоуменно.

— Вам сколько исполняется? — деловито спросил Кузьма.

— Двадцать.

— Не врите.

— Девятнадцать, — сказала Катерина и сделалась совсем пунцовой.

— Не брать с собой ничего, кроме самой необходимой теплой одежды, документов и денег, — сказал Кузьма. — Это понятно? Будет сумка большая — сам все выкину прямо на дорогу. У вас есть, — Кузьма посмотрел на часы, — ровно восемнадцать минут. Мы опаздываем страшно.

Лицо Катерины стало белым.

— Вы не представляете себе, как я...

— Семнадцать, — сказал Кузьма. — И еще учтите: никакого касательства к вашей судьбе я не имею.

Я вам не друг, не брат, не сват. Что с вами дальше будет — до того мне дела нет. Это понятно? И телефон нельзя, совсем, никакой — безопасность. Вас обыщут, всерьез. Вы понимаете?

Катерина моргнула и исчезла. Я вдруг понял, что не могу смотреть на Кузьму, иначе слезы, стоящие у меня в глазах, вытекут наружу. Я запрокинул голову так, что уши хлопнули меня по бокам, и с удовольствием услышал возмущенный голос Аслана:

— Извините, пожалуйста, Кузьма Владимирович, но как же нам помещаться? Мы не сможем все на подвода помещаться! Нам уже очень не много места!

— Да уж как-нибудь с Божьей помощью, — сказал Кузьма и вышел, и поганец Аслан снова пнул меня под колено, а я изо всех сил дунул ему хоботом в ухо, и на том мы расстались.

Покинуть станицу через семнадцать минут нам, конечно, не удалось — хор искал Катерину, чтобы после исполнения «Прощальной» («...Пусть слону родному русскому / Покоря-а-а-ается простор!..») надеть на меня огромный венок из цветов и колосьев, но Катерины нигде не было, и нетерпеливый Кузьма сказал наконец:

— Вы нас простите, господа, а только больше мы совсем, совсем не можем. И венок на меня надел начальник хора, сухой подтянутый человек с огромными и прекрасными глазами и узким алым ртом, в папаше и с шашкой. Венок кололся. Я нервничал страшно, и все мои силы уходили на то, чтобы не переминыться постоянно с ноги на ногу и не махать из стороны в сторону хоботом, тем самым выдавая свое волнение. Стоило нам покинуть станицу, как мне пришлось сделать свои необходимые дела прямо на дороге — я не мог больше терпеть, от волнения кишечник меня не слушался, и я в ужасе пытался вообразить, что подумает обо мне Катерина. Вся моя надежда была на то, что если ее, свернувшуюся клубком в дальнем углу накрытой навесом подводы, не вижу я, то и она не видит

меня. Я не понимал еще тогда... Я многого еще тогда не понимал. Мне просто было почему-то так легко, легко идти — венки, пусть и колючий, явно украшал меня, солнце стояло в зените на безоблачном небе, и тепло его разливалось на весь мир, и свет его на сияющем снегу был даром божественным, и все это было про надежду; про то, что и черные дни проходят, а еще про то, что дарование нам этой надежды никакому осмыслению не поддается: вдруг является она в сердцах наших, как является солнце в синеве, и вот — есть. И снова я думал о Нем и верил в этот момент, что я не никчемный, не никчемный слон, что стоит мне воссоединиться с Ним, увидеть Его, начать что ни день служить Ему, как всегда во мне, наверное, будет эта невесть откуда взявшаяся сегодня нежнейшая легкость, доходящая до головокружения, — легкость, заставляющая забыть об усталости, легкость такая, будто проник в тебя свет небесный и этим светом был Он. Я думал в тот день, что это любовь моя к Нему заставляет меня сойти с дороги и пробежаться, неся Толгата на загривке, по заснеженному полю в моих прекрасных высохших чунях, что это любовь моя к Нему заставляет меня дергать от переполняющих меня жизненных сил завязки моей прекрасной шапки, что это любовь моя к Нему в огромности своей заставляет меня хихикать, когда я представляю себе, что будет с сидящим на облучке Зориным, когда обнаружит он Катерину, — потому что все люди любят друг друга, и Зорин ее полюбит, и от любви к Кузьме простит Кузьму, и все мы будем любить друг друга и навеки после нашего путешествия останемся братьями — да мы уже братья. Сойка села мне на голову; я привстал на задние ноги и подкинул ее головой в воздух; она улетела, крича, что я пидарас, и я засмеялся.

О, русский март!..

Хуже всего было то, что под конец улица круто пошла вверх, и тут даже Кузьма перестал повторять свое «Опаздываем, опаздываем, опаздываем!» и дал, слава богу, нам, несчастным, идти так, как мы могли идти, то есть еле-еле переставляя ноги. Опаздывали мы на четыре часа, Яблочко с Лаской стали без спросу останавливаться передохнуть, и правивший ими Мозельский отказывался лошадок погонять, а только говорил понимающе: «Вы ж мои бедные» — и требовал, чтобы все слезли с подводы и шли пешком. Первое время ему подчинялся даже Аслан, но потом не выдержал и стыдливо попросил Мозельского «научить его править лошадьми», о чем он якобы всегда мечтал. Мозельский, усмехнувшись, подвинулся на козлах, но стоило Аслану усесться рядом с ним, как хитрые лошадки встали намертво, а Ласка еще и пробурчала: «Сам себя тащи в гору, тварь ленивая», и Мозельскому пришлось слезть, просто передав Аслану вожжи и выразив восхищение прирожденным его талантом кучера. Нехотя лошадки тронулись, и мы, кряхтя и задыхаясь, добрались до того места, где улица резко начинала забирать вниз; оттуда открывался нам вид на желтое трехэтажное здание, почти скрытое глухим коричневым забором, и видны были перед забором машины телестудий, которые я хорошо уже научился узнавать. Кузьма принялся поспешно отирать

пот со лба и одергивать куртку, Аслан полез под навес подводы спешно переодеваться в пальто, Зорин же, напротив, распахнул воротник бушлата и сделал лицо такое, словно прислушивается к бурчанию в животе, — я давно понял, что он такое лицо делает, когда знает, что на него смотрят или смотреть будут, и сам тоже научился так поступать и очень был Зорину за эту науку благодарен. Один Сашенька, как всегда, был элегантен, подтянут и ко всему готов, и когда мы пошли с горы вниз, а люди с камерами и микрофонами побежали, напротив, к нам наверх, он стал спускаться слева от меня легко и весело, будто и не проделал ночью весь тот путь, который мы проделали. Что до меня, я был грязен и измучен; последние несколько дней я не то что не получал привычных мне растираний розовым маслом — я и мыт-то как следует не был: Толгат только и мог в наших походных обстоятельствах чистить мне бока и ноги снегом, а потом залезать мне на спину, набив снегом же целлофановый пакет, и кое-как меня обтирать, и, ей-богу, чище я себя от этой процедуры не чувствовал, да и кожа моя от снежных ванн сохла страшно. Но боевая обстановка есть боевая обстановка, и я, конечно, никаких претензий не выражал, а только сейчас, в момент спуска с этой самой горки навстречу камерам, стало мне вдруг невыносимо смешно: да чтобы я! Я! В таком виде прежде кому-то показался! Господи помилуй! Бока мои затряслись, я запрокинул голову и всохотнул, и Толгат начал хлопать меня по макушке, чтобы я вел себя прилично. От этого стало мне еще смешнее, я сильнее затрясся, Толгат явно занервничал и громко зашикал на меня — нас уже, похоже, снимали, — но тут Кузьма спросил с интересом:

— Он что, смеется?

Толгат, видимо, кивнул, и Кузьма сказал довольно:

— Отлично, для детей это очень хорошо, пускай смеется, — и, обратившись к журналистам, прибавил: — Пишите: заголовок ставим «Смеющийся»

царский слон пришел в гости к особенным детям». Нет, не так: «Смеющийся царский слон пришел развеселить особенных детей». Дословно запишите только, знаю я вас.

Журналисты послушно принялись что-то корябать ручками в блокнотах и набивать пальчиками в телефонах, а Кузьма так бодро, словно всю ночь проспал сладким сном, распоряжался уже насчет сцены перед воротами с достойной черно-золотой табличкой «Городской клинический детский психоневрологический диспансер № 1», благо из этих ворот успел вынырнуть в щелочку человек в стальных очках, белом халате и белой же шапочке, которого Кузьма называл «господин профессор». Господин профессор был щупл, сух, высок и напоминал Аслана образом совершенно поразительным, с той разницей, что был, очевидно, умен, поскольку заведовал лечебным заведением в три этажа. Я кивал и кланялся и поднесенную мне господином профессором морковку, выращенную в огороде собственными руками юных его пациентов, от голода проглотил целиком. Профессор явно намеревался дать на моем фоне масштабное интервью о пользе предстоящего сеанса зоотерапии и о своих обширных зоотерапевтических разработках, которые вел с 1975 года, но Кузьма, прижимая руки к груди и дико извиняясь, этому воспрепятствовал: пора было, пора снимать остальные части сюжета и зоотерапевтический сеанс в частности, потому что замечательный наш Бобо очень, очень устал, а он животное же, ему, дорогие коллеги, не прикажешь, так что пока он, видите, еще как-то бодр и покладист, давайте мы с ним поработаем? Давайте, коллеги, поработаем оперативно, пока наш слоник в таком прекрасном расположении духа, давайте, снимаем сейчас, как он входит в ворота, дети же готовы, профессор Николай Степанович? Ну вот, дети готовы, хорошо, ждем пару минут, выставляйте камеры и поехали.

Я уже научился понимать Кузьму и даже ловко ему подыгрывать и этим умением немного гордился: я тут же стал перетаптываться, изображая некоторое нетерпение и даже, может быть, готовность потерять прекрасное расположение духа. Все забежали. Камеры встали на места. Ворота распахнулись, Толгат поерзал и почесал мне ухо, подавая знак, и мы пошли.

...Я решил сперва, что где-то уже такое видел — то ли в ужасном сне, то ли... То ли Мурат рассказывал мне что-то из безумных своих фантазий, то ли... Я смотрел и смотрел, оторопев, переводя взгляд с одного личика на другое, и вдруг вспомнил, вспомнил: я слышал это от отца, я слушал, а отец, неторопливо жуя, рассказывал мне про такие же белые лица и синие губы и про такую же мелкую-мелкую дрожь, и почему-то сейчас мне было так важно, так важно вспомнить название яда, которым отцовские воины мазали стрелы, — яда, от которого губы у человека становились синими, а кожа белой и из носа начинала струиться юшка, и по хлюпанью втягиваемой юшки да по стуку зубов, который невозможно было сдержать из-за этой мелкой-мелкой дрожи, человека находили в любой чаще, как бы он ни пытался прятаться первое время, пока ноги еще держали его — а держали они его недолго: на страшной жаре отцовской родины человек умирал от холода, расходящегося волнами от места, куда впиалась пропитанная ядом стрела, за пол светового дня. И вот сейчас, когда мы вошли в ворота, стало очень тихо, и слышал я только хлюпанье юшки из пяти десятков носов да мелкий стук зубовой, да еще чей-то сдавленный плач; и, ей-богу, я успел подумать — ну на секунду, на секунду, честное слово! — успел я в ужасе подумать, что прокрались сюда апаху и постреляли несчастных детей, полагая, что те держат меня в плену: месть за отца, спасение сына; сейчас со страшным боевым свистом начнут они прыгать с крыши третьего этажа, смуглые, полуголые и построенные



зачем-то зигзагом дрожащие дети с синими губами будут падать в снег, и снег окрасится кровью. Я не мог шевельнуться: я стоял с открытым ртом, как последний идиот, ничего не понимая, и тут господин профессор внезапно очень громко произнес:

— На счет «три» слоников подняли над головой! Раз, два... три!

И на счет «три» действительно дрожащими ручками дети эти подняли над головами то, что каждый из них держал, — каких-то кривых и косых слоников из пластилина, фетра, папье-маше, бог весть чего еще. Плач стал громче. И тут Кузьма очень спокойно сказал:

— Опустить слоников.

А потом заорал, но обращаясь не к детям, все еще державшим свои поделки кое-как над собою, а к господину профессору Николаю Степановичу:

— Опустить слоников!!!

Николай Степанович вздрогнул и закричал, в свою очередь, тоже глядя вовсе не на серый зигзаг, а на Кузьму:

— Опустить слоников!!!

Слоники опустились — правда, не все.

— Всех в здание, — очень тихо сказал Кузьма.

— Помилуйте, — ошеломленно сказал Николай Степанович, — нас ждет сеанс зоотерапии, тут товарищи приготовились к съемке, у нас расписание, вы и так на три часа опоздали, дети заждались...

— Дети, значит, заждались... — задумчиво сказал Кузьма. — Заждались, значит, дети... И сколько они прождали?

— Четыре часа как построились! — с достоинством сказал Николай Степанович. — Мы свое дело знаем и тоже умеем перед камерами в грязь лицом не ударить! Нас Соловьев полгода назад показывал! Не в канаве валяемся!

— В здание всех! — рявкнул Кузьма, да так, что стоявшие по краям двора медсестры быстро забегали;

раз — и не стало никого во дворе, и только валялся у нас под ногами выточенный из дерева маленький кривой слоник с синими губами, с белыми глазами.

— Вы, может, и царский посланник, — зашипел Николай Степанович, обнажая прекрасные, как жемчуг, зубы, — а только директор тут я! Распоряжение, между прочим, ваше было — к вашему же приходу всех во двор вывести и весело встречать!

— До хуя вы нас весело встретили, — прошипел в ответ Кузьма, отворачиваясь от Николая Степановича. — Хуй вы должны были забить на мое распоряжение, когда мы вовремя не пришли!

— Да-а-а-а? — протянул издевательски Николай Степанович. — Сме-е-е-елый вы, видать, человек! А я не смелый, я, знаете, разумный.

Кузьма молчал. Толгат, успевший с меня осторожно слезть, незаметно для всех поднял с земли кривого слоника и положил в свою котомочку. Кузьма развернулся и быстро направился за ворота. Тогда Толгат мой подошел к Николаю Степановичу и сильно покраснел, отчего смуглое лицо его стало темно-коричневым. Растерянный директор протянул Толгату сухую узкую руку в кожаной перчатке, и Толгат, смешавшись, пожал эту руку двумя маленькими руками, но тут же уронил ее, выпрямился во весь рост и громко сказал:

— Я вас не уважаю.

Затем он подошел ко мне и положил мне руку на бок, и я почувствовал, что рука его дрожит, и мы вышли с ним из ворот этого заведения, и я понял, что завтрака мне сейчас не будет и не будет завтрака ни Кузьме, ни Толгату, и вдруг испытал легкость необыкновенную.

Сообразительные камеры исчезли; Зорин выскользнул из калитки и виновато объяснил, что подписывал медсестрам книжки, — «А что сделаешь, куда денешься?».

— Трудная у тебя жизнь, бедняжечка, — устало сказал Кузьма, но Зорин серьезно ответил:

— Это у профессора нашего трудная. Ты вот наорал на него, а он просто пытался приказ выполнить — ему-то казалось, что царский. Ну да, дурак, не понимает, что приказ, а что не приказ, но в остальном простой верный служака, хотел как лучше.

— О, — сказал Кузьма.

— Извинился бы ты перед ним, — сказал Зорин.

— А, — сказал Кузьма.

— Не понимаешь ты людей, коммуникатор хренов, — сказал Зорин.

— Ты ему сколько книжек подписал? — спросил Кузьма.

— А две, — сказал Зорин. — Одну для жены, а одну для их библиотеки. И нет, дело не в этом. Дело в том, что этот человек настолько уважает царское слово, что оно — да, до плохого — ему глаза слепит. И да, нам такие люди нужны. А ты этого не понимаешь. Потому что ты мыслишь бытовыми категориями, как баба. Ты не понимаешь, что для всякого дела нужен свой человек. И есть дела, для которых нужен вот такой профессор.

— И какие это дела? — поинтересовался Кузьма, опускаясь на край подводы.

— Не буду я с тобой про это говорить, — сказал Зорин, печально хмурясь и опираясь о подводу бедром. — Ты меня нелюдем выставишь. Тебе нравится меня нелюдем выставлять, я не понимаю зачем. Мне кажется, ты просто булли и на мне с удовольствием упражняешься. Мне кажется, ты и девчонку эту казацкую с собой взял не от доброты сердечной, а чтобы она меня бесила. Ну так знай: она меня не бесит, я ее жалею. А нелюди, между прочим, никого не жалеют.

— Ты вот про это стихи напиши, — сказал Кузьма равнодушно. — Как вы жалеете. В отличие от нелюдей.

— А про это уже есть стихи, — сказал Зорин, залезая в подводу и пытаясь что-то откопать в своем тугом брезентовом бауле. — Про это уже есть великие стихи: «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели».

— Б, — сказал Кузьма.

— Что? — спросил Зорин.

— «Б», — сказал Кузьма. — Все забывают, что там «б». «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели». Он говорит, что военных преступлений не совершал. Мог бы, но не совершал. А вы все так кроваж- жадно про это «б» забываете.

Зорин вылез задом вперед из подводы и потер щеку и спросил раздраженно:

— Да где, блядь, бритва моя? Мозельский, вы бра- ли бритву мою?

— А почему я? — искренне изумился Мозельский.

— Ну простите, — сказал Зорин. — Я вижу — вы выбриты, ну где-то же она должна быть. Я ее сверху клал, не слон же ее попиздил. Тем более что слон все время с нами там был.

— Может, Аслан одолжил? — подумав, сказал Мо- зельский. — Он, перед тем как в музей уйти, прихо- рашивался и щеки брил. Как по мне, так лучше бы и бороду всю сбрил, получит он когда-нибудь в под- воротне по ебалу с этой своей чурканской бородой и бабскими тряпками. У вас бритва красная?

— Я вам кто? — поинтересовался Зорин, прищу- риваясь. — У меня бритва серая.

— Такая? — вдруг вызывающе прозвучал молодой голос из глубины подводы, из-под самого дальнего угла навеса.

Раздался шум и шорох, набитая наша подвода за- ходила ходуном, и тонкая девичья ручка высунулась на свет божий — ручка, сжимающая в пальцах с об- грызенными красными ногтями серую электрическую бритву.

— Вы что ею брили? — в некотором ужасе тихо спросил Зорин.

Почти шарообразная голова с двумя остреньки- ми макушками вынырнула из-под навеса — лысая, с огромными карими глазами и черными-пречерными

бровями. Ах, как хороша собой была эта голова, и бесовестно торчащие, прозрачно-розовые ее уши вызвали у меня внезапно такое сердечное умиление, что я аж ногами в изнеможении затопал. Катерина спрыгнула на асфальт и провела по гладкой своей голове маленькой рукой, бритву сунула Зорину в руки и помахала у него перед носом зажатой в другом кулаке толстой, тугой, блестящей черной косою, прежде доходившей ей чуть ли не до зада, и все еще в эту косу была вплетена атласная алая лента.

— Хороша-а-а, — сказал Кузьма с удовольствием.

Зорин плюнул себе под ноги и полез прятать бритву в баул.

— И что, выкинете? — с сожалением поинтересовался Мозельский.

— А что, вам подарить? — всхотнула Катерина.

— Я не могу — у меня жена, — испуганно и глупо сказал Мозельский.

— Тогда не надо, — серьезно ответила Катерина.

— Хотите — похороним? — предложил Сашенька. — Очень символично, вам понравится.

— Нет, — Катерина помотала головой. — До Москвы доведу, там раковым детям отдам, есть там фонд такой. Парички из них сделают.

— Ради паричков, значит, побрилась, — сказал Зорин. — Ради детей раковых.

— А вам не насрать, да, что женщина со своей внешностью делает? — окрысилась Катерина. — Это ваше мужское собачье дело?

— Уж к тем женщинам, на которых мне не насрать, вы точно не относитесь, — сказал Зорин очень спокойно. — А не насрать мне на то, когда я наконец смогу помыться, и бритву свою продезинфицировать, и побриться, потому что мне выступать через час, блядь, десять минут.

Их было около пяти десятков, этих людей, ожидавших нас на холоде у шлагбаума гостиницы небольшой

толпой, и мать с коляской была среди них, и полная пожилая дама в пуховом платке поверх блестящего берета, державшая за руку насупленного мальчика с маленьким костыликом, и несколько сухих, похожих друг на друга, словно братья, стариков в тяжелых шапках, под которыми качались белые от холода обвисшие лица, и женщины — много-много женщин, почти всё одни женщины, разные, разные женщины, и все они будто бы знали, с какой стороны мы придем, потому что, едва завидев нас, бросились вперед, и Зорин тихо сказал: «Ну началось» — и полез за пазуху вытащить ручку, а Сашенька с Мозельским, дело свое, видимо, порядочно зная, быстро стали по бокам от него и раскинутыми руками образовали что-то вроде узкого коридора. Но только удивительная вещь произошла со всеми этими женщинами и стариками, детьми и младенцами: слева обходя Зорина, невежливо толкая в живот Сашеньку, совсем притиснув Кузьму спиной к подводе, двинулись они прямо на меня, и вот уже поспешно сдирались с ладоней перчатки, снимались и ронялись варежки, и холодные руки бесцеремонно гладили меня, и дама в пуховом платке, расталкивая прочих паломников и протискиваясь между детской коляской и стеганым задом молодой матери, силившейся постучать все время разворачивавшимся кулачком своего младенца по моему боку, толкала ко мне хроменького, в землю глядящего очкастого мальчика и командовала: «Так, целуй давай, целуй и повторяй „Отче наш“, целуй хорошенько!..» Я же, остолбенев и опешив, боясь шевельнуться, стоял, запрокинув голову, чтобы хоботом не задеть кого-нибудь, и чувствуя, как с порядком успевшей за время нашего путешествия попачкаться красно-синевой попоны моей с усилием рвут любовно нашитые на нее Толгатом в дни нашей невинности золотые кисти. Сам же Толгат, сидя у меня на шее, тоже, судя по всему, пребывал в полной растерянности — он

сжимал вершины моих ушей и ни вправо, ни влево не пытался меня развернуть; я слышал где-то справа голос Зорина, пытавшегося вежливо поднять на ноги старика, коленопреклоненно обнимавшего мою ногу, в то время как другой старик, отличавшийся от первого только оттенком серого пальто, силился запихнуть Зорину в карман бушлата свернутую папку с важнейшим докладом для Его Величества, без какого доклада Россия в два месяца погибнет; Сашенька с Мозельским, как могли, теснили женщин к гостинице, но тех было слишком много — они обегали наших охранников и возвращались, а дама, блистая беретом из-под платка, держалась мертвой хваткой за мой хвост, свободной рукой вцепившись в локоть хромого мальчика и командуя ему: «Так, теперь стучи! Хорошо стучи и загадывай, чтоб Арон Семенович тебя принял и лично оперировал! Вслух загадывай, чтобы я слышала!..» От боли в хвосте я не выдержал, вострубил и принялся, разворачиваясь, сдавать назад. Дама завопила и отскочила в сторону, волоча бедного мальчика за собой, и тот упал; в ужасе я неудачно затормозил и толкнул бедром несчастную нашу, уже сильно разболтанную подводку; та заскрипела и зашаталась, и тут Зорин огромным голосом, который мог бы вполне поднять батальон в атаку, если бы такому и впрямь случилось произойти, скомандовал:

— Всем отступить от слона!!!

Отступить они не отступили, но я почувствовал, что жадные руки по крайней мере перестали скользить и стучать по мне, и даже старик, прилипший к моей ноге, ослабил хватку, разжал объятия и тихо заплакал, понимая, что никогда больше не коснется рукой того, чего сам наш царь будет своей бесценной рукой касаться. Быстро-быстро подхватил его Мозельский под мышки и поднял на ноги, и толпа поглотила старика и вместе с ним тихо растаяла. Я увидел наконец Кузьму, все это время стоявшего, опершись на подводку,

и что-то писавшего в своей кожаной тетради как ни в чем не бывало; увидел я и Сашеньку в сбившемся наборе черном галстуке, и упаренного Мозельского, и потного Зорина, смотревшего на Кузьму с непонятным мне выражением.

— Хорошо работаешь, — сказал он Кузьме наконец, приглаживая волосы. — Реагирует народ.

— Стараюсь, спасибо, — сказал Кузьма, захлопывая тетрадь и бросая ее в подводу.

— Ты похуже не мог бы работать? — поинтересовался Зорин.

— Не для того мама растила свой цветочек, — обиженно сказал Кузьма. — А ты должен получше работать, тебя твой зал уж минут пятнадцать как ждет.

И пока мы с Толгатом питались, присоседившись на пустыре за гостиницей к нашей подводе (без особой, надо сказать, роскоши питались, но нас всех — и Катерину, с которой я, сердцем замирая, поделился, тоже, — после всего перенесенного более чем устраивала теплая и сладкая манная каша с хрустящими кислыми яблоками); пока Аслан, вернувшийся из музея, заполненного чучелами животного мира новой моей тревожной Родины, подробно и печально говорил о «великой славе русского троакара», явно теперь не дававшей ему покоя, — словом, пока мы кое-как отдыхали после этого дикого дня, видел я темные фигуры в освещенных окнах битком набитого гостиничного лобби: то слушали люди Зорина. Час прошел; они не расходились; ушел послушать и Аслан, хотя я сильно сомневался, что этого сушеного червяка хоть немного интересовала поэзия, — он шел погреться; верный Толгат мой остался со мною и, напаяв на тонкий палец болтающийся наперсток, купленный в городе Крымске и украшенный соответствующими эмальями, стал чинить мои чуни, потому что предназначенные мне сапоги, как выяснилось к абсолютной ярости Кузьмы, были хоть и стачаны и вообще готовы, но, по



словам ответственного за наш прием, «совсем не украшены» и потому отправили их перед самым нашим приходом аж в Тамбов — расшивать камнями и бисером «в лучшем виде», чтобы перед Его Величеством лицом в грязь не ударить. Бедные мои босые ноги тем временем мерзли невыносимо, и я наворачивал круги по пустырю на радость зевакам, на которых, однако, Сашенька, обнажив кобуру, строго поглядывал. Скучающий же Мозельский завел с Толгатом солидный разговор о женах и детишках — вернее, Мозельский рассказывал, а Толгат улыбался и кивал, сидя на краю подрагивающей подводы, в глубине которой невидимо копошилась Катерина, и я узнал из доносившихся до меня обрывков фраз, что у Мозельского близнецы, «мальчик и мальчик», и что оба те еще засранцы, а жена была огонь девка, а теперь — ну что, хорошая баба, и на том спасибо. Пробегая в очередной раз мимо ненавистных мне цистерн с проклятым формалином (которые уже почти придумал я, кстати, как ночью незаметно от подводы отцепить на радость Яблочку с Лаской, готовых пойти затем побыстрее, пока никто ничего не заметил), я вдруг почувствовал, что кто-то снизу дергает меня за ухо, и от неожиданности резко затормозил. Катерина стояла передо мной в длинном своем пуховичке, лысая голова ее была повязана платочком, волшебные глаза, от взгляда которых сердце мое превращалось в маленький, с кулачок бонобо, пульсирующий комочек, обращены были на Толгата.

— Толгат Батырович, а, Толгат Батырович, — попросила она, — а научите меня верхом ездить! Я ж с детства на лошадках, у нас лошади — как велосипеды, в каждом хозяйстве есть, хотите — распрягите любую, я покажу.

Ласка хмыкнула, а Яблочко сказал, кривя губу:

— Шас я ей так и покажу.

Толгат посмотрел на Мозельского, а Мозельский — на Сашеньку.

— Чё, порадуем публику? — спросил Мозельский весело, но неуверенно.

Сашенька осмотрел Катерину и сказал, покачив головой:

— Ох, Хоперская Катерина Ивановна две тысячи третьего года рождения, отец Хоперский Иван Данилович тысяча девятьсот восьмидесятого года рождения, мать Хоперская, в девичестве Кунцева, тысяча девятьсот восемьдесят второго года рождения... Не сидится вам спокойно?

— Хочется очень, — сказала Катерина жалобно. — Ну когда я еще на слоне покатаюсь? Никогда в жизни же! Ну пожалуйста! Один кружочек сделать!..

Того, что немедленно понял я, стоило ей сесть мне на загривок, не могли знать они: длинными-длинными были полы ее пуховика, и длинными-длинными были ее черные шерстяные чулки... Но я — я понял сразу, и от жара, накотившего на меня, и от оторопи, меня взявшей, я затряс ушами, как мальчишка, и закрыл глаза на секунду, всего на секунду, чтобы справиться со сбившимся дыханием, а когда открыл, она уже шептала, неожиданно теплыми пальцами одной руки держа меня за левое ухо, а другой глядя по шее, шептала быстро и горячо:

— Хоть ты и слон, а мужик, да? Муж-и-и-ик... Я ж вижу, мой хороший, как ты на меня смотришь... Ты мой хороший, ты мой послушный, ты сейчас очень быстро побежишь, да? Вот туда побежишь, к гостинице, и прямо в двери! Двери высокие-высокие, ну давай похулиганим с тобой, да? Ты ж мужик, а я баба, ну чего нам не похулиганить, да?

И я побежал. Я побежал так, как бежал бы в бой, я побежал так, как побежал бы к самке, — господи, поймите, я никогда не бежал в бой, и я никогда не бежал к самке, а было мне всего шестнадцать лет, шестнадцать лет. Я нес ее на себе, легкую, совсем голую под этим ее задраным до колен пуховиком, и я был объят

ужасом, и я знал, что всему конец, всему конец, — я царский слон, я нарушил дисциплину, и, когда все закончится, меня здесь, на этом самом пустыре за гостиницей, расстреляет Сашенька, и я даже знал как — одним выстрелом в глаз. Никогда не было у меня еще муста, но я знал в ту минуту, что это слаще, чем муст. Раздвижные двери гостиницы открылись перед нами; я вошел. Катерина начала дергать застрявшую молнию и рванула ее, и я понял, что молния раскрылась, потому что черный пуховик упал мне под правую ногу. Я не видел ее, но я увидел ее всю. Чего я не знал в этот миг — это что она украла у Толгата красную краску и вся ею перемазалась, кроме рук: одна рука была у нее желтая, а другая голубая, и в голубой руке держала она свою отрезанную косу.

Зал стоял к нам спиной, а сцена была прямо перед нами, и потому первым, кто увидел нас, был Зорин. Лицо его сделалось таким, словно его долго силком держали под водой и вот отпустили (а у султанят, резвившихся в саду кругом фонтана, была в ходу такая забава, и я знаю, что говорю). Рот его открывался все шире и шире, и тут Катерина двинула меня пятками за ушами, и я медленно-медленно, крошечными шажками пошел вперед, не смея послушаться ее и зная уже, что никогда и ни в чем не посмел бы я послушаться ее, пошел обреченно, как смертник идет на казнь, — господи, да я и был смертник, — а сидящая у меня на спине смерть моя, размахивая страшной своей косой, принялась выкрикивать срывающимся голоском:

— Женщины — не трофеи! Женщины — не трофеи!  
Женщины — не трофеи!..

Пять минут спустя раздвижная дверь была по приказу Кузьмы накрепко заперта, а Сашенька с Мозельским выпускали присутствующих по одному через служебный вход, конфискуя у каждого телефон и любые другие средства съемки. Я шатался, голова моя раскалывалась, и я ждал приговора с чувством, что все

это происходит не со мной, а с каким-то совершенно другим слоном. Я не понимал, как оказался здесь; не понимал, как может быть, что я смотрю на телевизор не через окно; не понимал, как может быть, что за окном, собственно, идет снег с дождем и стоит черная, холодная, чужая мне апрельская ночь. Я был одновременно жив и мертв, но это не волновало меня. Я боялся только за нее, за нее; только ее судьба волновала меня. А она стояла, прижав маленькие побелевшие руки к груди, в перекрученном и съехавшем чулке, в застегнутом наглухо пуховике, который, как я теперь заметил, был ей велик, и стучала зубами в тепле гостиничного лобби и пыталась дерзко смотреть на Кузьму, а Кузьма почему-то смотрел на Сашеньку.

— Интересный вы кадр, Хоперская Катерина Ивановна, выпускница средней школы номер два дробь двести восемнадцать, — сказал наконец задумчиво Сашенька, склонив голову и глядя на Катерину своими пушистыми глазами. — Очень интересный и даже в чем-то образцово-показательный. Думаю, нас с вами ждут долгие задушевные разговоры к большой обобщенной пользе.

## Глава 8. Новочеркасск

Я понял, что Кузьма пишет и пишет в своей кожаной тетради, пишет и пишет: это доклад. Он собирается все Ему рассказать; не может быть, чтобы Он знал и про замерзших детей, и про хрустящие кости, и про бог весть что еще, творящееся Его именем. Я понял, что все больше думаю о том, какими людьми он окружен. Я знаю нескольких из них, конечно, — я видел их по телевизору много-много раз, они всегда представлялись мне людьми преданными и честными и, конечно, верными Ему до последней капли крови, — но, господи помилуй, какой груз тревог и забот лежит на их плечах! Ремонтируя мои чунечки, Толгат что-то ужасное с ними сотворил, они словно меньше стали, а может, ноги у меня совсем распухли от бесконечной ходьбы, и я еле брел в этот утренний час, и каждый шаг мой отдавался в ступнях огнем и болью, и думы мои тоже словно бы вертелись в голове огненными, больными шарами, и я не слушал даже, как огрызается Катерина в ответ на ласковые Сашенькины вопросы, — вместо этого я, вопреки своей воле и своему сопротивлению, постоянно возвращался мыслями к старой зебре Гербере, к ее вечно слезящимся глазам, к вечно топчущимся на месте расщепленным копытам и к вечному, непрекращающемуся потоку сплетен, что изливался из ее пахнущего гнилой соломой рта со

стертыми коричневыми зубами. Герберину болтовню мог выносить только мой мудрый Мурат — и не просто выносить, но поддерживать: Гербера знала все обо всех в султанском дворце, знала так хорошо, словно была вхожа и в гарем, и в купальни, и в личную султана нашего столовую комнату, потому что вечно подслушивала, вынюхивала, заглядывала в окна и шлялась у фонтана, а Мурат, интересовавшийся политикой не меньше, чем физикой и анатомией, полагал, что политика начинается в спальнях и на кухнях. Я же при появлении Герберы в поле нашего с Муратом зрения малодушно бросал друга и ретировался в направлении жирафов, и мы с красавицей Козочкой принимались, признаюсь честно, перемывать полосатой старухе кости и посмеиваться над вечно свисающими у нее изпод хвоста застарелыми кусочками кала. Но Мурат был с полосатихой вежлив и даже галантен, всегда благодарил ее за сведения, которые называл «чрезвычайно интересными», и регулярно пытался рассуждать со мной о том, как наши министры и наложницы, подавальщицы и советники формируют, по его словам, «государственную повестку». Я старался слушать, я кивал и поддакивал, ужасался и заканчивал вместе с Муратом его возмущенные фразы, но, к стыду моему, через несколько минут даже на самом прохладном ветерке начинал страдать от духоты и уноситься фантазиями то к ужину, то к тому моменту, когда придет Толгат чистить мне уши от пыли травяными мешочками, то к завтрашнему полуденному часу, если было у меня условлено в районе полудня поплескаться в грязи с юным бегемотом Биньямином. Мурат замечал это и щадил меня, переводя разговор на простые предметы, вроде запутанной личной жизни красных панд, чьи семейные драмы были для всех нас источником большого удовольствия; но кое-что из его уроков я усвоил, и усвоил хорошо: признаюсь, когда стало мне известно, что новая Родина ожидает

меня, вместе со страхом и трепетом родилось во мне и сильнейшее облегчение — я жаждал служить государю, окруженному людьми преданными, честными и верными, я жаждал вырваться из этой самой духоты... Однако сейчас, бредя холодной зарею по какой-то узкой, слишком узкой для меня тропе вслед за едва протискивающейся между деревьев подводой и стараясь ставить ноги как можно шире, чтобы внутренние швы чуней не так давили на мозоли, кое-как заклеенные огромными кусками пластыря, я со страшною тоской думал, что лишь одно объяснение есть происходящему вокруг меня: Он не знает, Ему не докладывают всего, сам же Он, обремененный делами государственной важности, знать всего, разумеется, не может. Значило это, что только на нас с Кузьмой и остается у него надежда: на Кузьму с докладом в кожаной тетради да на меня, который жизнь положит на охрану Его от негодьяев, Его именем творящих преступления. Мать мою однажды чуть не казнили ее же солдаты за то, что она встала ногой на голову спящего человека из их числа и убила его; непонятно было, что с ней произошло, пока на теле этого человека не обнаружили донесение от врага: то был тайный предатель. А ведь мать тогда была совсем юна, юнее меня, и, как я сам, первый год служила и еще плакала о своем стаде по ночам.

Город был пуст. Слава богу, слава богу, город был пуст, горожане не ждали нас на шоссе, толпа не вышла навстречу нам — а ведь после творившегося в Большом Логе я ждал уже чего угодно (и в том, что отвратительный спор Кузьмы с Зориным про автомобиль тоже надолго мне запомнится, я не сомневался ни секунды; с тех пор они не разговаривали между собою: Зорин, утверждая, что у него всерьез разболелось пострадавшее в Чечне колено, вопреки своей обычной манере ехал теперь, подремывая, на подводе, а Кузьма, напротив, упорно шел пешком, словно бы доказывая, что и без автомобиля он прекрасно обходится,

хотя все мы понимали лучше некуда, что вовсе не об удобстве нашего передвижения был этот спор, ах, не об удобстве). Но нет, дорога была пуста, тихо спал у меня на спине Толгат, спали на козлах, привалившись друг к другу, закутанные кто во что Сашенька с Катериной, клевали мордами лошадки, и все было спокойно. Непокойно было только Кузьме: он взялся за выпавшие у Катерины из рук поводья, лошадок остановил, посмотрел на часы и огляделся в поисках ответственных за нашу встречу лиц. Но нет, никого не было, хотя и пришли мы, судя по удивленно приподнятым светлым бровям Кузьмы, безо всякого опоздания, и не слышно было ни шагов, ни звуков подъезжающей машины, только плескалось невдалеке море да кричали чайки. Я вдруг растерялся: мне казалось, что море осталось далеко позади у нас вместе со своими чайками, да и Кузьму, кажется, звуки эти очень удивили. Он сунул руки в карманы, походил с полминуты большими шагами туда-сюда, а потом направился к подводе и хорошенько толкнул Зорина в плечо. Зорин встрепенулся и принялся дико озираться.

— Приехали? — спросил он.

— Кто приехал, а кто и пришел, — сказал Кузьма. — Ты это слышишь?

— Да иди ты на хуй, — сказал Зорин злобно. — Ты меня за этим разбудил?

— Да не меня, блядь, — сказал Кузьма. — Ты звуки эти слышишь?

Зорин прислушался, тоже, видимо, уловил шум прибоа и крики чаек и насупился.

— А ну поехали-поехали, — сказал он, соскочил с подводы, забыв про больное колено, и растолкал Сашеньку (Катерина, едва разомкнув веки, тут же от Сашеньки отпрянула в ужасе, и сердце мое потеплело).

Лошадкам было сказано: «Давай-давай-давай», — и они, что-то почуяв, взяли резво. Мы хорошо двинулись переулками, и вот уже люди бежали мимо нас,



постоянно на меня оборачиваясь, так что Зорину с Сашенькой и Мозельским пришлось немало потрудиться, и скоро подвода наша стала застревать в толпе. Тогда Кузьма, сбросив в плеч рюкзак и едва удерживаясь на ногах от постоянных толчков, осторожно вытащил на свет тонкую черную папку, распахнул ее и, крепко держа двумя руками, поднял над головой.

— Зорин! — закричал он. — Зорин! Зорин!

Бумага, закрепленная в папке, сияла золотыми узорами и горела алой печатью; Зорин понял все и пробрался мимо подводы вперед, а потом крикнул Толгату:

— Кузьму подсадите! Сажайте Кузьму наверх!

Мы перегруппировались: Кузьма, высоко подняв папку, сидел теперь на мне верхом, Толгат хорошенько держал его за бока, я шел осторожно, стараясь находить у себя под ногами свободное место, а впереди расчищала нам дорогу охрана, и Зорин кричал зычно:

— Царское дело! Царское дело!..

И расступались люди, и поворачивались к нам, и гул катился по толпе, и, когда мы, оставив подводу позади и спрятав в ней Аслана с Катериной под охраной Мозельского, пошли по аллее, по узкому полицейскому коридору, к невысокому широкому зданию с длинными балконами и маленьким фонтаном у входа, понял я, что все пространство перед зданием запружено людьми старыми и молодыми, с транспарантами и без, и что все они ждут нас.

И всюду наши флаги.

И Его портреты тоже были всюду, всюду — малые и большие, улыбающиеся и серьезные, цветные и серые; я увидел юную, не старше Катерины, женщину, в руках которой был Его портрет, вырезанный из газеты, наклеенный на картон и украшенный бумажными цветами, и двоих немолодых мужчин, с трудом удерживающих перед собою огромное, масляное, явно снятое с какой-то стены полотно; увидел худую

бабушку в худом пальто, у которой портрет Его был на манер ладанки приколот к груди; увидел... Но больше не было у меня досуга вертеть головой по сторонам: страх наваливался на меня. О, видал я толпы, по сравнению с которыми эта толпа показалась бы маленьким сборищем фланеров у фонтана: когда султан выезжал на мне двадцать третьего апреля или, скажем, в день рождения своего, весь Стамбул выходил навстречу нам, и что Новочеркасск против Стамбула!.. И флаги, флаги, флаги были всюду — красный, белый; красный, белый; красный, белый; и несли портреты султана в руках, и несли цветы, и бросали цветы и сласти под ноги мне, и считали за лучшую из примет, если съем я те сласти, и сердце мое наливалось пустой, детской еще гордостью, потому что казалось мне, что это меня приветствуют и мне — напыщенному, глупому, расписному — воздают почести... И вот я стою в толпе, и от усталости и голода с дороги кажется мне, что голова моя наполнена серым вязким дымом, и флаги, флаги, флаги — красный, синий, белый; красный, синий; белый; и на меня наваливается страх.

Я тороплюсь от страха; мы с Кузьмой быстроходим фонтан и оказываемся под длинными балконами этого длинного здания. На одном из балконов, прямо у нас над головой, мелькает тень и тут же исчезает; толпа взрывает; спешиваются Кузьма и Толгат. Полицейские становятся между нами и толпою цепочкой, приоткрывается на миг парадная дверь, и выскальзывает к нам узкий молодой человек с блестящей, гладко расчесанной головой, в черном костюме и при огромных, ежесекундно вибрирующих черных часах; очки его, спущенные на кончик носа, ничем не отличаются от очков Кузьмы, и вообще, одень мы сейчас Кузьму в черный костюм да расчеши ему голову, сходство их было бы поразительным. Узкий молодой человек ни разу не взглядывает на толпу; пахнет от него сквозь что-то искусственное

так, как пахнет от жирафы Козочки, когда приходит к ней ветеринар мерить температуру, и я понимаю, что страшно ему невыносимо, и, когда при его появлении толпа снова взревела, запах этот усилился многократно.

— Прокопьев, — сказал молодой человек, быстро пожимая Кузьме руку и поворачиваясь к Зорину. — А вы Зорин, я знаю, я ваш фанат, спасибо вам за все, что вы делаете и говорите, и вообще. Я Прокопьев, Григорий Николаевич, можно просто Григорий, давайте просто по именам, хорошо, можно? Обстоятельства такие, куда уж тут. Я шеф-секретарь мэрии, Павел Иванович вас ждет...

— Слона не оставлю, — коротко сказал Кузьма. — Пусть выходит сюда.

Прокопьев на секунду замешкался, но тут же закивал.

— Понимаю, понимаю, — сказал он, склоняя голову набок. — Царская служба, великие обязанности. Ну, он по моему совету пока не показывается, мы готовим коммюнике. И, разумеется, — тут он повернулся к Кузьме и слегка нагнулся, — ваша помощь будет бесценной; очень вас ждали, очень, без вас никак. Я набросал немножко, разумеется...

Зорин, пожимая руку Прокопьеву, кивнул и сказал:

— Я начальник охраны экспедиции. Доложите обстановку.

— Сразу гарантирую, — зачастил Прокопьев, подняв руки, будто шел сдаваться, — ничего не бойтесь; контроль полный, абсолютно полный: у нас тридцать снайперов лежат по крышам, среди прочего.

Долгий взгляд Кузьмы был непонятен мне, Прокопьев же, прочитав в нем, видимо, сомнение, повторил:

— Абсолютно полный контроль, полный; ничего не бойтесь.

— А что, собственно, происходит? — очень спокойно спросил Кузьма.

— Вы, дорогой Кузьма Владимирович, отлично поработали, — сказал Прокопьев, сбиваясь-таки на имя-отчество, — очень хорошо все знали о вашем приезде, очень хорошо; предрассудков, конечно, много, суеверий, ну мы боролись, как могли, — пиар, соцсети, выпуски на местных каналах, работа с блогерами; ю-джи-си не упустили, энгейджмент очень впечатляющий, я, если вам будет интересно как коллеге, покажу цифры потом, там есть интересное... Однако случилась накладка, никак, понимаете, от нас не зависящая: не буду погружать вас в нашу местную экономику, но сильный рост цен на продукты... Просто так совпало... И параллельно, вы, наверно, знаете, чертовы санкции; машиностроительный завод уволил восемьсот человек одним днем, остальным зарплаты урезал немножко... А тут царские люди идут в город... Мы сразу же начали проводить работу, конечно, — пиар, соцсети, местные каналы, блогеры в первую очередь...

— Ю-джи-си не забыли? — с великой озабоченностью поинтересовался Кузьма. — Выходы на местных каналах? Энгейджмент-то, энгейджмент растет?

Прокопьев посмотрел на Кузьму влюбленными глазами:

— Ю-джи-си на завтра ставили, теперь уж не знаю, может, перекроим медиаплан немножко... Выходы сегодня не отменяли, наоборот; энгейджмент, — тут он двинул подбородком в сторону толпы, — сами видите, как считать...

— Ага, ага, — очень серьезно сказал Кузьма.

— «Честных цен, работы, повышения зарплаты!», значит, — сказал Зорин задумчиво, читая транспаранты.

— Как будто Павел Иванович маг какой-то, — обижено сказал Прокопьев.

Вдруг в толпе раздался звонкий женский голос:

— Чест-ных цен! Чест-ных цен! Чест-ных цен!..

В ту же секунду его подхватили другие голоса, и толпа уже скандировала, и скандировала так, что у меня сжался желудок:

— Чест-ных цен! Чест-ных цен! Чест-ных цен! Чест-ных цен!..

— Зарплаты нормальные дайте! Работу дайте! Честных цен и работы! — закричал кто-то, забравшись на фонтан. — Свиньи зажавшиеся! И ра-бо-ты! И ра-бо-ты!..

— И ра-бо-ты! И ра-бо-ты!.. — эхом покатилося по толпе.

— Доложите царю, что тут у нас творится! Мы мейлы пишем, так, небось, эти суки их в спам кидают! До-ло-жи-те ца-рю! До-ло-жи-те ца-рю! — заорал залезший на фонтан человек с тяжелым лицом, глядя прямо на Зорина и, видимо, по росту и выправке принимая его за главного.

— До-ло-жи-те ца-рю! До-ло-жи-те ца-рю! — покатилося по площади.

— Немедленно говорите с ними! Немедленно, а то хуже будет! — заорал Кузьма прямо в ухо побелевшему Прокопьеву. — Павла вашего сраного тащите на балкон и немедленно говорите с ними!

— Но коммюнике... — залепетал Прокопьев и вдруг, окрысившись, выпалил: — Они к вам пришли, вы и говорите!

— Рупор мне дайте, уебище, и ведите на балкон! — рывкнул Кузьма, схватил Прокопьева за узенький рукавчик и потащил к двери в особняк. Зорин, прикрывая их и расставив руки, попятился следом.

— Они уйдут сейчас! — закричали из толпы. — Спрячутся в мэрии, и хуй мы их достанем! Держи их! Держи царских!!!

В следующую секунду камень вылетел из толпы, зазвенело стекло первого этажа, и я почувствовал, что у меня трясутся ноги. Толпа ахнула и сдала назад.

Побелев, Кузьма развернулся к толпе и закричал, сложив руки рупором:

— Дорогие новочеркасцы! Дайте мне подняться на балкон, хорошо? Я очень хочу с вами поговорить!

— Что он сказал? — закричали и забормотали в толпе. — Не слышно ни хера!

Тогда Кузьма заорал в самое ухо Прокопьеву:

— Матюгальник дайте!!!

— Нету! — пробормотал совершенно белый Прокопьев. — Я попрошу Павла Ивановича немедленно распорядиться... — И тут же юркнул в приоткрывшуюся дверь мэрии.

— Ах с-с-сука, — прошипел Кузьма и снова, поднеся руки ко рту, закричал, отступая к двери: — Я сейчас выйду на балкон! Я выйду на балкон, и мы поговорим!.. — а затем стал яростно тыкать пальцем в направлении меня, пытаюсь перехватить взгляд Зорина.

Зорин понял, понял и Толгат — и яростно потянул меня за левое ухо; сердце мое колотилось, я стал медленно, едва переступая, разворачиваться налево: они хотели, я знал, завести меня за здание, убрать подалее от этой странной, страшной, непонятной для меня толпы с флагами, и надо было двигаться быстро и в то же время незаметно, и я попытался, — господи помилуй, я попытался, никто, никто в этот момент не смотрел на меня, но колокольчики, ах, чертовы колокольчики, так добротнo пришитые Толгатом к моей попоне, что не лишили меня их ни сумасшедшие женщины в городе, где замерзали дети, ни груды валежника на пути из Большого Лога в Александровку, — ах, чертовы колокольчики! — они зазвенели, и покачивавшийся рядом со мной на ограждении пустой цветочной клумбы низенький плотненький мужчина с темным лицом, полускрытым широченной фуражкой, завопил не хуже Кузьмы:

— Слона уведят! Они слона уведят! Не пускай слона, держи, они без него никуда не денутся!..

— Впере-о-о-о-о-од! — зычно закричал Зорин и выбросил перед собой правую руку, вперившись в Толгата

яростным взглядом. Толгат, припав к моему затылку всем телом, с силой пришпорил меня пятками за ушами; завизжали те, кто стоял передо мной, и я увидел, как, разбегаясь, налетая друг на друга, толкая впередистоящих в спину, падают люди, оскальзываясь на мартовском льду. Ярость начала подниматься во мне: да за кого принимали меня эти люди — и Зорин, Зорин за кого принимал меня? Неужели он представлял себе, что я пойду сейчас по рукам и ногам соотечественников моих, лишь бы толпа их не показала мне, что она сильнее меня — меня, и Кузьмы, и Зорина, и Сашеньки, пытавшегося в этот миг поднять девушку лет шестнадцати, которая грохнулась на одно колено чуть правой меня и теперь пыталась встать среди сбивающих ее с ног чужих сапог и ботинок, — и всех нас вместе взятых? Злость и обида душили меня; я затрубил; и тут же плотный мужчина в фуражке, не удержавшись на ограждении, свалился мне под неподвижные передние ноги, в ужасе вскочил, выставил руки перед собой и закричал тонко:

— Взбесился! Слон взбесился! Слоном людей давят!..

Краем глаза я увидел на балконе Кузьму, яростно дувшего в не желавший включаться громкоговоритель; ни Прокопьева, ни хоть кого-нибудь не было рядом с ним, и Кузьма, швырнув громкоговоритель вниз, что-то кричал и махал руками, но было поздно: в него полетели камни, и он, держась за разбитую щеку, заскочил за балконную дверь, тут же разлетевшись вдребезги.

— Чест-ных цен и ра-бо-ты! Чест-ных цен и ра-бо-ты! До-ло-жи-те ца-рю! До-ло-жи-те ца-рю!.. — скандировал кто-то в задних рядах, но все уже неслось, неслось вперед, от милицейских цепочек не осталось и следа, в широкоую дверь мэрии колотили десятки кулаков, и откуда-то появился Кузьма, весь грязный, словно вылез из подвала, в заляпанном кровью капюшоне; бешеными глазами он посмотрел на меня и крикнул Толгату:

— Он цел? Вы целы?! — а потом повернулся к Зорину и проорал: — Сейчас надо идти! Сейчас! — но Зорин даже не повернул к нему головы.

Зорин стоял не шевелясь, так, словно ничего не происходило, — стоял спиной ко мне и к Кузьме, стоял и смотрел на свой пейджер, и Кузьма, взглянув на пейджер Зорина, тоже вдруг замер, как будто вокруг была абсолютная тишина. Так они и стояли плечом к плечу, а потом Кузьма тихо-тихо, так, что я расслышал его с большим трудом, сказал:

— Нет.

— Я обязан, — сказал Зорин.

— Ты можешь выкинуть его в кусты, — сказал Кузьма жалобно, как маленький ребенок.

— Я не могу, — сказал Зорин очень сухо.

— Ты мог его потерять. Прямо тут, в толпе, — сказал Кузьма, но на этот раз так, будто ему вдруг сделалось скучно, совсем скучно и слова его ничего на самом деле не значат.

Зорин все стоял и стоял, стоял молча, а потом, не глядя ни на кого, не глядя на Кузьму, спросил его:

— Где вход туда? Я должен передать приказ, — и собрался идти, и я увидел, что написано на пейджере, и понял все, и вдруг мне стало тоже скучно, очень скучно, так скучно, словно я умер.

От первых же выстрелов толпа побежала, и скоро на площади не было никого. Остались только мы и те, кто лежал, человек пять или шесть, а тех, кто мог идти, толпа увела с собой. Было очень тихо, и я пошел вперед и увидел лежащую Катерину; живот у нее был мокрый, и в пуховике была дырка, из которой чуть-чуть высовывалась красная вата. Над ней стоял Мозельский с красными руками и растерянно повторял, обращаясь почему-то лично ко мне:

— Я ей оружием грозил! Прямо оружием грозил, не пускал! Но упрямая же девка, как пиздец! Надо же было ей! Кричала тут лозунги... А я ей оружием грозил



и с ней пошел, дай, думаю, хоть в толпе присмотрю... Вот этим оружием грозил! — И Мозельский вынул из кобуры пистолет и зачем-то положил его перед собой на серую плитку.

Я пошел куда-то. Мне было совсем голодно и устало. Я не понимал, где мой обед. Скучно, скучно; Ему виднее, конечно, но когда теперь я получу свой обед? За мной плелся Зорин. Зорин плакал. Он говорил Сашеньке:

— Из-за ебанных провокаторов в русских людей стрелять пришлось, суки, суки, мы их найдем, мы их перевешаем на хуй, я одного жида в лицо видел.

Сашенька сказал:

— Зорин, заткнитесь.

Зорин продолжал плакать, и Сашенька пошел впереди меня. Нас догнал Прокопьев. У него тряслись руки. Он сказал, что Кузьма Владимирович задержится насчет коммуникаций. Судя по запаху, Прокопьева вырвало. Почему-то от этого мне даже сильнее захотелось есть. И еще одна мысль очень волновала меня: где мой тренер по боевым искусствам? Когда меня наконец начнут учить боевым искусствам? Я совершенно не подготовлен к работе, ей-богу.

— Если что, я сам из него чучелу сделаю и раком поставлю, — злобно сказал Яблочко в спину Аслану, пока тот ощупывал больной живот Яблочковой жены, которая лежала, закатив глаза, на мятом и уже не слишком хорошо пахнущем сене посреди стойл. Бедная Ласка слабо ржала от каждого Асланова прикосновения; из разговора Аслана с Кузьмою я понял, что речь, скорее всего, идет об аппендиците. Об аппендиците! Плохое дело — аппендицит, когда речь идет о нас, четвероногих: ежели ты камерунская козочка, которая за султаншей всегда следом бегаёт, то тебе и Аслан, и капельницы, и перевязки, и сиропы сладкие с антибиотиками, а ежели ты дойная коза с кухни... Слышал я, что было с той козой, хорошая была коза, умная, — Мурат мой не брезговал кухонными животными никогда, ни индюшками, ни козами, и часто приходил на скотный двор поздороваться, говоря, что кухня — это желудок дворца, а по состоянию желудка можно очень даже многое понять о состоянии пациента. Звали ту козу, помню, Айла, и была она большая монархистка, в отличие от Мурата; спорили они, я думаю, с наслаждением, и вечно она твердила, что ее молоком поят лично наследника престола, хотя знать этого, конечно, никакой возможности не имела, да только не слишком-то ей это помогло, когда случился у нее аппендицит, и ей — р-р-р-раз! — и перерезали горло...

Ах, ни малейшего представления не было у меня, какая судьба ждет теперь Ласку, но одно я знал (а Яблочко, видимо, не понимал совершенно): не станет, да и не может Кузьма ни в каком варианте из-за Ласкиной болезни задерживаться в Россоши; здесь же, в клубе, среди напуганных моим присутствием лошадок, подыщут ей замену ради царского дела, и двинемся мы вперед, как только окончатся тут наши дела.

Вернулся с какими-то Ласкиными бумажками очень лебезивший перед Асланом здешний ветеринар, и подтвердился аппендицит. Они принялись совещаться; я почти их не слышал из-за громкого телевизора, висящего под потолком стойл, — смотрел его, кажется, один Зорин, зато смотрел не отрываясь. Я тоже был бы не прочь посмотреть — давно, давно не видел я телевизора, — но Яблочко не давал мне покоя: он все говорил и говорил про то, что сделает с Асланом, если Ласке будет худо, а я, стараясь не слушать его, все думал и думал, что же мне делать — объяснить ли ему, что жена его, скорее всего, не пойдет дальше с нами, и как объяснить, и что сказать, и что скажет он мне, и успею ли я отбежать (и, главное, куда?), когда он с копытами на меня полезет (а он полезет)... Спас меня от этих мучительных раздумий, слава богу, Кузьма: вошел и стал расспрашивать ветеринара, всячески выражая ему уважение, о том, что надобно дальше делать и чем он может помочь. По всему выходило, что нужна сумма в деньгах, и немаленькая, на лечение и на постой Ласки. С этим, по словам Кузьмы, проблем не предвиделось; я заволновался, что Яблочко наконец смекнет, что о его постое вовсе не идет речь, но от тревоги он на такие мелочи внимания не обращал, и я с тоской понял, что худшее еще впереди; пока же Кузьма подошел к Зорину, едва взглянул на экран телевизора и сказал:

— Пора-пора. Детонек нельзя заставлять ждать, нехорошо. Ты ж у нас отец, ты ж понимаешь.

— Что? — сказал Зорин, не отрываясь от экрана, но Кузьма уже двинулся к выходу, и Зорину пришлось поспешить за ним — в отвратительном, как мне показалось, настроении.

Я подождал Толгата, но тот не шел, и я, пригнув голову, выбрался из стойл и вышел его искать; он обнаружился в здании клуба — сквозь окно кухни я увидел, как он, склонившись над столом, под руководством Сашеньки плетет мне лапоть из лыка, закупленного в больших количествах специально для этого дела на строительном рынке в Россоши. Я встал так, чтобы заслонить им свет; тут они заметили и меня, и вставшего незаметно рядом со мной Кузьму; наконец все собрались.

— Как добираться будем? — спросил Кузьма. — Тут километра три, конь один подводу не потянет, я бы и коня, и подводу оставил здесь и сюда потом вернулся.

— Зачем? Я могу на коня сесть, — сказал Зорин мрачно.

— И чистый красавец будешь, — сказала Кузьма, хлопая его по плечу. — Боец лирического фронта.

— Иди в жопу, — сказал Зорин.

— Я тоже езжу хорошо, между прочим, — сказал Мозельский обиженно. — Могу вперед галопом, предупредить, что мы опаздываем, чтобы не было, как...

— Оставим коня в покое, — перебил Кузьма. — А с другой стороны...

И вот мы добрались, и добрались вовремя: ехали по парковой аллее под маленьким снежком, один за другим, Зорин и Мозельский на Яблочке, которому пришлось дать три морковки, чтобы он согласился вообще сдвинуться с места; а я привез Толгата с Сашенькой и Кузьмой, который, кажется, получал от поездки немалое удовольствие. Аллея была хороша: длинная, обсаженная елками, а вдоль елок стояли в больших рамках увеличенные до весьма порядочных

размеров детские рисунки, и на многих из тех рисунков был я, и часто на боках моих были наши флаги и боевые звезды, и очень мне это нравилось. Впереди у нас была небольшая площадь, и, когда мы выехали на нее, я приготовился уже к постукиваниям и поглаживаниям и решил, что все снесу чинно, но нет — полный порядок был на площади, стоял большой прозрачный тент, окрашенный огромной лентой с надписью «За российскую семью!», расставлены были рядами стулья, ждали камеры, а у тента топтались человек от силы двадцать — двадцать пять женщин с детьми и несколько тихих мужчин, да еще присутствовала большая группа людей в стороне, по всему видно — официальных. Эти-то официальные люди и пошли торопливо нам навстречу, и один человек в высокой меховой шапке и сером твердом, как футляр, пальто, приняв спрыгнувшего с Яблочка Зорина за Кузьму, поднес ему букет цветов и принялся его приветствовать.

— Ну что вы, Матвей Юрьевич! — вспыхнула официальная дама в белой вспененной прическе с заколкой-стрекозой. — Это же Виктор Зорин, гениальный наш современник! Виктор Аркадьевич, мы тут великие ваши поклонники, у нас и стенд в городской библиотеке, и... И... Ой, да всего не скажу! Вы уж простите, ради бога, и цветы, цветы себе оставляйте!

Зорин мялся и пытался передать цветы спешившемуся Кузьме, Кузьма же, явно наслаждаясь моментом, цветы эти старательно вручал Зорину обратно.

— Нет-нет, — говорил он, — это вам, Зорин, гениальному нашему современнику... Я и сам великий поклонник... Вы уж примите...

Зорин посмотрел на Кузьму ненавидящим взглядом и положил цветы на сгиб правой руки, как кладут маленького ребенка. Все начали жать друг другу руки, и я почувствовал, что кто-то украдкой все-таки постучал по мне сзади под общую суматоху.

— Ну, рассказываемся, товарищи, рассказываемся, — громко сказала пенная дама, оборачиваясь вокруг своей оси и обращаясь ко всем присутствующим сразу. — Будем начинать.

И они начали — вышел к микрофону Матвей Юрьевич и заговорил, обращаясь исключительно к сидящему в первом ряду и ежащемуся от мороза Кузьме. Честно говоря, слушал я его не очень внимательно: я смотрел на сидящего рядом с Кузьмой Зорина и понимал, что Зорину нехорошо; я уж пожалел даже в кои-то веки, что нет рядом с нами этого беса Аслана, — вдруг бы оказалось, что и у Зорина начинается аппендицит; Зорин кривил лицо, сжимал бушлат на животе и поглядывал жадно в сторону кафе «Ивушка» через дорогу, словно очень ему нужно было сходить по делам своим. Впрочем, аппендицит, насколько я мог судить, не был заразен, а то, пожалуй, и мне стоило бы встревожиться; я и встревожился на всякий случай, но нет, вроде бы никакая боль в животе меня не беспокоила, испытывал я только некоторый голод, потому что в клубе лошадином меня покормили завтраком из рук вон плохо, и только Толгатовым обещанием достойного обеда я сейчас держался на ногах и усмирал обиду — им да чувством долга, а скорее (вдруг сообразил я) нежеланием подводить Кузьму. Успокоившись насчет состояния собственного здоровья и, главное, насчет того, что не придется Аслану меня осматривать, а мне — терпеть прикосновения мерзких его пальцев, я заметил вдруг, что в речи Матвея Юрьевича проскочило мое имя.

— Вот и Бобо, я говорю, простое животное, вроде ребенка, — сказал Матвей Юрьевич, — ну так и с Бобо можно за Родину не бояться. Дети, дорогие богучарцы и замечательные царские гости, — это, я говорю, не наше будущее, а в нынешних сложных для Родины обстоятельствах наше самое что ни на есть настоящее. Потому что, я говорю, в детях вера жива, — тут

Матвей Юрьевич развернулся всем пальтом вправо и перекрестился на маковку храма, виднеющуюся из-за крыши кафе «Ивушка». — Они всему верят. Со взрослыми, дорогие богучарцы и, конечно, замечательные царские гости, — ну, это уже очень сложный для работы материал. У них там, если что-то скажешь — вопросы задают, сомнения там у них какие-то, еще и вслух, если дурак совсем или того хуже. А дети — они вот как слон: что сказал, то и есть. А это в нынешних сложных для Родины обстоятельствах самое важное. Русь — она всегда на вере держалась, еще Христос говорил: «Приводите детей ко мне», — так вот это он про наших, русских детей говорил. — Тут Матвей Юрьевич перекрестился еще раз. — У меня самого двое, так у меня все просто: что папка сказал — то и правда, есть вопросы? Нет вопросов. На вере и стоим, стояли и стоять будем и веру воспитывать будем. Вот такой у меня к вам был разговор, дорогие богучарцы и почетные царские гости.

С этими словами Матвей Юрьевич приподнял свою высокую шапку, под которой вместо волос оказалось целое поле кучерявых складочек розовой плоти, вытер пот ладонью, отряхнул ее и стал жадно переводить взгляд с Кузьмы на Зорина. Кузьма, присоединившись ко всеобщим аплодисментам с видимым удовольствием, ткнул Зорина локтем в бок, но тот прошипел:

— Первый иди! — и Кузьма, легко подскочив к микрофону, сказал, взмахнув рукой:

— Ну, раз уж я влез между двумя поэтами (тут Матвей Юрьевич побагровел), буду краток: спасибо всем, кто не испугался холодов и пришел поучаствовать в нашем замечательном конкурсе рисунка. Я страшно польщен тем, что оказался почетным председателем жюри, и скажу сразу, что искусствовед из меня никакой, я и притворяться не буду. Искусствоведы у нас в жюри есть, слава богу, они оценят и качество изображения, и экспрессию, и технику — да, Наталья

Зайдовна? Вот у нас тут сидит Наталья Зайдовна Эмме, член жюри, глава Богучарской галереи искусств, мы очень полагаемся на ее профессиональный взгляд; я же буду просто смотреть как зритель и думать об одном: семья, семья, семья. Что дает мне сильное чувство любви, семьи и верности, то и оно, то и наше. Вот так мы, жюри, будем работать. И еще раз: огромное спасибо, что позвали, это большая, большая радость!

Произнеся это, Кузьма мой как-то разогнулся, развернулся и сообщил, что приглашает на сцену Виктора Зорина, выдающегося нашего соотечественника, замечательного поэта, и Зорин сделал в ответ что-то такое с лицом, от чего на него снова можно стало смотреть, и вышел вперед и сообщил, что впервые в жизни к этому дню написал вчера ночью детские стихи. Загудели зрители и захлопали, и я вдруг подумал: «Ай да Зорин!» — и услышал, как Кузьма тихо говорит одной из камер: «Детей снимаем больше, чем Зорина, от Зорина только голос даем, понятно?» Зорин сказал, что он и сам отец, детей у него трое — шесть, семь и девять, — и даже они, понятное дело, этих стихов пока не слышали, так что ему в конце очень важно будет знать, понравились стихи или нет. Тут Кузьма куда-то исчез, а Зорин начал читать:

У папы огромное множество дел,  
и, если я с ним поиграть захотел,  
я жду не дождусь, когда папа дела  
закончит — и в прятки, была не была!

Вот папа с утра убежит по делам,  
а к ночи, устав, возвращается к нам,  
и мама с улыбкой накроет на стол,  
и счастье в квартире — наш папа пришел!

Но что, если где-то в далеком краю  
враги ненавидят Отчизну мою?



Но что, если, чтобы Отчизну спасти,  
надолго придется из дому уйти?..

Темнеет за окнами, лампа горит,  
но мне не заснуть, да и мама не спит...  
Наш папа — герой, но и нам тяжело,  
и даже от лампы не слишком светло...

Но дверь распахнется — и папа войдет,  
и луч на медали его упадет,  
и я закричу ему: «Папа дела  
закончил — и в прятки! Была не была!..»

Много хлопали. У пенной дамы, искрясь, дрожала в волосах стрекоза, пока наконец не взлетела и не приземлилась Зорину под ноги, чего дама, надо сказать, не заметила. Зорин смутился и сказал, что, видимо, будет писать детскую книгу «Папины дела» и, в общем, читать больше не станет, пора переходить к конкурсу, он только хочет сказать, что совершенно согласен с Матвеем Юрьевичем в том, что вера совершенно необходима сейчас при воспитании младшего поколения. Опять хлопали, пожиже, и Зорин уже собрался было уходить, тем более что тянулась к сцене очередь людей с его книжками за автографом, но вдруг вспомнил что-то и громко, бодро спросил в микрофон:

— Ну как, дети, я волнуюсь: понравился вам мой стих?

Раздались неуверенные детские голоса, и, насколько я мог судить, все они отвечали на этот вопрос вполне утвердительно.

— Не слышу! — лукаво заявил Зорин. — Понравились вам мои стихи? — И приставил согнутую ладонь к уху.

— Да-а-а-а! — уже гораздо стройнее отозвались детские голоса и какой-то мужской бас.

— Не-е-е-ет! — изо всех сил завопил, к явному ужасу матери своей, очкастый худенький мальчик в шапке-буратинке, сидевший с краю последнего ряда.

Неуклюже повернулись к нему все — закутаннные, замотанные; мальчик улыбался, Кузьма держал руку у него на плече и сиял.

— Это почему же они тебе не понравились? — мрачно спросил Зорин, глядя на Кузьму.

— Короткие слишком! — крикнул мальчик и захохотал.

Кузьма показал большой палец; восторженные зрители зааплодировали; Зорин поаплодировал тоже и вновь сгреб ладонью свой бушлат; действие закончилось. Объявлено было, что особый приз предстояло выбрать мне; этого я не знал и оценил ход по заслугам, решив, что приз дам самому тихому из детей, чтобы он или она ни изобразили. Толпа поспешно втягивалась в прозрачный тент, где на столах стояли карандаши и лежали цветные листы бумаги; рисование началось.

— А что, — спросил Кузьма Зорина, поглядывающего то на «Ивушку», то на часы (сказано было нам, что у детей есть минут около тридцати на все про все), — твои-то деточки, небось, в приходской школе учатся, облатками питаются, чуть что на горохе стоят?

— Мои дети — на домашнем обучении, — буркнул Зорин.

— М-м-м-м, — с пониманием протянул Кузьма. — И в каком нынче городе Англии дают достойное домашнее обучение?

— Кулинин, — вдруг с чувством сказал Зорин, — ну что ты меня мучаешь все время? Что тебе дался я? Ты же наш человек до мозга костей, почему ты меня подъебываешь, как чужой? Ты хоть сегодня, бога ради, дай мне один день, день один покоя. Завтра делай, что хочешь, если тебе это так уж зачем-то надо, а сегодня оставь меня.

— Ты мне не дался, — сказал Кузьма. — Тебя просто уж очень полезно подпирать. Слушай, да что с тобой сегодня? Ты какой-то совсем никакой. Что с тобой творится?

— Говно мягкое, — огрызнулся Зорин тихо. — Ты телевизор видел?

— Не успел, — пожал плечами Кузьма. — Что еще ваши налажали?

— «Ваши»? — повторил Зорин с нажимом.

— Ты меня понял, — быстро сказал Кузьма. — Ну?

— Хуево очень, — сказал Зорин. — Есть, короче, под Киевом такое место — Буча. Наши его некоторое время назад взяли, сегодня пришлось тактически выйти из него. Там провокация совершенно дикая, страшная со стороны хохлов... Якобы расстрелы, ну пытки, всякое говно...

Кузьма молчал.

— Блядь, — сказал Зорин, — вой теперь до неба стоит... А главное — трупы у них шевелятся, руки с манikyром... Но вой до неба стоит... Наши и так объясняют, и сяк, но кто ж их слушает...

— Угу, — сказал Кузьма, — могу себе представить, как наши объясняют.

— А ты бы, небось, лучше объяснял! — окрысился Зорин.

Кузьма посмотрел на небо, потом на тент, где мельтешили вокруг столов женщины и дети, потом на мужчин, коротавших время с сигаретами возле неплотно защелкнутой на кнопки, хлопающей прозрачной двери, потом снова на Зорина.

— Пошли в «Ивушку», там телевизор наверняка, — жадно сказал Зорин. — Минут двадцать еще есть.

— Не могу, — сказал Кузьма. — Во-первых, не положено, и тебе я тоже настоятельно не советую. А во-вторых, я председатель жюри. А ты, между прочим, член.

— Сам ты член хуев, — печально сказал Зорин. — Тебя вообще не ебет, да?

— О, меня очень ебет, — сказал Кузьма спокойно. — Меня так ебет, что мне и смотреть не надо.

— А главное, — запальчиво сказал Зорин, не слушая, — что важно? Что они все поверят, понимаешь, что наши *могут*, понимаешь, *могут* такое вообще... Помыслить. Помыслить сделать. Что русские — это люди, которые такое *могут*. Вот чего эти подонки хотели — и добились.

— А русские, конечно, не могут, — сказал Кузьма и снова поглядел на небо.

— Это сарказм? — холодно поинтересовался Зорин.

— Упаси бог, — сказал Кузьма и похлопал его по плечу. — Если они могут — это как же жить? Это же нам умереть надо, правда, Зорин?

И на этих словах Кузьма, развернувшись, быстро зашагал к прозрачному тенту, к курящим мужчинам, и попросил у одного из них сигарету, и я впервые увидел, как у Кузьмы из носа выходят два длинных дымных бивня. Зорин же остался стоять, где стоял, и больше не глядел в сторону «Ивушки» и, когда подошли к нему две хорошенькие молодые матери с колясками за очередными автографами, не стал, против своего обыкновения, спрашивать у них имена, а поставил прямо на обложках протянутых ему книжек неловкие закорюки и, подойдя к сугробу, разрыл немножко то, что лежало сверху, и стал чистым снегом тереть себе лицо, пока оно не покраснело. Я же все это время стоял в недоумении: мне казалось, когда русские доказывают миру, что могут то или это (пусть я и не вполне понял, что именно), новость такого рода должна считаться скорее хорошей, чем плохой, и воспринимать ее стоит как повод для гордости; досада Зорина — и досада явно чрезвычайная — вызвала у меня растерянность, но и Кузьма явно был этой новости совершенно не рад. Вдруг ужасно, до зуда в черепной моей коробке, захотелось мне понять, что произошло, так что я и сам поглядел сперва в сторону кафе «Ивушка»,

а потом в сторону прозрачного тента и подумал о том, что минут десять есть у меня: окна у «Ивушки» были низкие, и побегі я сейчас через дорогу, замри я под этими окнами и не давай я сдвинуть себя с места, может, и удалось бы мне что-нибудь увидеть, в чем-нибудь самому разобраться... Я осмотрелся, как мог, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания: Толгат, не глядя на меня, а вместо того безотрывно глядя на копошащихся за прозрачными стенами детей, пил чай из белого мягкого стаканчика у маленького столика с бутербродами, улыбаясь и постоянно кивая какой-то официальной девушке, которая в длинном узком пуховике (тут вдруг стало мне дурно — но только на секунду, на одну-единственную секунду) походила на розовую гусеницу (все, все, отпустило). День был воскресный; редко какая машина проезжала по дороге, от которой отделяли меня только парковые невысокие кусты; либо бежать, либо нет. И я побежал.

Телевизоров в «Ивушке» оказалось два, но только один был развернут к окну. Все оказалось напрасно: плясали в телевизоре какие-то наряженные в кружево и кожу девахи, а одна из них, главная, так широко разевала рот, словно пыталась вывернуться наизнанку, и, когда прибежали за мной, размахивая руками, Зорин и Сашенька и пара самых жадных камер (которым Зорин тут же показал, где их место на этом свете), я и сам уже брел назад. И росла, росла во мне обида, и то была обида на всех — и на Зорина, и на загадочного для меня Сашеньку, все больше напомиравшего мне ласкового, страшного нашего главного евнуха, и даже на бедного моего Толгата, который явно все, в отличие от меня, понимал, но больше всего, конечно, на Кузьму Кулинина. Да почему же никого из них не заботит состояние мое?! Почему никто не задается вопросом, каково мне приходится, а все они только о том пекутся, чтобы я был относительно сыт, насколько можно здоров и более или менее чист, когда

есть где меня шлангом искупать или хотя бы снегом обтереть?! Душа моя мечется в растерянности, и вот прямо сейчас чувствую я себя чужим, чужим в своей стране, таким далеким от народа ее, словно снится мне в тяжелом странном сне этот народ, а ведь мне служить ему предстоит и, может быть, голову свою на этой службе сложить! Кто думает об этом? Кто хоть раз спросил себя: «Как ему, Бобо, дышится русским воздухом, нормально ли ему спится, о чем ему думается?» Может, Толгат и чувствует, что сердце мое места себе в груди не находит; от Аслана я добра не жду, Зорин меня, кажется, за бессмысленное животное держит, Мозельский у меня сейчас на хорошем счету, а Сашенька... Сашенька — это отдельный разговор, и я бы, честно говоря, предпочел, чтобы Сашенька-то как раз думал обо мне поменьше. Но ты, Кузьма Кулинин, ты, ты — ты бы мог и другим человеком оказаться; я знаю, ты способен мне в глаза заглянуть, так что же ты в небо смотришь и дымные бивни из носа пускаешь? И почему ты, Кузьма Кулинин, — думал я, когда подводили меня уже к самому тенту, где выстроились в шеренгу ребяташки с рисунками в руках и мамочками за спинами, — почему ты вечно ведешь себя так, словно ты у нас во всем главный, главнее никого нет? Ты, может, и начальник нашей экспедиции, а только не было бы меня — и экспедиции бы не было; ради меня мы идем и ради меня все тяготы пути терпим, и если бы не я — никогда бы не подобраться тебе к Его уху с твоими большими планами.

А ты смотришь на меня, Кузьма Кулинин, словно я собачка дрессированная, и улыбаешься всеми зубами Матвею Юрьевичу, который что-то там вещает в сипящий и сопящий микрофон, и сам к микрофону идешь и не сомневаешься, что я, как дрессированной собачке и положено, буду сейчас специальный приз безропотно выбирать. Ну так я тебе устрою, Кузьма Кулинин, представление — как начну тянуть, как

примусь ходить вдоль этой шеренги с рисунками, пока мне самому не надоест... Вот я раз прошел... И второй прошел... Смеются. Даже взобравшийся на меня Толгат смеется, как будто я бы без него не справился. А вот я на третий раз зашел и на четвертый зайду! Смеются, но уже послабее... Толгат меня начал пятками попинывать, а Кузьма в микрофон говорит: вот, мол, она, волшебная сила наивного искусства, — наш Бобо, дорогие богучарцы, находится под таким сильным впечатлением, что не может выбрать лучшее из всех! Опять смеются. А вот я вам выберу... Сейчас взглянусь и как выберу... Ишь, подготовились: на каждом листе напечатали рамочку «За российскую семью!» и даже место для подписи обозначили... И все рисунки на одно лицо: мама поменьше, папа побольше... Мама поменьше, папа побольше... О, братик обнаружился... На половине солнышко, на половине снег, а у самых умников и снег, и солнышко: над папой, значит, снег, а над мамой солнышко — когда они его видели последний раз, это солнышко... О апрель, русский апрель... И только здесь что-то... Что-то, не понимаю что... Не то ромб, не то квадрат. Коричневое. Сверху такое коричневое, а под ним паровоз зеленый, буквы написаны кривоватые — «Нвчеркасск». Рядом с паровозом женщина серая, в углу мальчик красный, маленький-маленький... Отдай. Не выпускает из рук, держит — кажется, боится меня. Нет, не боится, заглядывает мне в глаз, просто растерялся совсем, замер, забыл про рисунок. Тогда женщина у него из-за спины протягивает руку, осторожно разжимает ему маленькие пальцы в смешной варежке домашней вязки. Беру рисунок, несу. Вот, Кузьма, держи. Кузьма, не глядя, поднимает рисунок над головой, все хлопают, Кузьма заявляет, что у нас есть обладатель специального приза от нашего дорогого искусствоведа Бобо и сейчас мы узнаем его имя, поворачивает рисунок к себе, и я вижу, как рука его с рисунком начинает трястись, и трястись начинает

его рука с микрофоном. Мальчик уже семенит туда, к сцене, ровно стоит, вытянувшись по струночке, его мама — точно там, где стояла, и Кузьма быстро, легко перехватывает мальчика за плечо уже у самого микрофона и громко, с хрипотцой, говорит:

— Поаплодируем все Илюше Завгороду из третьего класса «Б» двадцать четвертой школы и передадим микрофон Наталье Зайдовне Эмме, замечательному специалисту, которая и огласит имена трех наших главных победителей и вручит им ценные подарки от мэрии и наших прекрасных спонсоров!

О, как он посмотрел на меня, Кузьма Кулинин, как посмотрел, пока вел обратно к маме Илюшу Завгорода, вжавшего в курточку свой рисунок, — а я и не знаю, что такого я сделал! Вот они встали друг перед другом, Кузьма и маленькая Илюшина мама, и вдруг Кузьма наклонился, взял мамину полную бледную руку, и поцеловал ее молча, и отпустил, и стал смотреть на серую плитку у себя под ногами. И тогда эта женщина сказала:

— Я знаю, вы там были. Вы были в Новочеркасске. Наш папа там работал.

— Я там был, — сказал Кузьма и поднял голову — как мне показалось, с большим трудом.

— Только в четверг они нам гроб привезли, — сказала она спокойно. — Я Илюше все объяснила. Но если вам есть что ему сказать — вы скажите.

Кузьма молчал.

— А если нет, то это необязательно, — легко прибавила женщина.

Тогда Кузьма сел перед Илюшей на корточки, улыбнулся медленно и широко и спросил:

— Илюша, хочешь на слоне покататься? — но смотрел при этом не на Илюшу, а на Илюшину маму.

Илюшина мама доброжелательно склонила большую кудрявую голову, и еще час с лишним катали мы детей по этой самой площади, по маленькой площади,



с которой для простору убрали даже прозрачный тент, и всем Кузьма разрешил фотографироваться со мною, как они только захотят, а камеры, наоборот, прогнал, и очень сокрушался Матвей Юрьевич, когда внезапно выяснилось, что Зорин очень голоден и надо немедленно сопровождать великого современника на обед, причем обязательно с рыбными блюдами, другое Зорина не устраивает, так что официальным представителям никак не удастся сделать фотографии для городского сайта. И все это время только на меня смотрел Кузьма Кулинин, на меня одного, а я не смотрел на Кузьму Кулинина вовсе.

К моменту, когда последний ребенок, воя и протягивая ко мне руки, был уведен с площади, ноги мои больше не шли — от боли в потрескавшихся ступнях я готов был и сам завывать. В конный клуб мы вернулись уже затемно, так я хромал; Яблочко же рвался вперед, гонимый тревогой за любимую, и принес на место Сашеньку с Мозельским задолго до нас. Пока я ел — снова сено, но в него, к счастью, щедро покидали яблочек и бананов, принесли для меня три разрезанных приличных на вкус арбуза, а отдельно поставили мне таз с размоченными в молоке сладкими булками, так что я не особо жаловался на жизнь, — Яблочко с облегчением рассказал мне, что Ласка все еще лежит, но операция прошла хорошо, гноя выпущено много, и теперь уколы антибиотиков должны начать действовать. Я принял эти новости с удовольствием, а заодно подивился самому себе: я твердо знал, что прежде одно слово «гной» испортило бы мне аппетит на сутки, теперь же и весь разговор о медицинских подробностях Ласкиной операции, о швах ее и перевязках питаться мне не мешал, и счастлив был я, что с подрукою нашей все настолько хорошо, насколько в ее обстоятельствах быть может. Это очень обрадовало меня — я подумал, что так проявляется во мне, по всей видимости, боевая жилка и дух мой крепчает,

делая меня все более пригодным для той участи, которой я был предназначен. Ах, дурак я был, дурак!

После еды не один я обессилел: никто из нас оказался не способен к переходу до гостиницы, и ночевать было решено прямо здесь, в клубе, расположившись на диванах в офисе, на подводе или в теплых стойлах. Стойла очень даже устраивали меня: лошадки принимали мою особу с большим почтением, которое внушала им моя величина и мой статус иностранца, очень в России почитаемый. На ночь рядом со мною, накидав побольше сена, стал устраиваться Толгат, но стоило ему обложиться всем необходимым для плетения моих лапоточков, как пришел, обтирая рот после ужина, Кузьма, а за ним, вся закутанная в шали, стелилась, похлопывая русскими варежками, оказавшись, видимо, теплее щегольских перчаток, сутулая тень — Аслан. Посматривали эти двое друг на друга так, словно между ними намечалась секретная связь, во что я, впрочем, с первой же секунды отказался верить.

— Толгат Батырович, — спросил Кузьма тихо, — вы как насчет покурить?

— Не курю, извините, — улыбаясь и запрокинув голову, сказал Толгат. — Бросил, детям вредно.

— Я не в том смысле, — сказал Кузьма с нажимом. — Я в смысле покурить. — И он помахал в воздухе маленьким бумажным пакетиком. — Хозяева клуба угостили, наши люди.

— Это я очень насчет курить. — Тут улыбка Толгата стала еще шире, и он закивал.

Аслан беззвучно захлопал варежками.

— Вот и отлично, — сказал Кузьма, тоже усаживаясь на солому (Аслан, прежде чем сесть, собакой покрутился на месте, словно солома была недостаточно чистой для его привередливой задницы, но рано или поздно и ей пришлось опуститься рядом с остальными). Через несколько минут Аслан одновременно закашлялся и засмеялся и сказал:

— Как я в техникуме лошадей бояться. А мне кенгуру было еще впереди.

И пока захлебывались мелким кашляющим смехом Кузьма с Толггатом, пока бурчал Яблочко в соседнем стойле про то, что придурки обдолбанные ему спать не дают, Аслан все говорил и говорил про то, как султан послал его, своего племянника, учиться в Россию ради дружбы двух государств, давно-давно, еще при ЦеКа, и как он боялся всего крупнее кошки, но уже тогда жили в султанском зоопарке и кенгуру, и жирафы, и два бизона, которых я не застал, и родители (нынче покойные) бегемота Биньямина, и зебры, и кто только не жил... Не было хотя бы меня и родителей моих, и то хорошо. Страшно было ему, Аслану, не хотел он быть ветеринаром, а хотел быть поэтом, и пусть не подумает никто, что хотел он писать о звездах и о бабах, нет, — он хотел быть как Зорин, он хотел стихами Родине служить.

— Ей-богу, — сказал Аслан, — когда дядя мне сказал, что еду я учиться в Советский Союз на ветеринара, я не выдержал — заплакал, просил меня хотя бы на поэта послать учиться, пусть и в Советский Союз...

Тут Кузьму разобрал такой страшный смех, что он завалился на бок и стал, задыхаясь, извиняться, но Аслан лишь улыбнулся и махнул рукой — смейтесь, смейтесь, самому смешно...

— Что же, — сказал Аслан, — ничего, ничего, я ночь в слезах пролежал, мать меня по руке гладила, спрашивала: «Ты что хочешь?» Я, говорил, хочу такой турок быть, так Родина помогать, чтобы по мне память осталась, слава осталась... Так будь, говорит, такой ветеринар, чтобы по тебе слава осталась, память осталась! И я все понял, я лучше всех учился. А лошадей до сих пор боюсь, — сказал Аслан и засмеялся.

Мне пришлось быстро прикрыть влажные глаза, но тут заржал неразборчиво маленький сварливый пони Родничок, и всех троих так разобрал смех, что им было не до меня.

— Ага, ага, — сказал Кузьма, подперев нижнюю челюсть ладонью и внимательно вглядываясь в четыре одинаковых предмета, выставленных перед нами на покрытом белой скатертью, уставленном по краям вазами с цветами небольшом столике. — Ага, ага. А это, собственно, что?

Я протянул у Кузьмы из-за головы хобот и поднял один из предметов пальцами, чтобы лучше рассмотреть. Предмет был легким, мягким, в окружности не больше чайного блюдца, и, когда я потряс им в воздухе, от него со звоном отвалилось какое-то красивое синее стеклышко. Я осторожно поставил эту хрупкую вещь обратно на стол.

Кузьма сунул руки в два из четырех стоявших перед нами предметов, щедро играющих цветными огнями на апрельском солнце, и зачем-то постучал ими друг о друга. Я затосковал и огляделся. Аллеи сквера лучами расходились от нас, и вдоль одной из них, самой широкой, в честь назначенной примерки постелена была длинная красная дорожка. Идти босиком по дорожке вполне понравилось мне (а лапти и ужасные эти русские обмотки я, к стыду своему, вынужден был сорвать с себя уже через два часа после того, как Толгат с большим старанием их на мне закрепил; что за чудовищное дело!). Каждый нахлест обмоток чувствовал я истертыми своими ногами; это жуткое

приспособление одновременно давило мне и болталось на мне как попало; Зорин, военный человек, взялся, разумеется, все к месту затянуть, да только напрасно промучился: болтаться-то оно перестало и давить вроде начало немножко меньше, но принялось уползать в лапоть и там, змеей свернувшись, словно бы жалить меня прямо в волдыри и мозоли мои твердыми своими узлами; нет, нет, нет! Чему угодно я согласен в русской жизни научиться, но ногам моим для русской обуви, видать, богоподобия не хватает; по ковровой дорожке шлось мне мягко и почти не больно, и похоже было, как если бы мы с бедным моим Муратом ступали по засеянной мшанкою поляне в форме восьмиконечной звезды — вниз, вниз по склону холма, подальше от школы, из которой, судя по звону голосов да по солнечному жару, вот-вот выплеснутся маленькие султанята и султанишны. На эту поляну Мурат приводил меня, когда надо ему было поговорить со мной подальше от любопытных ушей, ибо наши поляны этой, вечно кишашей малышнею, так и норовящей испытать крепость твоего хвоста и растяжимость твоих ушей, не любили, но Мурат, в отличие от остальных, понимал время и умел уловить те пятьдесят минут, когда поляна была блаженно залита солнцем и блаженно пуста. Тут однажды он сказал мне, имея в виду очень неприглядную историю с золотоносными муравьями и часами английского посланника: «Каждый из нас настолько плох или хорош, насколько он плох или хорош в обстоятельствах, позволяющих безнаказанно творить дурное». Я подумал об исчезновении из парка всех золотоносных муравьев на следующее же утро, о том, как смеялся посланник, и о том, как улыбался на людях, и как, по словам султаншиной козочки, гневался у себя в покоях наш султан, и спросил Мурата: «Что же делает такой человек, если наказание все-таки последует?» «Это зависит от того, насколько он плох или хорош», — сухо

усмехнулся Мурат, а я рассердился: я не любил, когда Мурат отшучивался от моих вопросов, — я знал всегда, что умом мне далеко до него, но неприятно было, когда это ставилось на вид. Вот и в тот полдень я остался им недоволен; а сейчас, стоя на мшистой дорожке в не по-русски жаркий апрельский день, я сглотнул появившийся в горле ком: на любую Муратову шутку я сейчас был бы согласен, если бы... Если бы мог спросить его сейчас хоть о чем-нибудь! О, если бы небеса разверзлись и вышел оттуда Господь русский Бог и сказал мне: «Бобо, глупый ты слон, за верность твою русскому делу, и за натертые ноги твои, и за то, что пусть и кормят тебя неплохо, но от большой ходьбы сильно ты потерял в весе, скажем прямо, — словом, за все тяготы, выпавшие на твою долю в этот срок, разрешаю я тебе задрать голову к моему раю, а сам я поднесу поближе маленькую и совсем лысую душу друга твоего Мурата и буду держать ее крепко, и ты сможешь задать ему один-единственный вопрос!» — я бы не стал мешкать ни секунды! Ничего бы я не выдумывал. Не спрашивал бы я «Как мне стать хорошим русским?», или «Почему не на месте сердце мое?», или «Помнишь ли ты меня, друг мой, там, в раю?» Мне все равно было бы, что спрашивать, — я любым его ответом был бы счастлив, потому что никогда Мурат слова пустого не сказал, и потом думал бы, думал, думал об этом ответе и, не сомневаюсь, понял бы что-то, до чего мне без Мурата никогда в жизни было бы своим умом не дойти. Вот ей-богу же, случись это сейчас — я бы так прямо и спросил, как Кузьма спрашивает у этого человека с узкой бородкой и слегка выкаченными голубыми глазами, тоже совсем не выглядящего дураком: «А это, собственно, что — вот это, стоящее перед нами на столе, — и почему Кузьма смотрит на это уже минут пять, и когда наконец принесут мои вымечтанные, во сне виденные, желанные мои сапожечки?» А Мурат бы сказал:

— Ну, собственно говоря, это максимально приближенный к реальности объект, который можно было получить при имеющихся в нашем распоряжении возможностях и ресурсах.

Нет, это сказал, разумеется, не Мурат. Это сказал молодой человек с бородкой, представленный нам как Иззо, арт-директор креативного бюро, разработавшего, по его словам, проект моих сапог (я еще раз оглянулся в надежде, что их уже несут, но их все не несли). Сообщив же нам о приближенном к реальности объекте, Иззо в очередной раз потряс витым черненым браслетом с двумя львиными головами и замер, сунув руки в передний карман своего черного худи с серебряным вороном на груди и изогнувшись, как кенгуру. Кузьма продолжал молчать, покусывая перепонку между большим и указательным пальцами. Тогда заговорил высокий лысый человек в ладно сидящем твидовом пиджаке на одной пуговке, в мягких джинсах и без галстука, сказавший до этого, что он «в департаменте культуры отвечает за то, чтобы по запросам Его Величества все как надо вертелось», и добавивший, что зовут его «давайте просто по именам, Тимофей Барских». Внезапно он спросил:

— Скажите, пожалуйста, а Зорин наш подойдет?

Кузьма словно бы очнулся.

— А? — сказал он. — Нет-нет, сейчас не подойдет, тут мы с Бобо как-то сами, а Зорин на обед собирался прийти уже.

— Ну и слава богу, что собирался, — сказал Барских. — Я к нему с большим интересом отношусь, рад буду познакомиться. Мне кажется, что в смысловом плане он очень заметно вырос, конечно, на сильной эмоции последних лет, хотя технически... Ну поговорим. Я вас в нормальный гастробар поведу, посидим спокойно. А то наши мэрские уже хотели с хрусталем и ледяными лебедями устраивать, я вас еле спас. Есть

еще одна площадка хорошая, правда, но там за нейминг стыдно, хотя выкладка у них...

— Простите, ради бога, — внезапно перебил Кузьма, и стоящая рядом с Барских красивая женщина Нина с короткими темными волосами осторожно сжала ему локоть. — Я бы хотел еще раз это услышать, а то у меня, знаете, дислексия: я с первого раза плохо запоминаю. Это, значит, «максимально приближенный к реальности объект...».

— Давайте я объясню, — сказал Иззо и опять вынул руки из кармана худи, чтобы потрясти браслетом. — У нашего креативного бюро есть четкие внутренние гайдлайны, по которым мы как команда интернализируем любой взятый проект. Эти гайдлайны созданы с тремя целями — собственно, мы говорим тут про три «Р»: «Реинвенция», «Революция», «Репутация». «Реинвенция», *re invention*, — это то, что должно произойти с командой, поскольку мы не скрываем, что люди, работающие над проектом, — наш первый приоритет: они должны чувствовать, что проект помог им переизобрести себя. «Революция» — это то, что результат нашей работы делает с заказчиком: заказчик должен чувствовать, что его мир сдвинулся с прежней точки, — может, не перевернулся, но он уже гарантированно не тот, что прежде. И наконец, «Репутация» — проект должен менять точку сборки имиджа бюро, иначе мы просто не имеем права за проект браться. Эти три «Р» — это, если угодно, чеклист. Ровно так сделан проект «эСэС»: первое «Р» — это возможность нашей команды переосмыслить себя как людей, которые...

— Простите, какой проект? — перебил Кузьма.

— «эСэС», — нетерпеливо повторил Иззо. Чувствовалось, что ему хочется рассказывать дальше.

— Еще раз, простите, какой? — переспросил Кузьма.

— «эСэС», — повторил Иззо уже гораздо терпеливее. — «Сапоги Слона».



Барских пошевелил губами.

— Я услышал, — сказал Кузьма. — Продолжайте.

— Кузьма, дорогой, — сказал Барских. — Мне кажется, это какие-то лишние технические подробности. Давайте, может, сразу перейдем к решению конкретных вопросов? Все решим и есть пойдем.

— О, нет-нет-нет, — сказал Кузьма. — Я наслаждаюсь каждым словом.

Иззо набрал в грудь побольше воздуха.

— Ну вот, — сказал он, — мы согласились на этот проект, поскольку знали, что каждый человек в команде сможет переизобрести себя как причастный к созданию слоновьих сапог. Это реперная точка в жизни инженера, дизайнера, декоратора. Это раз.

— Всего лишь раз, — эхом откликнулся Кузьма.

— Вот, — сказал Иззо, — вы меня понимаете. Дальше второе «Р», революция, — ну, тут понятно. Мы всегда четко определяем, кто наш конечный заказчик. Так вот, это для нас не Тимофей. И даже не вы. И даже не... Ну понятно. — Тут Иззо сглотнул. — Это Слон. — Тут Иззо, до сих пор очень по-взрослому ни разу на меня не смотревший, наконец на меня посмотрел. — Слон раньше не ходил в сапогах. Слон пойдет в сапогах. Его мир совершит концепт-шифт. Здесь все ясно.

— Абсолютно, — сказал Кузьма и, взяв со стола одно из четырех мягоньких ведерок, принялся вертеть его на пальце.

— Ну и третье «Р», — сказал Иззо с облегчением и даже перестал трясти львиными головами, — «Репутация». Да, этот проект делает нас другим, понимаете, другим бюро; с точки зрения имидж-девелопмента он перемещает нас вот на этом спектре, — Иззо поводил рукой вдоль стола, — из категории Brave в категорию Daredevils. Поэтому мы его взяли.

После этих слов Иззо наконец начал дышать и дышал довольно долго.

— Так-так, — сказал Кузьма. — Очень, очень хорошо. Вы реально много об этом думали, я вижу.

Иzzo кивнул.

— У меня есть один вопрос, — сказал Кузьма, осторожно перевернул одно, а затем и другое ведро вверх дном, привстал на цыпочки, перегнулся через стол и аккуратно повесил оба ведра на уши Иzzo, сначала на левое, потом на правое. — Где, блядь, сапоги?..

— Мы создали максимально приближенный к реальности объект, который можно было получить при имеющихся в нашем распоряжении возможностях и ресурсах, — тихо сказал Иzzo, сглатывая и покачивая ведрами на ушах.

— Сапоги, блядь, где? — ласково спросил Кузьма, осторожно надевая оставшиеся два ведра на уши Барских.

Барских молчал. Ветерок шевелил ведра. Это было ужасно мило.

— Смету мне, — сказал Кузьма нежно.

— Нам пришлось снять отдельный воркспейс, чтобы команда могла создать для себя особые условия погружения в обстановку современного русского... — начал было Иzzo, но тут произошло удивительное: лица у Кузьмы больше не было, был только распахнутый рот.

— Смету!!!.. — прогремело так, что из глаз женщины Нины покатались слезы, а с левого уха Барских упало еще одно маленькое стеклышко, на этот раз желтое.

На некоторое время я оглох. Кузьма задумался, а потом не без интереса сказал, глядя на сидящего на мне верхом Толгата:

— Полтора миллиона рублей бюджет! Вызывает, надо сказать, некоторое безразличное уважение.

Тут Иzzo зачастил так, словно боялся, что его вот-вот выгонят из класса:

— Послушайте, Кузьма... Кузьма Владимирович, давайте это самое... Найдём решение. Послушайте, вы же через Москву пойдёте?

На этой фразе Кузьма содрогнулся и медленно перевел на него взгляд.

— Вы же знаете Гого Лапида? Гого Лапида, который дизайнер обуви, который звезда, у которого все себе ноги делают — Пугачева, Ионова там, все?..

— Предположим, — сказал Кузьма.

— Он мой одноклассник, — быстро сказал Иззо, сбиваясь на какую-то школярскую манеру речи, — он бесплатно сделает высший класс, атас, тютелька в тютельку! Зуб даю, мамой клянусь! Мерки есть, расчеты, все есть, в Москве вас будут сапоги ждать, вот вам крест!.. Гогоша делает все — высший класс, у него, знаете, четыре «К»...

— Толгат Батырович, возьмите-ка меня на борт, — сказал Кузьма. — Я с вами поеду, очень устал.

И пока Толгат, спешившись, помогал Кузьмевзобраться на меня, он поднял — я заметил это по одной бойкой желтой искре — маленькое стеклышко, свалившееся с того, что должно было притвориться моим неверным, неверным сапогом, и положил его в свою котомочку.

Я шел, повесив голову; спроси меня кто, почему я так огорчился историей с сапогами, увы, не сумел бы я сказать. Ноги мои, ноги — а все-таки не в ногах была беда, я это чувствовал, я знал; все мы, думал я, делали общее дело царское. Моя тут забота была к царю прийти и ему верою и правдою служить; Кузьмы забота была привезти меня и сделать так, чтобы весь мир об этом знал и царевым слоном восхищался; Толгатова забота — любить меня и так делать, чтобы я был здоров и ухожен и выглядел перед миром достойно и красиво (и когда нам добрые женщины Василиса с Марьей постирали наконец в Троицком мои попонку и шапку, сильно легче эта забота, мне кажется, пошла); Зорина забота — меня и всех нас оберегать вместе с Мозельским и Сашенькой (о чьих особых заботах, как я их понимаю, лучше лишний раз

не думать и уж точно не заговаривать); Асланова забота — жрать и на качество жратвы еще жаловаться; бедный наш Яблочко с новым коньком Гошкой, которого он терпеть не может (и совершенно напрасно, мне кажется, да что поделаешь), о том заботятся, чтобы подвода наша вперед двигалась, да еще и чертовы цистерны Аслановы с формалином с собой тащила; и все эти заботы, все эти неусыпные дела, от которых порой настолько сил у нас не остается, что я, ей-богу, готов на лесной ночевке, как белый наш волк Франц, на луну выть, — только ради Него, только ради того, чтобы Ему жизнь скрасить. А этих людей забота была — мне сапоги стачать; разве ради моих ног были те сапоги? Ради Него были те сапоги. Спроси их, любят ли они Его, у них — это я уже понял — от страха язык к нёбу прилипнет; уж так они Его любят, так любят, что слов не находят, — а сапоги для Его дела стачать не могут. Вот она, беда наша: любовь к царю есть, а сапог для слона нет.

Шел я под эти мысли медленно, люди на тротуаре с вечными их наставленными на меня телефонами мешали мне (слава богу, хоть стучать по мне теперь строго запрещено было, этого бы я не выдержал сейчас, а толпы, понятное дело, больше встречать нас не собирались, и оттого тоже сердце мое ныло); ноги мои на каждый шаг отзывались болью, и, когда дошли мы до гостиницы, такая тоска владела мной, что, стыдным делом, на миг подумал я: господи, оказаться бы мне в султанском слоновнике хоть на часок, но не нынешним мной, а тем, прежним, глупым и невинным... Господи, да я и зебре Гербере был бы рад! Я представил себе час обеда и как стою я на чистом сене в слоновнике, и еще представил себе, что заглянула ко мне на обед нежная лама Аделина, к которой питал я всегда большое уважительное расположение, и как едим мы деликатно из моего великого таза крупно порезанные дыни, — и вдруг до слез сжалось горло у меня...

— Вижу по вашему лицу, что и вы глубоко озабочены происходящим в нашем городе! — вдруг сказал у меня под ухом женский голос, и я, надо сказать, шархнулся так, что чуть не уронил спускавшегося с меня Кузьму.

— Не то слово, — сказал хмурый Кузьма, одергивая пиджак. — А вы, собственно говоря, о чем?

Рыжая девушка, державшая микрофон, захолопала глазами и беспомощно показала рукой на растянутую над проспектом широкую белую ленту, на которой, в окружении наших флагов и нескольких красных звезд, расположена была надпись: «НАМ ПИНДОСЫ НЕ БРАТВА — ЭТО ПРОСТО ДВАЖДЫ ДВА!» Тут как из-под земли вынырнул слева от Кузьмы Барских и совершенно спокойно сказал:

— Так, Машенька, две минуты, у представителей Его Величества напряженный день был, меа кульпа, не успел забрифовать. Нам нужны пять минут на брифинг, потом подходите с камерой еще раз, я покажу, как встать, вы стоите так, что лента в кадре боком, полнадписи не видно. Всему учить...

Взяв Кузьму за локоть, Барских доверительно наклонился и сказал:

— Спрос на вас страшный. Я спас вас от большинства каналов, оставил только вот это маленькое интервью «Тамбовчанке» — женское тэвэ, они в вас влюбятся, и это, знаете, гендерно-современно, и выступление ваше вечером организовал у нашего ютьюб-блогера Увагина, это мне показалось свежее гораздо, чем какое-то тэвэ опять. Знаю, знаю, вы на Тамбов ничего не планировали, все релизы ваши мы разместили заранее, не хотели вас дергать вообще, понимали, что вам бы отдохнуть, я свято чту; но у нас тут своя катавасия, у меня к вам огромная просьба, как коллега к коллеге... Смотрите: у нас вчера шум вышел — Тамбов, значит, с пятьдесят девятого года был побратимом американского городишки Терре-Хот. Жалкая дыра,

меньше шестидесяти тысяч населения, но захотелось им пиару, они взяли да выкатили релиз, что на фоне... событий не желают быть больше нашим побратимом; я сел, порисовал схемы и решил, что это, в сущности, отлично: используем для буста патриотических настроений, почему нет. Покатали по каналам, поработали с блогерами, то, се... Вот, скажем, растяжечка, креатив мой, — просто и очень конкретно, пробивает вниз, по самой базовой цэа, и вы не поверите, уже пошел грас-срутс, в типографиях себе сами футболки заказывают. Так что у меня к вам по-человечески просьба: сейчас вот эту камеру отработать, просто мнением поделиться две минуты, и вечером к Увагину сходить, пока Зорин будет в «Чичерине» читать. Я его, между прочим, спас от Главной юношеской библиотеки, там только что мыши по полкам не бегают... Увагин — совсем не дурак, там с подвохом могут вопросыки быть, но до вас ему, конечно... Выручите, Кузьма, дорогой? — И Барских, положив Кузьме руку на предплечье, присел и заглянул ему в глаза.

Тогда Кузьма тоже положил руку Барских на твидовое предплечье, заглянул ему в глаза и сказал:

— Как коллега коллеге говорю: идите в жопу. — И медленно пошел вверх по ступенькам гостиницы, а мы с Толгатом отправились на соседнюю улицу, в пустующий старый пожарный гараж.

Время шло; я поел — искупая вину свою, Барских (а я не сомневался, что это было его рук дело) отправил мне помимо вещей вполне очевидных огромное корыто шоколадного молока, и мы с Толгатом напились его вволю. Самому Толгату приехала с посланником корзина: были там и коньяк, и шоколад, и печенье, и какие-то белые сахарные шарики с кислой мокрой серединкой, которые Толгат высыпал мне на язык и которые привели бы меня в восторг, если бы не душевное состояние мое, ухудшавшееся с каждым часом. Я попытался спать и почти заснул, но не заснул:

во-первых, постоянно будило меня выпитое в избытке шоколадное молоко, а во-вторых, я думал о масштабе бед наших; представлял я, как Кузьма передает Ему свой тайный доклад, как Он прочитывает его, — и что дальше? Всплывали у меня перед глазами Барских и краснодарские люди с круглыми стеклянными головами, Матвей Юрьевич и Прокопьев, и не понимал я, что Он будет делать, как справится, а главное, не понимал я, как я ему послужу, что я смогу сделать для него, кроме как от любой беды охранять и сердцем сердцу его сочувствовать... Я заснул наконец, и сон мой был черным-черным, и кто-то стучал по мне во сне, стучал коротко и упрямо, три раза, еще три раза и еще три раза, и я, поняв, что вновь собралась вокруг меня толпа, ищущая удачи, сказал себе, силясь разлепить глаза, что надо потерпеть, что то не мне они выражают уважение — то Ему они выражают уважение, от Него просят они этим стуком благословения в делах своих и надо поднять голову и улыбнуться... Улыбнуться им... Но тут кто-то из толпы грубо дернул меня за один из пальцев, и от такой наглости дыхание перехватило у меня; я проснулся немедленно и тут же стукнул обидчика хоботом по голове; обидчик взвыл; то был Кузьма, я посмотрел на него и понял, что Кузьма пьян, пьян страшно — так пьян, что уже почти что кристально трезв, пьян так, как были на моей памяти пьяны всего двое: султан, когда умерла любимая его сука Авива и он лежал, рыдая, на дорожке в Саду роз, где часто с ней гулял, и целовал землю, по которой она ступала, и Мурат мой, когда ставил эксперимент, закапывая в землю фрукты, чтобы добиться их брожения, и снова откапывая и поедая их, а потом отчитываясь мне о полученном эффекте. Фрукты мы тогда разделили пополам; я был, соответственно, в подпитии, крошечный же Мурат пьян до этой кристальной философской трезвости, когда, по его собственному выражению, «мысль твоя летит птицею, а тело твое

и черепаху не смогло бы поймать». Так пьян был Кузьма; он рухнул, подвернув под себя ноги, прямо там, где стоял; Толгат бросился к нему, желая помочь ему встать, но Кузьма отмахнулся кожаной своей тетрадкой, а потом сказал очень медленно:

— Впрочем, нет, Толгат Батырович, вы мне помогите так повернуться, чтобы и вы меня слышали... Я вам почитать пришел... Не одному же Зорину читать! — И тут Кузьма приятно, мягко рассмеялся.

Толгат натаскал Кузьме побольше сена и набросал его у стенки, покрыв стоявшие там ящики с каким-то барахлом. Потом посадил Кузьму, и Кузьма уселся на этих ящиках, как на троне.

— Слушайте, — сказал Кузьма очень медленно, но очень четко, — я хочу вам почитать... Я много написал за сегодня, страниц двенадцать. Движемся, движемся. Этот... не могу подобрать слова, простите, я пьян уже совсем... Короче, Барских — он мне идею одну подал, на самом деле, когда заговорил про «пробивание вниз». Это одна из наших проблем: все усилия, по большому счету, направлены на «пробивание вниз». Но верхушка, интеллигенция, мозг нации — тут дело даже не в том, что нет направленных на них адекватных коммуникаций... Или я не вижу — но я смотрю очень внимательно, и мне, честно говоря, по долгу службы положено замечать; я вижу какие-то огрызки, и, господа, лучше бы их не было, они наносят страшный вред, те, на кого они направлены, над ними насмеются, это надо делать не так, не так, не так... Впрочем, про это у меня есть отдельный большой раздел в документе... Так вот, проблема не в том, что на них не делаются адекватные направленные коммуникации, — проблема в том, что низовые коммуникации делаются так ужасно, так топорно, что они отвращают от власти и государства высокоуровневую целевую аудиторию... В желании... — тут Кузьма задохнулся, но продохнул и продолжил: — В желании как можно



четче и проще, в лоб, донести месседж до аудитории низкоуровневой мы вредим всем остальным сегментам! А с низкоуровневой можно иначе, можно не так кондово, и тогда удастся соблюсти баланс и с более высокими аудиториями, вот в чем дело. И да, есть же западный опыт — и положительный, и отрицательный, я привожу и разбираю кейсы, смотрите... — И Кузьма стал перелистывать кожаную тетрадь медленными, плохо слушающимися пальцами и добавил, усмехнувшись: — Беда всех больших коммуникационных стратегий в том, что они большие.

Я не мог слушать дальше; свет показался мне черным. Не разочарование постигло меня, но горе; я словно падал в огромную яму, глубины которой не мог осознать, потому что она не кончалась и не кончалась. Я сказал Кузьме, что на него была вся надежда моя; что Он явно ничего не знает о творящемся в стране Его именем; что я, будучи боевым слонем Его, не смогу Его спасти, если не будет Он понимать, что именно вокруг Него происходит; что люди Его злоупотребляют Его доверием; что грош цена Кузьме как царскому слуге, если он об этом не донесет, что Кузьма тогда — не царский человек, а пустое место, ничем не лучше Матвея Юрьевича, или Барских, или даже Прокопьева. Я прямо спросил Кузьму, собирается ли Кузьма сказать Ему честное слово; Кузьма огрызнулся и ответил, что не сторожевому животному такие вопросы задавать и что мне место мое знать положено. Боль от его слов застряла у меня в груди, как игольчатый шар; я сказал ему, тоскуя, что только по его вине я сторожевое животное, а не боевой слон, — как же мне быть боевым слонем, когда боевой науке меня никто не учит?

— Плохой ты царский слуга, Кузьма Кулинин, — сказал я, — если собираешься в качестве боевого слона Его Величеству меня привести: что я могу? Меня тренировать надо, готовить надо, а я иду враскоряку

на больных ногах, и даже сапоги ты мне справить не умеешь!

Тут уже Кузьма пришел в ярость и ударил меня очень больно тетрадью по кончику уха.

— Нормальным ты будешь боевым слонем, дорогой, — сказал он совершенно трезвым голосом. — Будут тебя в военные попонки наряжать да на парады под золотым Его Величества седлом выводить; а то можно подумать, что от тебя еще какой толк мог бы быть, дубина неповоротливая! Еще медалями наградят, вот увидишь; какой ты будешь боевой слон? — а такой, как Шойгу: вон, ни разу в армейский сральник не сходил, а войной командовать только так!

Слезы потекли из глаз моих; Кузьма повернулся задом наперед, спустился, едва справившись с этим делом, со своего трона и вышел вон. Побежал ко мне Толгат с пачкой печенья «Юбилейное» и стал совать это печенье мне в рот, а я ел и плакал, ел и плакал.

Маковка маленького, обшарпанного лесного храма терялась в ветвях старого дуба-переростка, и крест торчал вверх сияющей веткой. На двери храма под чугунной вывеской «Храмъ Святой Живоначальной Троицы Въ Сокольникахъ» приклеена была нарисованная от руки и закатанная в пластик табличка: «Благотворительный фонд „Дельфиненок“ — поддержка детей с сиреномелией», а пониже еще одна: «Заходите в масках! Все хотят жить!», а поверх нее от руки черным фломастером написано было: «Поздно!» — и улыбалась гостям желтая наклейка-мордочка. Зорин, дотащившись до крыльца, со стоном сел, вытянув больную ногу перед собой; Кузьма толкнул дверь — та оказалась не заперта; изнутри пахло людьми, печеньем и суетой. Кузьма постучал в приоткрытую уже створку. На стук крикнули: «Входите!» Кузьма вошел и вышел через несколько минут с маленькой полной рыжей женщиной; та посмотрела на меня так, как смотрели на меня обычно дети, потом перевела взгляд на Зорина и насупилась.

— Здравствуйте, — сказал Зорин и протянул ей руку.

Женщина руку не пожалала, но посмотрела Зорину без улыбки прямо в глаза.

— Понял, — сказал Зорин и начал с кряхтеньем подниматься.

— Сядьте, — сказала женщина, — я по случайности фельдшер.

Зорин плюхнулся обратно на ступеньку.

Женщина, широко расставив ноги, присела перед Зориным на корточки и распорядилась, не глядя на Кузьму:

— Ножницы принесите.

Кузьма исчез и снова появился, на этот раз с большими розовыми ножницами в руках. Женщина не без большого труда разрежала голенище, стащила с ноги закусившего губу Зорина кирзач, стянула носок и стала ощупывать вспухший сустав.

— Перелома нет, — холодно сказала она, — простой вывих.

— Знаю, — сказал Зорин.

Женщина это проигнорировала и вдруг резко дернула его ногу на себя и в сторону. Раздался хруст, Зорин взвизгнул и откинул голову назад, а потом резко выдохнул. Женщина встала и размяла ноги. Зорин снова начал подниматься. Мозельский подставил ему плечо.

— Спасибо вам огромное, — сказал Кузьма. — Мы, конечно, не надеялись тут фельдшера встретить. Мы зашли, собственно говоря, попросить эластичных бинтов, если вдруг найдутся, — у нашего ветеринара аптечка, конечно, да от странствий отсырели, оказывается, бинты. Мы дальше поедем, спасибо вам огромное.

— Не поедете, — сказала женщина, — пока я ногу в бинты не возьму и не удостоверюсь, что воспаление начало спадать. Слону я сейчас скажу вынести воды, вы можете пройти на кухню, сколько вас?

— Это совершенно лишнее, — сказал Кузьма, — мы же понимаем.

— Я сам забинтую, — сказал Зорин, — мне в полевых условиях случалось...

Женщина посмотрела на Зорина так, что он замолчал. Подумав, она сказала:

— Хорошо, я сейчас сюда вынесу бинт и лед. Сидите. Она ушла, а Зорин сказал:

— Вот ведь.

Кузьма не отозвался. Мозельский, засыпая стоя, на секунду разлепил глаза и сказал:

— Пожрать бы еще попросить.

— Обойдемся, — сказал Кузьма. — Нам до города от силы час. Ни с каким льдом он, конечно, сидеть не будет, с собой возьмем, на подводе — и вперед.

Женщина вернулась, снова присела и начала туго бинтовать Зорину голеностоп. Зорин, крутя в пальцах носок, молчал.

— Как вас зовут, если можно? — осторожно поинтересовался Кузьма.

— Вам оно ни к чему, — сказала женщина. — Чем меньше вы о нас знаете, тем лучше.

— Я понимаю, — сказал Кузьма печально.

— Все, — сказала женщина, вставая. — Вот лед, сидите здесь. Я буду выходить смотреть.

— Вы нас простите, но у нас дела срочные, — сказал Кузьма. — Нас в городе ждут. Мы лед возьмем и поедем.

— Могу себе представить ваши дела, — усмехнулась женщина холодно. — Ну, я вам не надсмотрщик, как решите.

Зорин наконец натянул носок и разрезанный кирзач, встал и, зажав в правой руке пакет пельменей, осторожно поковылял к подводе: видно было, что нога его держит и что он сильно от этого взбодрился.

— Может, вы позволите вас как-то отблагодарить? — спросил Кузьма. — Хотя бы пожертвованием в фонд. Или, может быть, вам что-то нужно для работы, в офис, как-то? Новый принтер, не знаю?

— Пожертвование, — сказала женщина, — мы от вас не примем, это смешно, а офиса у нас через неделю не будет. Ваши бесценные церковники из здешней епархии нас выгоняют. Век и четыре года им не нужен был

этот храм, а стоило нам год назад въехать, как он им, конечно, понадобился. Так что через неделю мы окажемся на улице. С вашим новым принтером в обнимку.

Кузьма помолчал, а потом сказал:

— До свиданья, и спасибо вам за все.

— Надеюсь, больше не увидимся, — хмыкнула женщина, провела рукой по буйным рыжим волосам, и вдруг я заметил, что пальцы ее мелко дрожат.

Кузьма повернулся и пошел следом за Зориным. Я стоял и понимал, что и мне следует идти, что Толгат дергает меня то за левое, то за правое ухо, но тут женщина внезапно окликнула Кузьму, и он обернулся.

— Эй, — сказала женщина, — с вашим слоном все в порядке?..

Идти нам оказалось даже и меньше часа — расположили нас на этот раз в месте, красоту которого я, если бы мог, наверняка бы оценил: гостиница — вроде замка маленького, а вокруг парк, и в том парке и мшанка, и дубки, и сразу же мне предложенный обед с чечевичною кашей и почему-то с ванной, наполненной фруктами, и кабанчики, явившиеся меня проведать всем семейством, как только люди разошлись.

— А что, тряпки-то тебе чесаться не мешают? — обойдя меня кругом, спросил отец семейства, каждому шагу которого следовала молодая, еще стройная мать и четверо отпрысков, хорошо, надо сказать, воспитанных, насколько я мог судить.

Я стоял над ванной, смотрел на старательно уложенные в нее поверх сена яблоки, груши, аккуратно порезанные дыни и думал о том, что поесть мне надо бы, очень это было бы правильно, что я и в прошлый раз не смог поесть, но мысль о еде, о самом вкусе ее у меня во рту казалась мне невозможной. Меня не мутило — я словно бы не понимал, как и зачем едят.

— А что бы им мешать? — рассудительно сказала мать семейства. — Тряпкой-то, небось, и чесаться приятно. Потер тряпкой, где чешется, — приятно.

Тогда отец семейства зашел мне под живот и несколько раз вместе со всем выводком своим прогулялся у меня под животом туда-обратно.

— А что, — спросил он, — царских-то харчей тебе хорошо отваливают?

Я оглянулся на здание гостинички, затем на глубокие, темные парковые аллеи и вдруг подумал: я не понимаю это все; мне показалось вдруг, что голова моя сейчас под собственной тяжестью отделится от тела и упадет, причем ударится преобольно о край ванны, и этой боли я уже точно не выдержу; чтобы такая нелепость не произошла, я напряг шею, но шея почему-то болела страшно, и стало гораздо хуже.

— И чего бы не отваливать, — с достоинством сказала жена его. — И отваливают, и с верхом кладут. Харчи-то царские, чего не отваливать.

Удовлетворенный таким ответом, кабанчик одобрительно хрюкнул, зашел ко мне спереди и устался на мой хобот, бессильно висящий чуть не до земли, а потом пару раз подбросил его в воздух пятаком. Семейство его одобрительно закивало.

— А что, — спросил он, — как оно на самом деле, скоро мы хохлов-то добавим? Что-то все давим и давим, давим и давим, надоело давить-то, пора бы уже и додавить.

Вдруг я понял, что насколько раскаленной была голова моя, настолько ледяными были мои ноги: я не чувствовал их. Холод поднимался от израненных моих ступней к коленям, от колен — к животу и там встречался с абсолютной, страшной пустотой — пустотой, которая образовалась у меня в груди после разговора с Кузьмой и которую ничем, ничем не мог я заполнить. Дрожь пробрала меня. Медленно-медленно встал я на передние колени, потом на задние; еще секунда — и я завалился на бок.

— А конечно, скоро добавим, — сказала молодая гладкая кабаниха со знанием дела. — Давим и давим, давим и давим — значит, скоро уже добавим.

Кабанчик, довольный услышанным, ткнул ее пятком в бок и сказал мне, кивая:

— Умный ты мужик — сразу видно, царская голова: хорошо, что я с тобой поговорил и что дети мои послушали, — долго будут помнить, как ты правильно о политике рассуждал, еще внукам расскажут. Ну ты, вижу, голодный, раз нас не угощаешь; это ничего, мы небрезгливые: нам с царского стола и объедки сойдут, ты покушай, мы потом доедим.

Я лежал и смотрел на молодую траву: многое происходило в траве. Пустота в груди моей болела так, что и жар, и холод затмевала собой, но мелкая дрожь продолжала меня бить. Слышал я краем уха, как кабанчик спросил свою прекрасную кабаниху:

— Что ты думаешь, поел он?

— Не ест — значит, поел, — сказала та с большой проницательностью, и я услышал, как кабанчики, воспользовавшись большим дубовым пнем, забрались в ванну и принялись за основательный шумный обед, и пару раз прилетали мне в бок то дынная корка, то грушевый огрызок, а то и манговая косточка. Покончив, видимо, с едою, кабанчик подошел ко мне и встал так, что глаза мои были направлены прямо на него; я попытался их прикрыть, но он тыкнул меня мокрым пятком в лоб, и я вынужден был посмотреть и на него, и на его выстроившуюся рядом с ним сытую семью.

— Ну бывай хорошо, и за обед спасибо, — сказал он. — А как дойдешь до царя, ты ему непременно скажи: мы за него горой, а только если не будет желудка — пусть он в наши края и глаз не кажет. Хочет хохлов давить — пусть давит, а чтоб желудь был. — И, развернувшись, потрусил впереди своего выводка в темноту изгибающейся аллеи.

Я не понимал, как идет время; я понял вдруг, что от боли мелко дергаю коленом и только это приносит мне облегчение. Глаза закрыть я боялся: мне казалось,



что если я закрою глаза, то провалюсь в такой мрак, из которого не вернусь уже никогда. Я хотел... Я не знал, чего я хотел, я не мог понять. Каждую секунду я ждал, что он придет ко мне. Я хотел, чтобы он сказал мне... Что? Бесконечно я представлял себе, как он со мной говорит, — но что говорит? Вот он, предположим, говорит мне, что я не сторожевое животное в глазах его, но... Кто? Что не такая участь меня ждет, как он мне предрек; а если я обмана хочу, то что же, ему обмана мне наговорить? Ночью и утром, пока еще шли мы через лес и потом вдоль по трассам и он ехал на мне, гордость еще держала меня, хотя от боли тяжело мне было дышать, и несколько раз приходилось нам останавливаться, и я специально приподнимал то одну ногу, то другую, словно это от боли в ступнях не способен я дальше двигаться; но сейчас боль свалила меня, и я лежал, не в силах перестать дергать коленом, лежал и глаза боялся закрыть, и все, что в траве происходило, не касалось меня, и не было у меня сил даже воды испить после ночного нашего перехода. Темнело быстро. По шагам узнал я Толгата — видимо, пора нам было собираться по делам (я вспомнил, что назначено было мне сегодня: как то был День космонавтики, собирались местные власти телескопы в нашем парке установить и после концерта всех желающих учить за звездами наблюдать, мне же полагалось разукраситься этими самыми звездами — и для того уже была закуплена Толгатом светящаяся краска — и младших моршанцев на себе катать, а со старшими фотографироваться; при мысли об этом такая тошнота подкатила к горлу моему, что я закрыл-таки глаза и немного с закрытыми глазами полежал). Сначала Толгат, по шагам его судя, побежал ко мне; он стал бормотать надо мной и за уши меня тянуть и прикладывать ухо к боку моему, а потом так же быстро побежал прочь от меня, назад к гостиничному дому. Я понял, что не будет мне покоя, и еще понял, что

рано или поздно он придет; сердце мое заколотилось. Но пришел не он: по шипровому запаху да по меленьким шажочкам узнал я Аслана; он шел за поспевающим Толгатом, и в походке его я чувствовал неуверенность. Шлепнулся о траву, звякнув содержимым, ненавистный его саквояж, и холодная пимпочка стетоскопа прижалась поцелуем к моему боку. Я передернулся. Долго-долго бродил вокруг меня Аслан, шурша травой, бормоча чушь, тыча в меня стетоскопом и светя фонариком мне в глаза; несколько раз попытался он надавить коленом мне на дергающееся колено, но я слегка пнул его ногою, и глупости эти немедленно прекратились. И вот за его возней, за мерзкими его касаниями и глупым бормотанием пропустил я еще одни шаги, те самые шаги; а когда голос Кузьмы раздался надо мной, когда услышал я, как Кузьма спрашивает:

— Аслан Реджепович, дорогой, ну что? — мне показалось на секунду, что сердце мое не выдержит — оно забилось так, что я стал задыхаться, и Аслан снова бросился на меня со стетоскопом.

Поползав вдоль груди моей вдосталь, он оторвался наконец от нее, выпрямился и, переминаясь с ноги на ногу, сообщил Кузьме, что ничего «такого» у меня не находит.

— Тахикардие есть, не сильное особенно, — сказал этот знаток сердец с большой осторожностью, после чего добавил, что наш слоник, видимо, «сильно уставать и полежать».

— Ну и слава богу, — спокойно сказал Кузьма. — Все мы, надо признаться, сильно уставать и с радостью бы полежать. Спасибо вам большое, Аслан Реджепович, успокоили. Дадим Бобо сегодня отдохнуть вечерок.

И я услышал, как, звеня своими омерзительными склянками и шприцами, наш эскулап собирает саквояж и удаляется прочь — следует полагать, вполне довольный собой.

Тогда Кузьма обошел меня кругом и присел так, чтобы заглянуть мне в глаза. Я, не ручаясь за мужество свое и чувствуя, что горло мое наполняется скребущей горечью, сомкнул веки немедленно. Кузьма встал, отошел на несколько шагов и спросил тихо:

— Толгат Батырович, вы его знаете, как никто не знает. Как вам кажется, что с ним?

— Нехорошо что-то, — сказал мой Толгат со вздохом. — Я не думаю, что он физически болеет. Я думаю, что это другие дела.

Ответа не последовало. «Ну же, — думал я, — скажи мне что-нибудь, скажи что-то такое, отчего все, все, все во мне перестанет разъедать боль, скажи, только ты и можешь, только тебе и дана сейчас такая власть, скажи — и я встану и пойду за тобой к сраным телескопам, в чертов Оренбург, на край света, скажи, помоги мне, спаси меня, скажи, скажи, скажи...»

— Спасибо вам, Толгат Батырович, — сказал Кузьма. — Я тоже так думаю. Вы идите поужинайте, а потом приходите к нему, пожалуйста, — у меня-то выбора нет, мне бежать пора. Хорошо? И я хотел еще... Простите меня, ради бога, за мое вчерашнее состояние. Я позволил себе... Я редко пью. Мне стыдно, что вы меня таким видели. Простите меня и забудьте, если можно. Ладно?

Судя по тому, что в ответ я ни слова не услышал, Толгат так тряс головой, что та наверняка чуть не отвалилась. Шаги его зашуршали по влажной траве — он попятился, а потом быстро пошел, чуть ли не побежал прочь. И тогда Кузьма снова присел передо мной. Я сжал веки еще крепче. Сухая длинная ладонь легла мне на лоб, сухие губы прижались к моему веку и замерли, замерли надолго. И тогда страшная, игольчатая, раздирающая мою грудь изнутри боль стала превращаться в мучительно-сладкое, тягучее, темное желе.

Кузьма поднялся на ноги — и вот нет Кузьмы. Я больше не дергал коленом — даже на это не было

у меня сил: словно бы осталась от меня одна пустая шкура. Я не ослаб — я исчерпался. Но я все еще был болен, по-настоящему болен и не знал, не понимал во все, когда встану и смогу пойти вперед; все мне было все равно. Об одном мне мечталось: чтобы пришел Толгат, сел со мной в темноте и сидел, а того лучше — занялся бы моими несчастными ногами, вынул бы застрявший в трещинах мусор, обработал бы эти самые трещины, обрызгал и смазал маслом. Я услышал, что идут ко мне, но шаги были не Толгатовы: мелкие, шуршащие, и что-то позвякивало, и сильно-сильно пахло душным одеколоном. Я не шевельнулся: мне было все равно, чего этот человек от меня хочет. Я ждал прикосновения его стетоскопа, но началось что-то странное. Сперва он побродил вокруг меня кругами, осматривая меня так и этак. Я ждал, что он откроет саквояж, но так и не клацнул ни разу знакомый мне замок. Я приоткрыл один глаз: нет, саквояж стоял нетронутый передо мною, но этот мерзавец явно возился с чем-то у меня за спиной, шурша и издавая неясное мне жужжание. Вот что-то непонятное, узкое и прямое прижалось к моей спине; потом к задку; к боку; потому дошла очередь и до правой задней ноги — сперва приложилось вдоль, а потом обхватило ногу мою у самого низа по окружности... Да этот мерзавец обмеривал меня! От возмущения я распахнул глаза — и увидел, как, перекатываясь с носка на пятку, стоит он, явно о чем-то размышляя, у самого моего хобота; наклонившись и схватив меня совершенно хамски за один из пальцев, он разложил мой хобот по траве во всю длину и его тоже принялся обмеривать своим чертовым приспособлением, как если бы я был ничего не чувствующий труп; я лупанул его хоботом по руке, он ойкнул, но, явно не намереваясь отступить, потянулся к моему лбу; я шлепнул его опять, на этот раз по тощему задку, и тут уж он отскочил и даже отбежал. Засунув руки в карманы, мерзавец этот снова

качнулся вперед-назад и довольно сказал по-турецки: «Двух цистерн должно хватать... Да, должно хватать...»

Ах, подлец! С ревом вскочил я на ноги. Голова моя закружилась, но я устоял. Мерзкий Асланов смех раздался у меня под левым ухом. Что ж, пусть смеется! Если моя болезнь доставляет ему развлечение, то я буду здоров! На слабых ногах сделал я шаг и еще шаг прочь от этого подлого садиста. Где-то вдалеке играл оркестр, и я понял, что там должен был я быть сегодня вечером, там полагалось мне выполнять обязанности свои. Медленно-медленно пошел я по большой аллее на звук, качаясь, как едва овладевший походкою младенец. Сзади раздались торопливые шаги — то бежал за мною Толгат. Я не стал ждать Толгата. За поворотом открылась передо мною широкая, яркая площадка — люди толпились на ней, и впереди была сцена, а на сцене оркестр играл что-то такое, отчего и мне немного захотелось жить. Никто меня еще не видел — не видел полминуты, минуту, а потом сбилась музыка, и все стали оборачиваться, и выбежал на сцену Кузьма и закричал в микрофон: «Смотрите, дорогие моршанцы, кто выздоровел и пришел к нам! Мой друг и боевой товарищ, мой прекрасный Бобо!» И то действительно был я.

Запыхавшийся Толгат догнал меня и шурился теперь на яркий свет. Я дал ему сесть на себя, и меня осторожно провели мимо телескопов поближе к сцене и поставили так, чтобы всем было хорошо меня видно. Не было на мне звезд, и не было на боку у меня ракеты, которую очень хотел Толгат нарисовать, но все так аплодировали мне, и так кричали дети, и так смотрел на меня Кузьма, что я... Далеко был город Оренбург, но вокруг меня был город Моршанск, и в этот момент служил я городу Моршанску и людям его — может быть, может быть, лишь им одним, да Толгату, да Кузьме, да Сашеньке с Мозельским, улыбающимся мне из первого ряда, да Зорину, поднимающемуся на

сцену стихи читать, да Аслану поганому — и ему тоже, что уж тут поделаешь, — я служил. Дети бросились ко мне; взрослые не могли их удержать; Зорин топтался по сцене, и только увещеваниями какого-то крупного сурового человека в сером костюме и сером галстуке, взявшего в руки микрофон и сказавшего в него ледяным голосом: «Товарищи, а ну не позорим город перед властью!» — удалось навести в публике некоторый порядок. Зорин тогда прокашлялся и заулыбался.

— Я, конечно, не слон, — сказал он, — но я вас к слону быстро отпущу, я всего один стих прочитаю. Вот есть пословица: «Гагарин в космос летал, а Бога не видел». Фраза эта — ложь, ему это советские безбожники приписали. А сейчас уже не спросишь, конечно. Его друг и коллега Леонов говорил, что он был очень духовный человек, Юрий Алексеевич Гагарин, крещеный русский человек. И мы не знаем, конечно, что первый русский космонавт чувствовал, оставшись наедине со Вселенной. Вот про это я читаю.

А Бог его видал — но не сказал ни слова:

Сын учится летать, какие тут слова.

А он себе шептал, шептал опять и снова:

«Вселенная жива. Я знаю, ты жива».

О чем он думал там — над Родиной, над нами,

Один в великой тьме, дыша и не дыша?

Великий, русский, наш — как выразить словами,

Что чуяла его крещеная душа?

А Бог — что думал он, когда к Его престолу,

К сияющим дверям в Его золотой чертог,

Приблизилось дитя великого народа,

Который никогда предать Его не мог?

Быть может, в миг Суда, когда и души наши

Предстанут перед Ним и в нас взглянется Страж,

Узнаем мы с тобой, что чувствовал на страже  
Страны своей герой — крещеный, русский, наш.

Аплодировали, и аплодировали хорошо, и видно было мне, что Зорин прежде волновался, а теперь успокоился. Вышла большая дама, сказала всем спасибо и заявила, что катания на слоне нынче не будет, так как слон все еще не вполне хорошо чувствует себя, но будет фотографирование, поскольку слон вовсе не заразен, а вся его болезнь состоит в легкой головной боли от усталости. Тут же оказались рядом со мной визжащие дети, и душа моя умилялась этим детям, и я был готов сколько угодно выстоять рядом с ними. Я и стоял; придумал Кузьма снять с меня пону и покрыть меня большой белой тканью, специально для этого заготовленной, на которой бы сперва я расписался, а потом и каждый желающий: потом было решено ткань эту передать в музей. Что же, поднесли мне ведро с краской и кисть, и я сделал, что мог, и сделал это с большим чувством, и всех привел в восторг; музыка играла, дети и взрослые суетились вокруг меня, и я, хрупкий, как хрусталь, переминался с ноги на ногу, чтобы боль была терпимее, и стоял, стоял и каждого здесь любил — каждого в этом парке, и каждого в этом городе, и каждого в этой огромной стране я любил в тот вечер, и, когда холодно уже стало так, что я задрожал и дети от усталости и апрельского морозца заплакали, и оркестр взялся со стуком собирать вещи свои, и Толгат начал похлопывать меня по боку, а большая женщина принялась ходить среди детей и ласково с ними прощаться, чтобы даже самые маленькие согласились сказать мне «до свидания» и отправиться наконец домой, стал и я, несмотря на одолевающее меня бессилие, как маленький и тоже не хотел уходить, потому что чувствовал, что другого такого праздника, другой такой любви не будет у меня уже в жизни. Я упряился и не шел за

Толгатом; тот сел на меня, но я не захотел везти его к гостинице, я хотел побыть еще немного здесь, на площади со сценой, — мало что так горько отдается в душе, как окончание праздника, как эти обыденные сборы по домам, эта повседневная изнанка еще живущего в тебе счастья; я все тянул и тянул и пошел под Толгатом, несмотря на его потуги, не по большой аллее, а по маленькой боковой, пусть и слабо, но все-таки кое-как освещенной: я увидел там Кузьму; мне хотелось просто положить хобот на плечо ему и постоять так. Тот говорил с женщиной в длинном черном платье и пухлой черной куртке — я признал священника, которого видел в толпе: тот подсаживал детишек повыше, чтобы им удобно было дотянуться до чистого места на исписанной ткани, и помогал им, кажется, из длинных цветных надувных трубок скручивать с громким скрипом некоторое подобие меня. Был этот священник высок и очкаст, седые волосы его были взлохмачены, короткая борода вилась, и мне показалось, что Кузьма от разговора с ним растерялся, — а с Кузьмой Кулининым, вы уж поверьте мне, такое нечасто происходило. Я подошел и встал рядом: класть хобот Кузьме на плечо показалось мне как-то неловко; говорили они тихо, и, если бы Толгат не тянул меня за уши, я услышал бы больше, но и сказанного мне хватило.

— Так, — сказал Кузьма. — Что точно — так это никакого велосипеда. На велосипеде по буеракам — это невозможно, вы не представляете, о чем говорите. Велосипед через пять минут окажется на подводе, а на подводе для него места нет.

— Он складной, — поспешно сказал священник.

— Никакого велосипеда, это мы вообще не обсуждаем, — сказал Кузьма. — Я и так не верю, что мы обсуждаем хоть что-нибудь. Ну хоть намекните мне. Вы за «Дельфинят» идете просить?

Священник помолчал.



— Я не хочу вам врать, — сказал он. — Я не верю, что это возможно уже. Там проси не проси...

— То есть вы хотите, отец Сергей, чтобы я вас вслепую взял, перед товарищами поручился, а вы мне причины не скажете, — покивал Кузьма. — Отлично.

— Так ведь, я вам если скажу, вы меня за дурака посчитаете, — уныло сказал отец Сергей и стал терзать свой маленький крест.

— Будет нас двое дураков, — вздохнул Кузьма.

— У меня картинки музей не берет, — сказал отец Сергей. — Я, видите, молодость в Тухачевске провел. Тухачевская Бумажная церковь, не слышали?

Кузьма внезапно вскинул голову, но промолчал. Священник этого не заметил.

— Ну неважно, — сказал он. — Картинок прихожане наши рисовали много — икон по сути, в этом-то все и дело, скульптуры делали, объекты. У меня дом этим забит-завален... Там не художественная ценность, речь не о ней, но оно ж история... А музеи на хранение не берут: боятся. Такие, извините, времена, вдруг проверка будет и в этом всем безбожие найдут? Я им говорю: а Гойя вам не безбожие? А «Демон» не безбожие? Но тоже понимаю, подневольные люди... У меня, извините, кошки писают, еле спасаю, трое детей в двух комнатах... Передать некому, все в тесноте живем. Надо просить.

— Понимаю, — сказал Кузьма. — Нет, это однозначно дело музейное. — И, помолчав, спросил: — Вы пешком хорошо ходите?

— По двадцать километров в день, бывает, вышагиваю, — быстро сказал отец Сергей. — Приход-то у меня аж в Коршуновке, а как-то так сложилось, что и моршанские... Ну и кого больного навестить надо, у кого день рождения, а то с подростком поговорить, сам не пойдет, а то бывают и печальные дела... Как-то так сложилось...

— Как-то так сложилось, — задумчиво сказал Кузьма.

— У меня ноги длинные-предлинные, старинные-престаринные, ужом, ужом поползу-у-у-у-у, — сказал отец Сергей Квадратов, завывая, и тут я понял, что эту фразу он не произносил вовсе — это сон, сон наваливался на меня. Тогда я побрел наконец к гостинице, и невыносимый человек Толгат перестал терзать мои уши. Впрочем, заснуть сразу не было мне позволено: маленькими ножницами Толгат прочистил трещины в ногах моих, полил эти трещины чем-то шипящим и так долго втирал мне в ступни масло, что я под конец не выдержал и прогнал его.

— А вот скажи мне, коммуникатор хренов, — обратился Зорин к Кузьме, вытирая салфеткою руки, измазанные в курице, и постукивая кулаком по бархатному бордюру манежа, — скажи мне, как получается, что эти бляди русофобские, эти все ренегаты сучьи от литературы, все эти бездари ебаные — они нас душат, ду-у-у-у-шат, — тут Зорин вытянул шею и очень впечатляюще закатил глаза, — они про свою ненависть к спецоперации на каждом углу орут — и их слышно, понимаешь ты, а наши — они молчат? Почему они молчат? Что их заставляет молчать? Что мы не так делаем, что они молчат, а? Что мы не так говорим, в чем мы их не так поддерживаем? Вот давай, объясни мне!

— Я чувствую, — сказал Кузьма, слизывая с губ куриный жир, — что у кого-то есть маленький секретик: кто-то одалживал у кого-то телефончик и читал в нем не только вконтактик, но и фейсбучек. И еще, небось, так и сказал кому-то: «Это будет наш маленький секретик».

Я слушал их без особого внимания, и дело было вовсе не в том, что день мы отработали тяжело: пришли в Рязань, опоздавши, бежали к месту выступления в большой суете, и потом я так долго крутил какой-то золотой жбан, вытаскивая из него беспроектные лотерейные билеты, что пальцы мои почернели от

типографской краски и порядочно разнылись (и теперь из-за пальцев я с трудом поел, хотя цирковые люди свое дело знали и нанесли мне, среди прочего, свежих веток, по которым я успел соскучиться, и вареной картошки, которую я любил и которой с начала путешествия в глаза не видел). Нет, не в этом было дело — я был взвинчен; здешние запахи оглушали и томили меня, а теперь подмешался к ним и запах жареного мяса, вернее, жареной курицы, от которого меня слегка мутило: из-за этого запаха я и в период дворцовой моей жизни избегал территории, прилегающей к кухням, а тут передо мной стояли на арене коробки с этой самой курицей, и деться мне, считай, было некуда, разве что отойти подальше. Так я и сделал; разговор теперь совсем был мне не слышен; но запахи! Бог с ней, с курицей; но я неотрывно думал об однажды рассказанной мне Муратом истории о человеке, который во время гибели мира решил спасти всех зверей и заодно свою семью. Он узнал эту историю от султаншиной камерунской козочки Анабеллы — султанше ее подарила болгарская императрица, женщина, воспитывавшая детей в большой набожности и часто почему-то говорившая с ними именно что о гибели мира. Мурат рассказал мне эту историю, когда решил объяснить, почему смеяться над зеброй Герберой дурно. Эту манеру Мурата я, каюсь, не любил, и, когда он говорил: «Я хочу рассказать тебе одну историю», я всегда знал, что вывод из этой истории будет неприятным для меня и осуждающим, пусть и мягко, какое-то мое поведение: то манеру иногда, шутки ради, подкрасться к задремавшему на поляне султаненку и из ранца у него обед вытащить, то привычку спать до полудня (господи помилуй, и когда я в последний раз спал больше пяти часов подряд! и где эти блаженные времена?..), а то любовь мою пошутить над Герберой, сделав сперва вид, что очень внимательно слушаю очередную ее сплетню, а потом громко и внушительно

захрапев и тем доведя ее до страшной обиды... «Я хочу рассказать тебе одну историю», — сказал мне Мурат мягко в холодный осенний день, когда для согреву мы с ним в темпе ходили туда-сюда по Золотой аллее, а обиженная уже Гербера плелась за нами, тупо цокая стертymi больными копытами и все еще бор-моча что-то себе под нос. Я, помню, вздохнул и при-готовился каяться, слушая историю вполуха, но рас-каз Мурата увлек меня: он был о том, как животные, ведя себя в целом отвратительно, много хуже, чем вел себя с Герберою я, навлекли на себя гнев Господень и тот решил смыть их всех в океан, дабы засе-лить землю новыми, и устроил бурю. К счастью, жил на земле человек по имени Нон, добрая и любящая душа, вроде моего Толгата: Нон построил огромный корабль, где собрал всех животных по двое и все вре-мя, пока бушевала насланная Господом буря, кормил нас и поил и заботился о встревоженных душах на-ших; и семья его помогала ему в этом, и Господь, уви-дев эти любовь и преданность, усмирил бурю, и так мы спаслись и снова вышли на землю и заселили ее. «Понимаешь ли ты, о чем этот рассказ?» — спросил меня Мурат осторожно. «Что же, — сказал я, — по-нимаю; о том, что никогда в жизни не предаст меня такой человек, как Толгат: он не только перед людьми мне заступник, но и перед Богом». «Хорошо, — сказал Мурат удовлетворенно, — а вот ответ мне: посмотри сейчас Господь на то, как ты в бонобо камешки бро-саешь, когда они спариваться начинают, и смеешься, когда они бесятся, и реши Господь, что переполнена чаша терпения его, и сочти он нужным наслать на нас бурю и смыть нас всех в океан — что, надо было бы взять с нами зебру Герберу?» «Я понимаю твой под-вох, — сказал я раздраженно. — Правильный ответ — что надо, да только смысла в нем большого нет: во-первых, во время бури она на корабле уморила бы нас всех своей болтовней так, что побросались бы мы

в воду по своей воле и некому было бы в итоге землю заселять; а во-вторых, даже если не убили бы мы себя или ее до конца бури, зебра Гербера собой дурна, стара и потомства иметь давно не может. Что ты против этого скажешь?» «А скажу я, — ответил мне Мурат с улыбкой, — что ты прав; да только не возьми Толгат на борт корабля зебру Герберу, Толгат уже будет не Толгат и никогда ты не сможешь прежними глазами на него смотреть». И я понял.

И вот сейчас словно был я на этом корабле, потому что слышал я и обонял десятки животных, скупенных где-то совсем рядом, в темноте, от меня в нескольких метрах, тоже взбудораженных, обоняющих и слышащих меня, но Толгат мой вместе со всеми ел, сидя на барьере манежа, жареную курицу и совсем не заботился о душе моей, а только слушал их и кивал и тихо улыбался; я же не понимал, что мне делать. Люди, отвечавшие за нас здесь, в Рязани, странно рассудили, что никто из сопровождающих моих разлучиться на ночь не пожелает, и ничего другого не придумали, как поселить нас здесь, на манеже цирка, всех вместе. Правду надо сказать, все было сделано, по их пониманию, для нашего удобства: раскладные кровати были расставлены на манеже и застелены, на мой вкус, очень красиво; еда была доставлена для спутников моих из лучшего, нам объяснили, ресторана; и так как присутствие Квадратова дало встречающей нас стороне чувство, будто люди мы весьма набожные, срочно был принесен сюда аналой с иконою. Но никто, никто не позаботился сказать мне, как я должен вести себя, никто не подумал познакомить меня со здешними обитателями, и я оказался в ужасном положении: меня, как личного слона Его Величества, надлежало, рассуждая одним способом, представить по всем правилам официально; рассуждая же иначе, это был шанс мой проявить скромность и легкость характера и, отбросив все официальные церемонии,

пойти внутрь и перезнакомиться со всеми попросту, но имел ли я на это право с точки зрения этикета? Не подвел бы я этим Кузьму и остальных людей своих? Я не понимал и ходил с места на место от маеты, пока люди мои укладывались спать; почти последним лег, помолившись пред иконою, Квадратов; только Сашенька, блестя пузиком, ходил еще где-то в поисках пульта, выключающего на манеже основной свет, но и Сашенька, погрузив нас в полутьму, залез наконец под одеяло. Я остался на манеже один.

Малодушие подкралось ко мне; что же с того, что знают они о моем присутствии и — я не сомневался в этом — прямо сейчас говорят о нем между собой? Я мог успокоить себя; наесться своим ужином до отвала так, что сон возьмет меня, хочу я этого или нет, а завтра утром мы выступим дальше, в Коломну; что же, останется по мне дурная слава зверя заносчивого — так я переживу и ее, и стыд свой. «А что бы сделал Кузьма на твоём месте?» — вдруг спросил меня голос, очень похожий на голос Мурата. О, Кузьма на моем месте не сомневался бы ни секунды — он пошел бы внутрь и был бы весел и прост, и все бы полюбили Кузьму, а через Кузьму и простоту, и тепло его все полюбили бы и совсем другого человека, того человека, которому каждым вздохом моим служить мне положено... Ноги мои задвигались: я понял, что сейчас или никогда. Шлепая резиновыми подошвами, ловко примотанными веревками к ногам моим (новое изобретение Толгата), я подошел к тяжелой занавеси, отделяющей манеж от внутренних помещений, и отодвинул ее.

Лошадей здесь было пять; я увидел их первыми. Стараясь идти легко и как бы подражая Кузьме, который, по представлению моему, нес бы голову чуть набок, а ноги бы слегка выбрасывал вперед, я подошел и представился очень просто. Эти рослые атлеты приняли меня хорошо и поздоровались по одной,

почему-то косясь влево. Тигр, бегавший по своей клетке кругами, сказал мне в ответ на приветствие, чтобы я, сука подментованная, на хуй шел; это задело меня больше, чем я готов был сознаться, и я двинулся дальше, растерянный; от двух медведиц пахло страхом — одна, подойдя к самой решетке, представилась по имени и фамилии и стала, кланяясь, зачем-то хвалить условия содержания, одновременно напирая на то, что рыбу дают прекрасную и чем больше ее давали бы, тем больше бы она была в восторге от этого места; другая медведица, ткнув ее кулаком в спину, сказала: «Гражданин начальник, не слушайте ее, дуру, харчи отменные, цирики наши — святые люди, жалоб не имеем» — и тоже почему-то посмотрела влево с большим интересом. Были и собачки; я поздоровался с собачками, склонив голову; те бойко пролаяли мне пожелания здоровья. Я ничего не понимал — что я ни спрашивал, какой разговор ни пытался завести, все говорили лишь о том, как хорошо им тут живет; и все косились, оглядывались, тянулись шеями куда-то вглубь, туда, откуда стелился странный, знакомый и одновременно незнакомый мне запах. Я шел туда и дошел.

Здесь было светлее, чем в прочих стойлах и клетках; сено было чище; она стояла ко мне спиной и словно бы не знала, что я здесь; сразу понял я, что это уловка, — и сразу понял и то, что уловка эта удалась; сердце мое задрожало. Она повернулась ко мне медленно: крошечные прекрасные ее глаза смотрели на меня сквозь решетку спокойно и оценивающе. Потом она сказала:

— Да ты громадина! Сколько же лет тебе, мужчина?

— Семнадцать, — ответил я поспешно, не понимая сам, зачем прибавляю себе год.

— Мне тринадцать, — сказала она. — Я Нинель.

Я едва слышал ее: впервые, впервые с тех пор, как умерли отец и мать мои, я видел одну из нас. В запахе



ее было что-то от запаха матери моей, но словно бы вывернутое наизнанку; я не мог бы этого объяснить, даже если бы меня спросили. Я разглядывал складочки там, где уши ее примыкали ко лбу. Мне невыносимо хотелось разглядить их пальцами, но она стояла далеко. Я не смог бы до нее дотянуться.

— Что же, Его Величества Персональный Боевой Слон, — сказала она, — поглядим на тебя, — и вдруг оказалась близко, совсем близко, и хмыкнула сидящая напротив старая горилла и получила от Нинели такой взгляд, что отползла, бормоча нечто себе под нос, в дальний угол своей клетки и оттуда теперь блестя жадными слезящимися глазами.

Вдруг Нинель замерла, словно что-то в моем запахе не то изумило, не то оттолкнуло ее. Я занервничал, занервничал страшно, желудок мой сжался; она молчала.

— Что, что такое? — спросил я испуганно, и голос мой оказался мне самому противен.

— Ты что же, не холощенный? — спросила она с удивлением.

Я понял ее и почувствовал, как жар заливает мне лицо; меня не выхолостили в свое время, вопреки всем настояниям Аслана, потому что султан наш мечтал завести собственную слоновью династию; ах, сейчас я готов был проклясть Аслана — на сей раз за то, что плохо настаивал!

— Нет, я не холощен, — умирая от стыда, сказал я и под мерзкое аханье гориллы повернулся, чтобы уходить.

— Стой, стой, бедняжка! — быстро сказала Нинель. — Как же ты живешь?

Я промолчал, потому что излагать ей ряд подробностей жизни моей не собирался, как и вам излагать не собираюсь.

— Ах, несчастный мой мальчик, — тихо сказала Нинель и покачала головой. — И я вижу: ни разу ты при этом на самку не всходил. Что, все так? Знаешь,

с трех лет я на контрактах, ни отца-матери не помню, ни откуда вывезли меня, зато мужиков наших пере-видала — дай бог, уж поверь мне, а не видела такого бедняжки. Бедный, бедный мой мальчик.

Я вдруг разозлился страшно. Что ей надо от меня, этой наглой маленькой кокетке, пахнущей яблоками и мускусом так, что у меня от жара и напряжения дрожали пальцы и ныли ноги? Что позволяет она себе? Какое у нее право говорить со мной как с ребенком, у которого коленка сбита? Я отлично помню, кто я и что уже смог и претерпел и какая еще впереди миссия меня ждет; ни одна постыдная подробность порядка физиологического этого изменить не может, и более того — я почти готов был сказать, преодолевая стыд, что я не собачка цирковая, чтобы холостить меня: может, и слава богу, что сохранен я был в целости, — хорош бы был боец из отца моего, выхолости его кто в детстве! Эта мысль придала мне сил: с презрением поглядев на маленькую бурую красавицу, я стал пятиться от нее прочь и пятился, пока не ткнулся задом в гориллью клетку. Горилла заверещала и дернула меня за хвост, что окончательно меня разозлило. Эти звери явно не понимали, кто я; ну так я готов был им объяснить.

— Послушайте, пожалуйста, — сказал я, обращаясь к Нинели и стараясь голосом дрожи своей не выдать. — Жалость ваша и снисходительность не нужны мне. Жизнь моя высшей цели подчинена, и мне вовсе ни к чему...

— Ну-ка поди ко мне, малыш, — сказала Нинель, и я пошел. Хоботом она обвила мой хобот, а потом сказала тихо: — Хочешь, я дам тебе?

Я задохнулся.

— Нет, — сказала она с сожалением, — не получится у нас через решетку, ты не раскорячишься так. — И, не давая мне ни выдохнуть, ни слова промямлить, покачала, глядя на меня сочувственно, аккуратной

своей головкой; потом задумалась и сказала: — Что же, давай я повернусь. Ты хоть пощупай-понюхай, какое оно у женщины там. Да не думай об этой старой обезьяне, она давно из ума выжила, ее за старость лет держат, она на манеж полгода не выходила, а так она добрая. — И крикнула, взглядываясь в клетку напротив: — Слышишь, ты, макака лысая? Тихо сиди, я тебе яблоко кину!

Горилла радостно заухала, но мне было не до гориллы: девочка моя повернулась ко мне маленьким, прелестным, обвислым, морщинистым задом и стояла так, пока я, умирая от зуда в чреслах и боясь сделать лишнее движение, касался ее и обонял, раздвигал складочки и гладил бедра под сладострастное гориллье бормотание, и Нинель вдруг, смутившись, резко повернулась ко мне лицом и сказала:

— Ну полно, уходи. Да знай: ты хороший мальчик. Запомнишь? Повтори-ка.

— Я хороший мальчик, — повторил я безвольно не своим, низким голосом, и она отпустила меня, и я пошел обратно на манеж, и ясно мне было, что всякий зверь, которого я вижу на пути своем спящим, лишь притворяется таковым.

Чресла мои горели; я должен был начать как можно скорее тереть их; на манеже спали в пахнущей зверями полутьме спутники мои, и я нашел почти мгновенное спасение, пристроившись беззвучно к краю бархатного ограждения ровно там, где стучал по нему кулаком досадующий на литературных ренегатов Зорин.

Сердце мое колотилось, и медленно росло во мне чувство горя — горя жаркого, неизбывного, постыдного, горя такого, словно я совершил нечто дурное, от чего теперь никакого излечения моей душе нет. Повторите: я уже не помнил Нинель; неважна была Нинель, вместе с семенем выплеснулось из меня всякое переживание, связанное с этой женщиной в клетке. Шлепая резиновыми подошвами, я заметался по манежу;

спящий Квадратов ответил мне ворчаньем, но это было для меня уже все равно — я не находил себе места. «Ну давай похулиганим с тобой, да? Ты ж мужик, а я баба, ну чего нам не похулиганить, да?..» — вот что за голос змеился сейчас у меня в ушах; я хватал воздух ртом; мне казалось, ах, мне казалось, что Катерина моя — моя, моя Катерина! — сидит сейчас у меня на загривке, прижимается голым телом к затылку моему, но в то же время я знал, я знал, что нет больше Катерины, и все это внезапно так страшно и ясно улеглось у меня в голове, что мне пришлось сцепить зубы, чтобы не затрубить от боли в голос. Я заставил себя перестать бегать; я остановился; дышать было тяжело. Я подошел тихо к той раскладной кровати, на которой спал Кузьма, и, стараясь не разбудить его, лег рядом и закрыл глаза, в которые словно песку насыпали. «Как же ты идти будешь завтра, если сегодня не заснешь?» — сказал я себе с тоской, готовясь к мучительной долгой ночи, и сразу же, немедленно заснул и пожалел об этом: приснилось мне тут же, что из висящего в воздухе яблока, брошенного Нинелью старой горилле, вырывается обхамивший меня тигр — пасть его, воняющая мясом, распахнулась прямо в лицо мне, я же лежу неподвижно и не могу даже на ноги вскочить, чтобы позорно броситься бежать от него, а о том, чтобы дать ему отпор, и речи не идет — такой страх сковывает меня. Наконец удастся мне пошевелить правой передней ногой, и я собираюсь ударить его по жуткой, раззявленной полосатой голове, но все движения мои страшно медленны, и откуда ни возьмись появляется нацеленное в эту самую ногу взведенное ружье, то самое ружье, которое убило Катерину, и говорит мне: «Давай, попробуй только ударить простого русского человека, царский слуга, ты у меня надолго это запомнишь!» Тигриная пасть медленно-медленно приближается к моему хоботу, вот еще секунда-другая — и мне конец, и я знаю,

что только Катерина одна может меня спасти, но Катерина на бесконечно длинных слоновьих ногах покачивается где-то далеко-далеко, и я вижу только ее мертвое лицо да красную дырку в животе, из которой невозможно, сладко, жарко пахнет промежностью маленькой Нинели, и я проснулся от ужаса и желания в таком состоянии, что, ровно как в моем сне, не нашел в себе сил пнуть ногой Аслана, озабоченно передо мной суетившегося: оказалось, что все уже проснулись и, увидев, как я лежу и стенаю, очень разнервничались, особенно когда не смогли сразу меня добудиться. Я тяжело поднялся на ноги, чтобы успокоить их; нам принесли завтрак. Сквозь окна, идущие кругом циркового купола, пробивалось солнце. Я знал, что любви никогда не будет больше места в жизни моей; ничему подобному я больше не позволю с собой приключиться. Страшная ночь кончилась.

На прощание к нам привели школьников — фотографироваться со мною и с маленькой бронзовой фигурой слона, установленной перед цирком. Зорин очень мило понаписывал этим школьникам открытки, которые они для него сделали и ему хотели подарить, а он любезно им эти самые открытки подарил обратно. Был мокрый, светлый, звонкий апрельский субботний день; мне шлось легко, принятое решение холодило мне мозг, я был царский слуга и ничего больше и знал, что ничем никогда больше не буду. Подвода наша постукивала по асфальту; мерин Гошка, оказавшийся большим любителем поговорить, болтал, не закрывая рта, о своих батьке с сестрицей, которые остались в Богучаре и по которым он, видимо, сильно тосковал; когда же эта тема исчерпывала себя, он переходил на «сраную русню» и пересказывал мне с ненавистью все, что видел в стойлах по телевизору. Я слушал его внимательно; мне о многом хотелось спросить, я ждал только момента, когда Яблочка не будет с нами рядом и он не будет фыркать на каждое

Гошкино слово так раздраженно и не будет раз в три минуты вскрикивать: «Тошнит же! Да перестань, тошнит же!..» В результате я не заметил, как мы встали на одном месте и довольно давно уже стоим.

Я очнулся: на перекресток нас не выпускали два человека в черном, с круглыми стеклянными головами, и от вида их настроение мое тут же испортилось: о, я помнил таких, помнил хорошо. Кузьма пошел к ним вперед, и я увидел, как он достает золотую свою бумагу; тут же они подобрались и откозыряли ему. Кузьма помахал на них рукой, и я услышал, как он спрашивает:

— Так, а что, долго стоять-то будем?

Люди со стеклянными головами переглянулись; лиц их я не видел, но по всему понятно было, что отвечать им не хочется. Наконец один из них сказал:

— Думаем, минут пятнадцать-двадцать, товарищ... господин ваша честь. Антиобщественное поведение в загсе, где-то тут бегают, сейчас перехватим.

— Господи помилуй, — изумился подошедший Сашенька, — что ж они там в загсе делали? Перепились?

Стеклоглавцы опять замялись.

— Да говорите как есть, — сказал Кузьма, улыбаясь. — От нас какие секреты, вы же сами понимаете.

— Тем более от меня, — сказал, скромно вскидывая ресницы, Сашенька и вытащил из кармана какую-то маленькую синенькую книжечку.

При виде книжечки стеклоглавцы одновременно подтянулись и оживились.

— Разрешите представиться, — сказал один и представился по полной форме, на всякий случай откозыряв еще раз, причем дубинка его, качаясь на запястье, чуть не дала маленькому Сашеньке по носу. Фамилия его, как выяснилось, была Евсеев. Второй оказался Мусаевым, но козырять не стал.

— Так что, пришла пара ребят молодых, значит, в загс заявление подавать, вроде выглядят нормально.

Девушка высокая, пацан поменьше. Стали что-то там подписывать, сотрудница, значит, смотрит, а они бумажками меняются. Ну и, короче, девушка — это мужик, а пацан — это, значит, девушка. И говорят: а мы транс. Так им сначала повезло еще, сотрудница пожалела их, старушка, говорит: ребята, не дурите, уходите потихоньку, придите нормально одетые, примем заявление, дальше делайте что хотите, не моя забота. Короче, оказалось, они это нарочно, у них гости все — блогеры какие-то, либерасты хуевы — вы извините, — пресса какая-то, иностранцы еще. Берут, разворачивают, значит, флаги свои полосатые, и начинается: никуда не уйдем, принимайте заявление, какая вам разница, как мы одеты, это дискриминация, и давай все снимать. А в загсе еще люди, многие с детьми пришли, вот же суки, такой день людям портить! Ну, сотрудники в полицию позвонили, конечно, охрана их взяла, стала выводить, они орут, ну, тут уже винтилово пошло, мы автозак подогнали, так ребята наши мягко еще, не хотели на камерах и на людях это самое... Ну и людям праздник портить... Короче, они как рванули и где-то тут бегают, вы уж извините, а это пропаганда, сейчас разберемся, мы тут перекрыли пару улиц... Минут пять—десять буква...

И тут я увидел их. Они бежали на нас — выбежали слева из-за угла, выбежали, держась за руки, — две фигурки, одна в длинном пуховике на короткое белое платье, вторая в короткой куртке поверх черного костюма с радужным галстуком, и я не понял даже, зачем они бегут посередине улицы, их же видно, зачем же они бегут? — и тут за ними из-за поворота выбежали те, другие. Человек десять, и видно было, что некоторые, в черном, бегут уже долго, от самого загса, а другие, просто люди как люди, присоединились к ним прямо на улицах, что эти бегут недавно, бегут, потому что хотят бежать, и именно они кричали: «Да

они щас влево возьмут! Слева их обходите, пидарасов!..» или «Мишка! Миха! Я справа зайду!..» Фигурка в платье явно могла бежать быстрее, но тащила, тащила за собой фигурку в костюме, и люди в черном уже нагоняли их, они неслись по проезжей части под крики «Стойте, пидары!.. А ну стоять!..» — и вдруг, пытаясь соскочить с проезжей части на узкий тротуар, чтобы нырнуть в проходной двор, фигурка в платье, которой мешал, очень мешал длинный, широкий, болтающийся за спиной черный пуховик, споткнулась и выпустила руку фигурки в костюме. Та помчалась вперед, потом резко затормозила — и успела увидеть, как плашмя падает фигурка в платье, и как быстро переворачивается на спину, и закрывает лицо руками, и лежит. Фигурка в костюме бросилась назад, упала рядом с фигуркой в платье на колени, затрясла ее и попыталась поднять.

Лежит на асфальте маленькая женская фигурка в длинном черном пуховике, лежит, не шевелится. Трясет ее за плечи мужская фигура в черном костюме.

Что я помню дальше? Буквально несколько секунд.

Я помню мелкую дрожь в ногах и в животе, от которой мне внезапно делается смешно: как будто муравьи ходят у меня под кожей и мне всему целиком хочется чесаться.

Я помню, что передние ноги мои вдруг поднимаются на уровень моих глаз и снова делается мне смешно: да я вроде циркового слона сейчас!

Я помню, как иду на стеклоголовых, и вот уже нет на моем пути никаких стеклоголовых, иду на тех, в черном, кто пытается поднять с земли сопротивляющуюся, бьющуюся, как рыбки, о землю пару фигурок, — и вот уже нет рядом с парюю никого, никого.

Я помню, как ярость и ясность звенят в голове моей и как мне от них замечательно и прелестно, а еще помню четкое ощущение: как бы я ни захотел, ничего я с ними сделать не смогу; голос Нинели отчетливо



говорит у меня в голове: «Э, да это муст, мой хороший мальчик!» — и я с интересом думаю: «Э, да это муст!..»

Я помню, как отдаю себе отчет, что через несколько секунд уже не буду способен запомнить ничего, — ярость заполняет мой мозг, вытесняя ясность, тягучая, слепая, алая ярость, накопившаяся во мне за эти добрых два месяца.

Я помню, как Квадратов, ставший крошечным, крошечным квадратиком, мужественно встает передо мной, когда я в очередной раз поднимаюсь на задние ноги и трублю, трублю песнь моей ярости во всю силу своих легких, и пытается говорить со мной ласково и разумно, и помню, как успеваю подумать, что он хороший человек, Божий человек, будь я способен разбирать слова его, я бы, наверное, им внял, да вот увы.

Я помню, как Кузьма кричит Аслану:

— Сделайте что-нибудь! Да сделайте же что-нибудь!..

И Аслан, сжавшийся в комок у Кузьмы за плечом, кричит ему:

— Мне нужны иголки! Иголки и сладкие булки!..  
Надо начинить булки иголками!..

И последнее, что я запомнил, перед тем как пошел своей дорожкой, — это кулак Кузьмы, точно и основательно прилетающий Аслану в глаз.

## Глава 13. Григорьевское

Не помню, как явился я в Григорьевское и что натворил в Григорьевском и как я убрался оттуда.

Не просто ел я, нет, — я каждый кусок смаковал бы, если бы следующий кусок не манил меня так невыносимо. Весь рот у меня был в креме и крошках, и хобот в креме и крошках, и бивни в креме и крошках. Одно бесило меня — что те, кто (по видимости) разложил для меня здесь эту замечательную, потрясающую еду, подобной которой я в жизни своей не пробовал, зачем-то каждый отдельный торт упаковали в какие-то пластиковые прозрачные коробки, страшно мне мешавшие; мне приходилось кидать их на пол и мять легонько ногой, пока они не ломались; но они ломались, к счастью, быстро и легко, и, господи, как же вкусно, как же хорошо мне было! Если бы еще не звук этот, не этот ужасный звук, словно визжала надо мною целая стая бонобо, требуя и себе порцию, и не странная боль во всем моем теле, будто много-много недель одновременно били, кусали и резали меня, при этом ни на секунду не давая прилечь... Еще и голова моя, казалось, была стянута ледяным колпаком — я пару раз даже проверил хоботом, не надета ли на мне случайно мокрая шапка, любовно связанная мне Сашенькой, но всякий раз тут же и вспоминал, что, как только погода сделалась теплей, Сашенька эту шапку с меня снял, просушил хорошо на солнце и убрал куда-то в глубь подводы... Но что это я говорю о шапке — господи, как же я ел! Только голод мой все не утихал,

и я попытался воскресить в памяти, будто бы сквозь какую-то серую пелену, когда же это я ел в последний раз? Вспомнил я, как завтракал в цирке на манеже; потом вдруг словно ударило меня что-то в переносицу — вспомнил я... Словом, вспомнил я, что последовало за тем завтраком; а дальше что же было со мной? Помню, как на каком-то шоссе видел колонну велосипедистов и стал валить их в грязь по одному и тех, кто пытался уехать от меня, догонял и валил, и помню, как хрустит велосипедное колесо и как долго торчала у меня из-под колена спица, а мне и вынуть ее было недосуг; помню избу и как сквозь ту избу иду и какая-то бабка мискою на меня машет, а я на задние ноги встаю и взреываю, и она миску роняет, а мужик ее за телевизор прячется, а в телевизоре показывают лошадиный секс; помню, как несусь я по лесу, а надо мной небо черное мелькает среди веток, и бешено, бешено мне, а за мною два волка мчатся и лают, задыхаясь: «Да ты стой, мужик! Да стой, попиздим, мужик!..» — а мне так бежится, так бежится, что я глаза закрываю и вдруг со страшным треском врезаюсь в дерево и валяю его, и надо мной начинает рыдать, мечась и проклиная меня, целая семья обездомевших соек, а мне бежится, мне бежится бешено, бешено, бешено, и я бегу... Липкая, приторная тошнота вдруг поднялась во мне; я отрыгнул заварным кремом и сглотнул его с отвращением. Ледяная шапка на голове превращалась в раскаленную, от головной боли я похлопал веками — свет мешал мне; звук, представлявшийся мне прежде визгом стаи бонобо, оказался воем какого-то прибора; с трудом развернувшись и пошатнув какую-то полку, заставленную печеньем, отчего она медленно, с грохотом, завалилась назад, я увидел выбитое огромное окно и красно-синее свечение, исходящее от белых с синим машин за этим окном, и вдруг выключилась чертова сигнализация и стало так тихо, что звон в моих собственных ушах оглушил меня. И тогда

в разбитое окно, пригнув голову, чтобы не порезать лоб о край висящего кое-как и покачивающегося на ветру стекольного осколка, осторожно вошел Зорин.

Меньше часа спустя лежал я на оцепленной поляне у стен Коломенского кремля. Боль догнала меня: болело у меня все; были со мной лишь Аслан, ползавший по мне с инструментами да пластырями да шипучей жидкостью, каждая капля которой причиняла мне страдание, и Толгат, сидевший около моей макушки и гладивший бедную мою голову, и Зорин с Мозельским, беседовавшие в стороне с полицейскими: остальные ушли заселяться в гостиницу неподалеку. Стыд, жгучий стыд мучил меня сильнее боли, а к стыду этому подмешивался лютейший страх, от которого немели щеки: что теперь сделают со мной? Надежды на лучшее не было ни малейшей, и я решил, пока Аслан терзал мою плоть, вынимая из нее осколки стекла и занозы и смазывая кровоподтеки и ссадины, подвергнуть терзаниям свою душу, устроив с собою честный разговор об ожидающих меня перспективах. «Что же, — сказал я себе, — сегодня же вечером ждет тебя, видимо, военный суд, какой положен всякому служивому, самовольно покинувшему службу. Председательствовать на нем, ясное дело, будет Зорин, и с ним будут осуждать тебя, надо полагать, Сашенька и Мозельский, как они есть люди с оружием. На защиту твою, если положена тебе вообще защита, может быть, позволено будет встать Кузьме, а скорее что и нет. Приговор тебе, ясное дело, вынесен будет один из трех: либо казнят тебя, что очень даже вероятно, либо приговорят к заключению на срок, какой покажется им соответствующим грехам твоим, либо, неведомо какой милостью, просто с позором уволят тебя и вышвырнут вон со службы. Лучше бы всего тебя казнили — на том и кончатся страдания твои; заточение ужасно, ты видал его своими глазами, — что ж, ты его заслужил и вынесешь с достоинством,

а не вынесешь, так ты уж как-нибудь добудешь иголок... Но если вышвырнут тебя вон, если с позором придется тебе идти сегодня же ночью куда глаза глядят...» При этой мысли не сдержал я стога, и Аслан, решив, что каким-то особым способом причинил мне страдание, не в пример себе сказал: «Ну-ну, потерпи, бедный скот, немного осталось: я уже почти в ногах...» Самое ужасное было, что резиновые мои шлепанцы продержались на мне все это время, но веревки от них так изрезали мне голени, что я помыслить боялся о том, как Аслан их снимать будет, и если бы раньше за «скота» лупанул я его хоботом или двинул ногой, то сейчас решил, что заслужил это слово сполна, и даже не пошевелился.

Я пытался представить себе, куда пойду в случае увольнения; я уже рисовал себе картину, как останусь здесь, в Коломне, и буду побираться у Кремля, фотографируясь со взрослыми и катая детей, пока гниющие мои ноги не доведут меня до гангрены, когда Зорин завершил разговор свой с полицейскими и направился к нам, сдвинув брови и оживленно переговариваясь с Мозельским. Сашенька шел рядом с ними, покачивая головой. Я задохнулся от страха и, плюнув на Аслана, начал было подниматься на ноги — я собирался встретить судьбу свою стоя, — но от слабости ноги подкосились, и я снова рухнул. Зорин сел у меня в головах рядом с Толгатом и некоторое время молчал, а потом спросил:

— Что, как он?

— Слабый, но ничего, ничего не поломалось, — ответил Аслан бодро. — Так, побиватый и поранкатый.

Тут Зорин неожиданно захохотал.

— Ну мужи-и-и-и-ик! — протянул он. — Во русская душа оказалась! Не думал, что в этой тряпке что-то такое есть. Здоровая злость, а? И крепкий, бычара, а? — Тут Зорин так толкнул Толгата локтем в бок, что Толгат ойкнул. — Григорьевское измолотил,

пол-Рязани потоптал, а сам только побиватый и поранкатый! А ниче так! — И, вскочив на ноги, Зорин с неожиданной нежностью почесал меня за ухом. — Ну, — сказал он, — пойду и я в гостиницу. Три дня не мылся, блядь. Намотались мы за тобой, дубина стоеросовая, а? Если бы неизвестно кто, стрельнули бы в тебя парализаторами и дело с концом. «Не препятствовать...» Я только молился Божечке, чтобы ты людей топтать не начал, псих ты ненормальный. — И, поправив пояс, Зорин тихо сказал Аслану: — Верите, Аслан Реджепович, каждый раз, когда это пейджер наш благословенный срабатывает, я думаю, что у меня сердце разорвется... Спасибо вам за ту таблеточку... Самому неловко...

— И все хорошо, — тихо ответил Аслан. — Есть еще, вы прихаживайте.

— Ну, дай бог, я уж больше так не расчувствуюсь, забудем, — смущенно сказал Зорин. — Сильно между нами, да?

Аслан только кивнул и улыбнулся, и успокоенный Зорин, зачем-то потерев ногой мне живот, крикнул полицейским:

— Спасибо, ребята! — А потом сказал, обращаясь к Толгату: — И вам спасибо, Толгат Батырович. Ночь они тут в оцеплении простоят, пока балбес наш отлежится. Спальник, одеяла сверху, еду — все сейчас Мозельский принесет, да, Мозельский?

— Все принесу, — охотно кивнул Мозельский.

— Хорошо, — сказал Толгат, улыбаясь.

— Святой вы человек, Толгат Батырович, — сказал Зорин. — Я уж позабочусь, чтобы все это было отмечено как следует.

Толгат снова улыбнулся, опустив голову, и они ушли, и ушел вслед за ними Аслан, дав Толгату несколько наставлений по поводу того, что надо не давать мне сдирать пластыри и чесать ссадины, как будто я был идиотом. Минут через двадцать вернулся из

гостиницы Мозельский, неся на спине огромный, увязанный в простыню тюк со спальными принадлежностями для Толгата, а в руках — еду для него; позже, еще где-то через полчаса, расступились полицейские и пропустили к нам людей, привезших на небольшом тракторе поесть и мне, да мне было не до еды. Мягкое, тягучее блаженство охватило меня и смешалось с болью в теле моем — блаженство помилованного, блаженство души, избежавшей страшной участи. Я не мог понять, как это произошло со мной, но понимал, что какой-то момент в поведении моем, ужасном и постыдном, вызвал умиление Зорина, и от этого было мне еще стыдней, но стыд этот, сжавшись в комочек, лежал сейчас где-то на дне моего желудка и не подавал голоса. О, я знал, что завтра он нагонит меня, что завтра все нагонит меня, что завтра совсем другие думы будут терзать душу мою; но сейчас я бессовестно плыл по волнам облегчения; я не думал ни о настоящем, ни о будущем, а только знал, что есть у меня, вопреки ожиданиям, настоящее и будущее: я был счастлив, незаслуженно и оттого еще сладостнее счастлив. Кто-то прошел мимо меня по траве и остановился перед лицом моим: я не открыл глаз, но узнал запах: пахло так, как пахнет из дверей церкви, как немного пахло от рыжей женщины, лечившей Зорину ногу, и еще пахло тяжелыми зимними сапогами, поношенной курткой, незажженными сигаретами. То был Квадратов: я подивился, что он здесь, но и Квадратова я сейчас любил и уверен был, что если он пришел сюда, то пришел с хорошим делом.

— Я составлю вам компанию, Толгат Батырович? — сказал Квадратов. — И покурить хочется, и слоника еще посмотреть хочется...

— Вы добрый человек, отец Сергей, — ласково сказал мой Толгат.

— Ну и спасибо вам, — ответил Квадратов. — А я нам из гостиницы подушки украл, чтобы на них



зады наши примостить, а то что на траве сидеть. Вы курите?

— Курил в девяностых много-много, — сказал Толгат, — а потом перестал, как женился, жена говорит: «Ты умрешь, а мне детей поднимать». Я подумал: «И правда, нечестно», взял да бросил. Трудно было, а бросил. Мне пейджер помог.

— Это как? — с интересом спросил Квадратов.

— А я сделал, чтобы мне на пейджер каждые два часа сообщение приходило: «Ты умрешь, а мне детей поднимать», — сказал Толгат, рассмеявшись. — Вроде шутка, а страшно! Очень помогло.

— И долго приходило? — понимающе спросил Квадратов.

— Четыре месяца, — сказал Толгат серьезно.

— Понимаю, — сказал Квадратов. — А я курю редко, мне матушка сама говорит иногда: «Отец, покури», — в смысле, пойдя на балкон нервы успокой. Мне помогает. У вас сколько?

— Двое, — сказал Толгат.

— У меня две девчонки. Хорошие, — сказал Квадратов. — Ваши какие?

— Кажется, неплохие, — сказал Толгат. — А мою ситуацию вы знаете, наверное...

— Я говорил немножко с Кузьмой Владимировичем, — осторожно сказал Квадратов.

Толгат помолчал.

— Разберемся, — сказал он тихо. — А что, сегодня вы курите?

— Нервы, — сказал Квадратов.

— Это мы вас так расшатали? — спросил Толгат. — Вроде как все же разрешилось? Вон, лежит наш беглец...

— Да нет, тут другое, — сказал Квадратов. — У меня есть близкий человек здесь, в Коломне. Семинарский наставник мой... Духовником моим несколько лет был. Удивительный, невероятный человек. Мы после семинарии раз пять виделись, два раза в тяжкие моменты

жизни моей я к нему приезжал, в фейсбуке друг друга читали-лайкали, он поразительный, честный, ясный. Не знаю, понимаете ли вы, что это сейчас значит.

— Мне кажется, отлично понимаю, — сказал Толгат.

— Ну вот, — сказал Квадратов. — От преподавания он, конечно, в последние годы отошел, попросил себе маленький приходец, дали ему... И вот я позвонил, говорю: прошу вас очень повидаться со мной, мне, говорю, как никогда надо, времена такие... А он мне отвечает: слава тебе, Господи, что ты позвонил, сын мой, до завтра не ждет, я сейчас поговорить с тобой хочу. И такая выяснилась грязная история...

Квадратов молчал, молчал и Толгат. Наконец Квадратов заговорил тихо, словно было кому его услышать, хотя полицейские наши стояли далеко.

— Есть у него в приходе школьный учитель — умный, верующий человек, самостоятельно к вере пришел, еще ребенком, сейчас ему под сорок. Учитель он прекрасный: ученики к нему домой ходят, он с ними вылазки совершает, на природу, в горы, да просто в парк с ними выйдет букашек посмотреть... Знаете, да, какой учитель, про что я говорю?

— Слава богу, знаю, — сказал Толгат. — Боюсь только дальше слушать.

— Не-не-не-не, не это, — спохватился Квадратов, — не такое! Вы послушайте, оно не такое, а все равно тошно... И вот месяц назад, что ли, рассказывает он своим чадам на уроке про дарвинизм. Все хорошо вроде идет, хорошо рассказывает, дети даже и смеются, он им обезьянок рисует. И говорит, что по нам видно, что мы произошли от обезьян: вот и руки у нас, и то, и се, и про копчик говорит, а по некоторым, говорит, чиновникам в телевизоре так прямо с первого взгляда видно, что они от обезьян произошли.

— Ах ты ж твою мать, — тихо сказал Толгат.

— То-то и оно, — вздохнул Квадратов. — Разошелся человек, увлекся. Ну вроде бы никаких проблем, дети

посмеялись, звонок прозвенел, пошли дети в другой класс. И самые лучшие из этих детей, самые умные и талантливые, мальчик и девочка, на большой перемене стали рисовать картинки, какой чиновник у нас в телевизоре от какой обезьяны произошел: Лавров, значит, от гамадрила, а Шойгу, значит, еще от кого-то там... Пятиклассники, что сказать... Ну и пошли эти рисунки по рукам и прямо к завучу на стол легли...

— Господи, — сказал Толгат, — бедные дети.

— Дети бедные, родители у них бедные, да это же не все, — с болью сказал Квадратов. — Дети-то — герои, отказались про учителя говорить, откуда у них такие идеи, сказали сначала: «Все знают, что человек произошел от обезьяны!», ну да шила в мешке не утаишь. Короче, расклад сейчас такой: детей родители из школы забрали на домашнее обучение, это беда, но это полбеда; а вот против учителя собрался родительский комите-е-е-ет, и сегодня весь город только о том, как мне было сказано, говорит и пишет, и уже до столичных медиа докатилось, что на учителя в суд подано и задержан он по делу о дискредитации власти и какой-то там пропаганде детям чего-то: с сегодняшнего дня в СИЗО.

Толгат издал какой-то звук, которого я не понял, а только повернул голову так, чтобы их обоих видеть.

— И вот звоню я своему наставнику, — продолжил Квадратов упавшим голосом, — а тот мне и говорит: «Вызвали меня высшие силы и велели идти свидетельствовать». Я: «Куда свидетельствовать?! Что свидетельствовать?!» А мне говорят: «В суд экспертно свидетельствовать! Твой прихожанин, тебе и свидетельствовать, если ты, конечно, хочешь с приходом остаться». А им говорю: «Да что же я скажу? Что чиновники от рыб произошли?..» Ну, дальше такое пошло... Не буду вас, Толгат Батырович, утомлять нашими делами церковными, и то спасибо, что выслушали. А только самое время мне покурить, видите. Совета

он у меня просит — а какой тут совет... Сказал, что подумаю, а все мысли вокруг одного крутятся: как ни сделай — пропал он. Великий этот человек, удивительный человек — пропал. Либо телом пропал, либо...

— Жалко мне вас очень, отец Сергей, — сказал Толгат печально.

— Да что меня-то? — изумился Квадратов.

— Ну у кого в такой ситуации совета просят, того тоже очень жалко, — сказал Толгат.

— Спасибо вам большое, — сказал Квадратов удивленно.

— Хотите, я вам сам непрошенный совет дам? — сказал Толгат, помолчав.

— Очень благодарен буду, — сказал Квадратов.

— Вы же про Бучу, наверное, знаете? — тихо спросил Толгат, оглянувшись на полицейских. Те стояли далеко.

— Знаю, — тихо сказал Квадратов. — Буча, Ирпень, Мариуполь...

— Вот ответьте мне, — сказал Толгат еще тише, — мог Господь там помочь?

Квадратов покачал головой и сильно затынулся.

— Ну и вопросы вы задаете, Толгат Батырович, — печально сказал он. — Хотите очень прямой ответ? Я так думаю — нет, не мог.

— Ну так и вы не можете, — просто сказал Толгат и потащил из квадратовской пачки сигарету. Квадратов перехватил его руку, отнял сигарету и положил ее обратно в пачку. Толгат улыбнулся и встал.

— Замерзли вы совсем, я вижу, — сказал он. — Спасибо вам большое, что со мной посидели. Вы идите спать, и я ложиться буду.

— Это вам спасибо, Толгат Батырович, — сказал Квадратов, вставая. — Вы уж извините меня за нытье. Развезло попа...

И с этими словами он пошел прочь — длинный, худой, лохматый, задевая молодую траву влажным

подолом рясы. Толгат же обошел меня, осмотрел внимательно, не кровит ли у меня из-под какого пластыря или из-под какой повязки, заметил оставленный Асланом пустой стеклянный пузырек и бережно прибрал его в свою котомочку. Затем постелился, как мог, прямо у меня под животом для пущего тепла и залез, одетый, прямо в куртке, в спальный мешок. Я тоже, как сумел, прижался к нему животом, но долго чувствовал, что он не спит. Не спал и я. «Господи, — думалось мне в тоске и тревоге, — Господи, Господи, Господи!», а что «Господи!» — я и понять не мог. И когда утром, на рассвете, выходили мы из Коломны в сторону Бронниц и увидел я, как заделывают стеклом витрину разоренного мною магазина и растягивают над той витриною большую красно-зеленую тряпку, на которой нарисован радостный слон, поедающий торт, и написано огромными буквами: «Царское качество!!!», я снова подумал в тоске: «Господи!» — и снова не нашел слов, какими надо было бы продолжить.

— Но вот что повидаться ни с кем нельзя — это жопа, конечно, — сказал Зорин с набитым ртом. — Ух-х-х-х.

— Отчего мы в лесу и ночуем, — сказал Кузьма, отхлебывая чай из бумажного стаканчика и морщась. — Я не дурак. К показу придем и с показа прямо уйдем.

— И опять ночевать в лесу будем? — с тоской спросил Мозельский.

— Почему в лесу, — сказал Кузьма. — В Балашихе ночевать будем. Я добрый.

Мозельский пробормотал что-то, на что Кузьма предпочел не обратить внимания. Сашенька осторожно ткнул Мозельского локтем в бок, поворошил палкой угли в костре, нашел еще картошечку, наколол ее сучком, предложил вежливо всем по очереди и, получив отказ, принялся аккуратно чистить.

— У меня с ней знаете как было? — сказал Зорин. — Я ее первый раз увидел — сердце зашло. Пять утра, я с поезда сошел, из Орла своего плацкартой ехал, денег не было ни копейки. Стою, смотрю и понимаю: все, это на всю жизнь. Говорю себе: дыши, дыши, это важней, чем первый поцелуй. Поцелуй, там, обжимашки, то, се — это все может слюбиться-разлюбиться, поболеть и закончиться. А это, Зорин, навсегда любовь: любить она тебя будет, мучить она тебя будет, обнимать будет, отталкивать будет — все неважно; она твоя навеки, а ты ее. Забудешь ее — сердце твое разорвется.

— И правая рука отсохнет, — кивнув, добавил Кузьма.

— Почему отсохнет? — удивился Зорин.

— Так, к слову пришлось; неважно, — махнул свободной рукой Кузьма.

— Ну тебя, — сказал Зорин беззлобно. — У меня про нее стих есть. Хотите, прочту?

— Как не хотеть, — сказал Сашенька.

Зорин зажмурился.

Она, красавица, лежит передо мною,  
А я, робея, перед нею замираю,  
И пахнет ладаном, асфальтом и весною,  
И мы — влюбленные, распахнутые маю.

Она прекрасна от Зарядья до Арбата,  
Она сильна — но так нуждается в защите.  
Я стану рыцарем в волшебных книжных латах,  
Чтобы примкнуть к ее великой вечной свите.

И если черный день настанет — знайте, братья,  
Я буду биться за нее, я насмерть встану  
И только мертвым упаду в ее объятия,  
И только так ее любви достойным стану.

Мозельский беззвучно захлопал. Сашенька протянул руку и сжал Зорину плечо. Зорин смущенно покивал и уставился в костер.

— Такое и я могу, — сказал откуда-то из темноты грубый мерин Гошка. — «Она прекрасна от Зарядья до Арбата, но у поэта что-то писька маловата».

Яблочко неприлично и залиvisto заржал. Я не выдержал и улыбнулся — пожалуй, первый раз с тех пор, как выдвинулись мы из Коломны. Маленький разговор Квадратова с Толггатом, маленькая история Квадратова не покидали меня. Даже верь я, дурак такой, в волшебную тетрадь Кузьмы, о чем стыдно мне теперь

было вспомнить, — что бы мог Кузьма записать туда, услышь он этот разговор? Что бы он об этом разговоре мог рассказать Ему? И что бы Он бесконечной волею Своей мог исправить? Того ли найти, кто рисунки завучу на стол положил, да сказать: «Не клади завучу на стол те рисунки, завуч — дурак, не надо этого делать?» Или завуча, дурака и остолопа, за шкурку взять да сказать: «Дел у тебя в школе больше нет? Все у тебя ладно, все учатся на пятерки, хулиганы у тебя маленьких не бьют, пятерочники у тебя носа не задирают? Что ты устроил с рисунками этими, за что судьбы переломал?» И завуч тот возьми да и скажи: «Да мне до тех рисунков разве дело есть и мало ли, действительно, у меня хлопот! А только мне же и скажут: завуч, что за рисунки у тебя по школе ходят, куда ты смотришь? И если я строгости не сделаю да судеб не переломаю, от моей собственной судьбы останутся ножки да рожки...» Что ж, пойдём дальше; не с завуча Тебе тогда надо спрос иметь, а с кого? С родительского комитета, который добился, чтобы бедного учителя в суд забрали. Соберешь Ты пред Свои светлы очи тот комитет, стукнешь кулаком Своим бесценным столу, а они тебе: «Да ведь мы что! Страшно нам! Детям-то к этому учителю еще ходить на уроки и ходить, сегодня он это сказал, а завтра еще что скажет, а дети наши возьмут да и повторят где не надо, и что с ними дальше делается? Страшно нам, Ваше Величество, не понимаем мы, как еще быть, если не так быть!..» Хорошо, Ты скажешь, бог с вами, идиотами, да где же тот судья, который учителя не пожурил да отпустил, не штраф на него наложил за неуважение к приближенным до моей особы фигурам, а прямо-таки арестовал и в СИЗО посадил? Где этот гамадрил и почему он такой произвол вершит? А вот он, этот гамадрил, — стоит перед Тобою, весь трясется и бормочет, заикаясь: «Так ведь я, Ваше Величество, не знаю, как еще поступить; отпущу я его — моя же



голова с плеч, мне же и скажут, что я преступникам, оскорбляющим приближенных ваших, потакаю; нет, в нашем деле перебдеть надо, запугать надо, чтобы неповадно было другому такому учителю подобные шуточки шутить, а то, глядишь, и до оскорбления лично Вашего Величества дойдет, не приведи Господь...» Передернешься Ты, подумаешь: «Да за какую барышню кисейную держат они меня!» — а потом спросишь в отчаянии: «Ну хорошо, а церковники-то, церковники — с ними что? Почему же они прекрасного человека, тихого священника, в такое положение ставят, что, если бы это не был грех великий, он бы, может, и руки на себя наложил?!» А церковники тебе: «Так, отец ты наш земной, страшно! А ну как скажут нам, что мы не постарались, в важное дело не вмешались, не помогли осудить такого преступника лютого? Да и показать надо, как мы твои интересы блюдем, ни одной минуточки не спим, а то вдруг сомнения какие возникнут... Страшно!» И тут Ты не выдержишь и как воскричишь: «Мать вашу! Да почему же вам всем так страшно и кого же это так страшно вам, и кто же это так сделал, что вы все в бесконечном страхе живете и пикнуть не смееете?!..» И вот когда я доходил в своих рассуждениях до этого момента, я словно натыкался на какую-то глухую серую стену — вернее, нет, не глухую, а того хуже: вязкую, вязкую, липкую серую стену, через которую страшным усилием мог бы я пройти, но так тошно и страшно и противно было мне, что не мог я этого усилия сделать, и оттого становилось мне еще тошнее и противнее. Все казалось мне бессмысленным; даже конец моего путешествия и цель его больше не рисовались мне в тех ярких, пульсирующих красках, что прежде: стали они похожи на раскрашенный детский рисунок, который в любой момент мог порваться на ветру, и у меня не получалось этим бледным рисунком подбодрить себя. Я с трудом ел, а просыпался с еще бóльшим трудом и начинал идти

вперед все еще спящим, натываясь на деревья или случайно сворачивая в кювет на шоссе, так что приходилось теперь Толгату безжалостно драть мне уши с утра до ночи.

Одна радость была у меня: ступни мои постепенно дубели. Специально наступал я то на камни, то на шишки, то на какие корни деревьев поузловатее, а то и на такие шипастые штуки, которые кладут иногда поперек дороги, чтобы машинам не повадно было ехать не в ту сторону, в какую следует: почти ничего я ногами больше не чувствовал. Я приподнимал порою то одну ногу, то другую, чтобы разглядеть мои новые стопы: были они черные как смоль, плоские, как асфальт, и жесткие, как подошвы сапог — тех самых проклятых сапог, которые ждали меня теперь здесь, в Москве, и которые, кажется, больше не нужны мне были вовсе. Я смотрел на свои ноги с чувством победы и тяжести: мне казалось, то же самое, что произошло с моими ногами, произошло и с бедной душой моею; где теперь тот нежный, тот трепетный Бобо, что замирал от вида русских флагов на пристани города Стамбула и чьи ноги до крови были натерты уже в первый день нашего долгого, нашего горького путешествия? О, если бы я мог хоть на секунду одну стать им, хоть на секунду почувствовать тот прилив сил и восторга, которыми был он переполнен... Что бы сказал я ему — ему, маленькому щенку, собиравшемуся, трепеща, в долгий путь два с лишним месяца назад? А не сказал бы я ему ни слова; иначе в ужасе бежал бы он, и ни уговоры Кузьмы, ни нежный взгляд Толгата, ни угрозы Аслана с его шприцами, ни твердые окрики Зорина не заставили бы его и шага вперед сделать, знай он, сколько душевных мук выпадет на его долю... Нет, нет, нельзя мне было об этом думать; я отошел от костра в темноту, чтобы по глазам моим никто не догадался, что творится во мне, и тут же столкнулся в темноте с Квадратовым, ходившим,

видимо, облегчиться. Отойдя от первого испуга, Квадратов ласково погладил меня по хоботу.

— Что, — сказал он, — что, великий зверь, грустно тебе? Ничего, вот войдем в Москву, устроят тебе представление, и ты, может, развеселишься; подожди, постой тут, дам тебе картошки, — и пошел к костру, и действительно вернулся ко мне с теплой картофелиной, и снова погладил меня, и вернулся назад.

Я стоял во тьме, катая картофелину во рту, и сердце мое плакало от жалости к себе и к ним ко всем, и понял я, что нет, не похожа душа моя вовсе на подошвы ног моих, а просто измучена донельзя и мытарствам ее конца не видно: далек город Оренбург, а сейчас Москву пережить надо. И явилась мне фраза: «Господи, Господи, почему ты не оставишь меня?!» — и испугался я очень сильно и побежал назад к костру, к своим людям.

Под самое утро приснилось мне невероятное: что стоим мы с бедным моим Муратом возле золоченой высоченной двери женской половины султанского дворца и Мурат мой раз за разом разбегается и боком бьется в эту самую дверь, словно пытается выломать ее, и глухие удары разносятся по всему дворцовому парку, и вот-вот прибежит охрана и схватит нас. «Послушай, — говорю я ему в ужасе, — что ты делаешь и зачем тебе это?» «Я для тебя стараюсь, дурак, — отвечает он с укоризною, — там Катерина, они прячут ее от тебя, я же для тебя стараюсь». Ноги мои в тот же момент делаются ватными; я понимаю, что надо и мне немедленно разбежаться и начать выламывать эту чертову дверь и освободить мою Катерину, но как я могу так поступить, если мне необходимо сейчас же в Москву идти? «Подожди, — говорю я Мурату, обливаясь потом от стыда, — подожди, остановись...» «Что ты, — говорит маленький мой Мурат, — что ты, нельзя, надо спешить, ей не место там, она тебя любит, ты должен ее из этой клетки золотой освободить

и бежать с ней хоть на край света, она задыхается там, чего же ты ждешь?!» И я понимаю, что он прав, прав, но как же я должен поступить? Я не могу бежать с Катериной, я должен в Москву идти долг свой перед Россией выполнять! «Подожди, — говорю я, — остановись: я не могу сейчас, мне надо идти, я только дойду до Оренбурга и там Его испрошу, чтобы Катерину освободили, подожди, пусть она еще немного потерпит...» «Ты не можешь — так я могу», — запыхавшись, отвечает мне Мурат и снова разбегается и снова — бум! — глухо бьется в резную золоченую дверь... Проснулся я в холодном поту и тут же снова услышал: бум! И еще, и еще: бум! бум! бум!.. С трудом повернул я словно бы ватой набитую голову и увидел, что Кузьма, подвесив на дерево свой лучший синий костюм, выколачивает его ладонью — бум! бум! бум!.. Недалеко от него сидел, поджав под себя ноги, Зорин и зашивал дырку на бушлате. Сашенька прихорашивался и смазывал чем-то волосы перед карманным зеркальцем, а Квадратов, как мог, чистил низ своей заляпанной грязью рясы. Один Толгат занят был не собою: большой тяжелой щеткой он то тер, то выколачивал мою красно-сине-белую попону. Тогда понял я наконец, что такое Москва, и искорка азарта мелькнула во мне.

— Что, Толгат Батырович, раскрасите нашего Бобо? — спросил Кузьма.

Толгат покивал, и я вдруг обрадовался: давно не раскрашивал меня Толгат, давно я не был красив и наряден, и захотелось мне выступить во всем величии, которое умел мой друг на меня наводить.

— Времени только мало у нас, — сказал Кузьма, — через полтора часа выходить. Успеете?

И Толгат успел, и пока он кое-как чистил и старательно украшал меня — красный, белый, синий, оголовье и попона позвякивают колокольчиками, на ногах золотые браслеты, и от колен поднимаются вверх

мелкие цветы, — я поклялся себе, что буду хороший мальчик, и что привечу каждого ребенка, и женщинам поклонюсь, а мужчинам посмотрю в глаза, и что шаг у меня будет быстрый, свободный, глаза смотрят прямо, голову поворачиваем из стороны в сторону, взгляд боевой, мужественный, хобот полуприподнят. Настроение у меня от этого тоже сделалось получше, и, когда двинулись мы в путь, я видел, как люди мои, принаряженные и бодрые, улыбаются друг другу. Особое, видно, дело — Москва!

У встречавшей нас крошечной девушки Лены было два телефона, которые непрерывно библикали, на что Лена не обращала ни малейшего внимания. Спутник ее Артем, средних лет человек с огромным планшетом в руках, напротив, все время с ним сверялся, что, впрочем, только помогало ему, по всей видимости, разговаривать с нами очень бодро и на все вопросы отвечать мгновенно.

— Ох ты ж господи, какая громадина, — сказала Лена, глядя на меня с восторгом. — А потрогать его можно? Слоничек, дашь себя потрогать, да?

— Леночка, попридержи ручки, — равнодушно сказал Артем. — Слоничек не игрушка, а боевая машина.

— Отстань, — сказала Лена и погладила меня по хоботу теплой маленькой рукой, — я в жизни слона так близко не видела.

— Гости дорогие, — сказал Артем, — вы Леночку простите, Леночка очень непосредственная. Мы из департамента культуры, получили ваш блестящий бриф, Кузьма Владимирович, не могу не восхититься, всем бы такие брифы писать. Не хотите для наших подрядчиков мастер-класс провести? Устроим быстро, эффективно, все по зуму, оплата, какую назовете, часа полтора, не больше. Можем назначить скоро, на вторую половину мая.

— Спасибо, но сейчас я, как видите, очень-очень занят, — вежливо сказал Кузьма.

— Ну, отставать не буду, после окончания вашего путешествия еще раз спрошу, — спокойно сказал Артем. — У меня проект «Эксперты говорят», лекции от практиков — так сказать, отстающим, я прямо говорю: не мытьем, так катаньем вас возьму, рано или поздно мы с вами мастер-класс проведем.

Кузьма посмотрел на Артема очень внимательно. Артем взгляд выдержал и улыбнулся. Леночка кивнула и сказала:

— Возьмет-возьмет. Вы уж поверьте мне, я знаю.

— Так, — сказал Артем, — к моментальным нашим задачам. Вы, Кузьма Владимирович, расписаннице, наверное, не видели еще, вот делюсь с вами и с вашей командой. Съемка идет начиная с вашего появления на Варварке, там все будет хорошо подготовлено — и дальше в парке «Зарядье» работаем, работаем, работаем. В принципе, ничего сложного. От вас требуется небольшая речь, Виктора Аркадьевича мы думали утрудить небольшим чтением стихов... Виктор Аркадьевич, вы как?

— Я пас, — сказал Зорин. — Где я, а где модное шоу?

— Понял, — сказал Артем. — В принципе, я рассматривал этот вариант. Тогда официальную часть сократим до минимума: Кузьма Владимирович, потом я, потом сам дизайнер — и вперед. Кузьма Владимирович, упускаю я что-нибудь, что ваш опыт говорит?

— Нет-нет, — сказал Кузьма, — вы кажетесь мне человеком, который ничего не упустит.

— Спасибо, — сказал Артем удивленно, — я польщен. Ну что ж, если мы ничем не можем помочь, оставляем вас и будем ехать позади, когда вы выйдете на Варварку. Ждем, ждем.

И мы пошли, и впереди была Варварка, и она гудела народом за полицейскими ограждениями, перед которыми стояли стеклоглавые люди в черном, и ноги мои заныли от волнения, а живот втянулся.

И всюду были наши флаги.

— Махать будем? — спросил Зорин Кузьму сквозь зубастую улыбку.

— Помашем, чего не помахать, — ответил Кузьма, и они принялись махать толпе, и толпа махала им в ответ флажками, а я дивился: ни одного ребенка не было среди этих людей, и вообще, как мне показалось, ни одного человека моложе лет сорока, и Зорин спросил непонятное:

— Что, по пятьсот свозили?

— Зачем по пятьсот? — сказал Кузьма, не теряя улыбки на лице. — Бесплатно поехали, слоника-то посмотреть. Много ли в жизни бюджетника радости.

— Ну ты у-у-у-у-уж, — сказал Зорин не без восхищения и добавил: — А что, говном-то кидаться будут? Краской обливать?

— А что, соскучился? — зубасто спросил Кузьма. — Не ссы, Москва не Стамбул, тут фильтруют аккуратненько.

Внезапно справа от нас произошло какое-то волнение: крошечная женщина в бордовой курточке юркнула под ограждение, проскочила между ног у стеклоглавцев и развернула над головой большой черный лист, на котором белым было написано: «ГДЕ МОЙ ПЛЕМЯННИК?» Больше я ничего не успел прочитать: миг — и схватили женщину, и словно не было никакой женщины, но голос ее, ясный, чистый, истерический голос, еще несколько секунд звенел над Варваркой:

— Из Нижневартовска на учения забрали! Семьдесят дней ни слова не говорят! Пусть хоть в гробу вернут, суки! Мы знаем, куда они его послали!..

Над толпой повисла тишина.

— Иди и не останавливайся, — прошипел сквозь улыбку Зорин.

— Что, хорошая краска, понравилась? — так же, сквозь улыбку, ответил ему Кузьма.

— Пошел на хуй, — сказал Зорин, кланяясь влево какой-то даме, тянувшей к нему сборник стихов и ручку.

— А ты в Нижневартовск слетай военных стишков почитать, тебе рады будут, — отвечал Кузьма, энергично маша вправо пожилому человеку с самодельным плакатом: «За российского слона!», и толпа впереди махала нам флажками как ни в чем не бывало, и я почувствовал, что не могу больше выступать нарядно, и поплелся, опустив голову, и шедший за мною в своем белом костюме и красном пальто Аслан чуть не уткнулся мне в зад, и, когда вошли мы в парк «Зарядье» и побежали к нам люди с камерами и микрофонами, я хотел одного — чтобы все это, все это исчезло.

Люди с камерами кишели, и скакали, и ползали вокруг меня, как бонобо вокруг заглянувшего к ним в гости гамадрила, и один из них даже залез зачем-то мне под живот и стал фотографировать меня лежа: большая выдержка мне понадобилась, чтобы не наступить на него чисто остростки ради. Когда же вакханалия их закончилась и они ускакали куда-то, маша руками и повизгивая, человек, долго стоявший не шевелясь и рассматривавший меня издали, сдвинулся с места и направился к нам чуть развинченной походкой. Смуглый череп этого человека был тщательно выбрит, и красовались на нем серебряные звезды, совсем как те, которые Толгат мечтал нарисовать на мне в День космонавтики. Серебряная короткая куртка шуршала при каждом его шаге, серебряные короткие штаны с молниями обвивались вокруг его лодыжек, алые кроссовки на толстой подошве с хитрыми прорезьями пружинили: очень он был хорош собой, и я уверен, что Аслан был ранен завистью в самое сердце. Две прекрасные девицы в алых же платьях, которым этот маленький человек доходил едва до груди, сопровождали его, и я почувствовал, что они



тоже здесь для дополнения его красоты, и восхитился и всерьез его зауважал.

— Я Гогоша, — сказал этот замечательный человек, не обращаясь ни к кому и закатив глаза. — Значит, так. Модель сейчас отправляем на макияж и укладку. Ваши места вам покажут Кира и Клара, но часа два у вас есть, так что вы в целом свободны до четырех. Погонщик мне нужен? Модель без него неуправляема? Если нет, погонщик вообще свободен, на него зрительское место не зарезервировано.

Секунду-другую Кузьма молчал, и Гогоше даже пришлось вернуть глаза из-под лба и уставиться на Кузьму в ожидании ответа.

— Значит, так, — сказал наконец Кузьма. — Я Кузьма Владимирович Кулинин, руководитель царской экспедиции. Никакого макияжа и никакой укладки не будет, это боевой слон, а не модная кукла. Скажите спасибо, что я разрешил его участие в показе. Я позволяю провести примерку, и Толгат Батырович, опекун слона, будет этой примеркой распоряжаться. Присутствовать будут охранники, Александр Степанович Кутин и Владимир Николаевич Мозельский, — они вообще неотступно будут рядом со слонем каждую минуту. Во время показа места Толгата Батыровича, Аслана Реджеповича и отца Сергия будут рядом с моим. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их прямо сейчас — позже я буду занят работой с прессой.

— Все ли вам понятно, Лapid Георгий Яковлевич, тысяча девятьсот восемьдесят девятого года рождения, реальный адрес проживания улица Красноармейская, дом два, корпус два, квартира триста девяносто, девичья фамилия матери Фельдман? — ласково спросил Сашенька и положил руку Гогоше на плечо.

Гогоша вздрогнул. С каждым словом серебряные звезды на его замечательном лысом черепе тускнели, и мне даже жалко было, что маленький Гогоша

становится еще меньше ростом, а его красавицы как-то медленно растворяются в воздухе, — это, видимо, было их профессиональное свойство: исчезать за необходимостью. Судя по всему, у Гогоши не возникло никаких вопросов, потому что глаза его проделали весь путь сверху вниз и теперь смотрели в землю.

— Замечательно, — сказал Кузьма, — расходимся работать!

И все разошлись.

Два часа спустя я стоял за высокой и широкой дощатой стеной, с лицевой стороны покрашенной в черный цвет, а с изнаночной, той, которая была видна мне, ни в какой цвет не покрашенной; Толгат далтаки слабину и позволил разрисовать мне лицо коричневыми и зелеными пятнами, как если бы я был маскирующийся от врага солдат, и получилось, как по мне, очень даже некрасиво, если зеркало мне не врало, чем настроение мое окончательно было испорчено. Вместо сшитой мне Толгатом попоны, пусть и грязной и во многих местах обтрепанной, накинули на меня камуфляжное большое покрывало с капюшоном, ни котором тоже не было ни вышивок, ни колокольчиков, а только были там и сям разбросаны большие черные заклепки да торчали невпопад бог знает для чего предназначенные толстые зеленые шнурки, то затянутые, то провисающие, — все это нелепо коробилось у меня на спине и на голове и страшно меня раздражало. Еще больше раздражали меня крутящиеся здесь, за перегородкой, полуголые рослые девицы — от них шел сильный женский запах, перебиваемый чем-то душным, приторным и резким, и все это вместе дразнило и томило меня и вызывало у меня желание немедленно отсюда бежать, тем более что девицы эти попеременно бросались по мне стучать и так же попеременно требовали одна у другой признать, кто какое желание загадал, и обзывали друг друга «сучками» и «тварями» за отказ подчиниться

и тут же с пронзительным «И-и-и-и!» принимались обниматься. Я ничего не понимал; голова моя от запахов кружилась, хобот чесался; я переминался с ноги на ногу и постоянно боялся на кого-нибудь наступить; Толгат же мой сидел в углу с глупым лицом, улыбался и смотрел вниз, а Гогоша, успевший прийти в себя, сновал между девицами в сопровождении плавных Киры и Клары и общался исключительно криком, от которого у меня постоянно звенело в ушах. Вдруг он бешено захлопал в ладоши; все внезапно стихли.

— Двухминутная готовность, — сказал Гогоша неожиданно тихо, и девицы начали, мелко топоча каблуками, выстраиваться в длинную очередь перед вырезанным в перегородке большим, в мой рост, прямоугольным отверстием, занавешенным двумя черными бархатными лоскутами.

Появился откуда ни возьмись полный улыбчивый поп ростом немногим больше Гогоши и пошел вместе с Гогошей вдоль этой очереди, останавливаясь около каждой девицы: Гогоша вставал на цыпочки, девица наклонялась и целовала Гогошу в щечку, а поп бормотал: «С Богом, с Богом, с Богом», крестя девицу и кивая. Вдруг грянула такая боевая музыка, что пол подо мною затрясся и я на месте подскочил; девицы взвизгнули, поп перекрестил самого Гогошу, помахал кадиллом на черный занавес, и первая девица, одетая, как и все остальные, в бронежилет поверх каких-то зелено-коричневых прозрачных тряпок и обутая в красные высокие сапоги с такой или другою вышивкой золотую нитью, камнями и прочею красотой, развела руками в стороны лоскуты занавеса и пошла вперед. Музыка била меня по ушам совершенно безжалостно; в щель между досками перегородки видел я, что девица идет по длинной узкой дорожке, приподнятой над землей, неестественною походкою, выкидывая ноги в сапогах вперед и помахивая задом, и что по бокам от этой дорожки лежат и сидят люди с камерами, а за

их спинами на стульях, расставленных в несколько рядов, расположились зрители, и в первом же ряду Кузьма, и смущенный донельзя отец Сергей, и Аслан, взгляда не могущий оторвать не то от девицы, не то от красных ее сапог. Дойдя до конца дорожки, красавица выкинула неожиданный трюк: резко присела, выкинула вперед одну ногу, потом другую, потом вскочила, согнула левую ногу в колене, хлопнула себя по подошве сапога, то же повторила с правой ногой и встала, отставив пяточку в сторону и сложив руки на груди. Громко зааплодировал зал; я и сам был впечатлен. Стоявший рядом со мной Гогоша нервно кусал палец и тяжело дышал; «Ишь ты, — подумал я, — ты, видать, сомневался в ее прыти»; ловкая девица уже шла назад, и вторая, в похожих, но доходящих до самого бедра сапожках, двинулась ей навстречу. Эта не стала танцевать на краю дорожки, а просто мило покружилась, приподнимая то одну, то другую ногу; третья потопала, выдвигая вперед то один короткий полусапожок, то другой; на четвертой я понял, что первую никто не переплюнет, и занервничал, не понимая, какая роль уготована мне. В конце концов решил я, что посадят на меня пару девиц, чтобы их ноги с меня свисали и сапоги могла публика как следует рассмотреть; мне пришлось строго поговорить с собой, чтобы избежать некоторого конфуза, поскольку, не считая бронежилетов и обуви, девицы эти были почти раздеты; впрочем, голова моя болела так, что я мог в целом за себя не опасаться.

Я оглянулся на Гогошу — не пора ли сажать девиц? — ибо очередь уже подходила совсем к концу, но Гогоши рядом не оказалось. «Что же, — подумал я, — не моя забота», — и тут музыка неожиданно сменилась на лирическую. Мимо меня к отверстию в перегородке поплыли две девицы с тяжеленными, на мой взгляд, коромыслами, все в тех же бронежилетах поверх прозрачных коричнево-зеленых пышных сарафанов в пол.

На каждом коромысле висело по красному кожаному ведру, так густо усеянному камнями, что коромысла под ними гнулись; в ведрах этих опознал я с ужасом увеличенные копии тех маленьких ведерок, которые представлял нам в Тамбове незабвенный Иззо, друг Гогоши. Мелкими шагами плыли, изнывая от тяжести, девицы, а я понял наконец, что ждет меня, и обомлел. Переведя взгляд на Кузьму в тоске и ужасе, я обнаружил, что глаза у Кузьмы как мельничные жернова; девицы уже доплыли до края дорожки, развернулись, семена и оступаясь, пустились в обратный путь и возвратились к занавесу. Тут они с облегчением грохнули мои сапоги на пол, выпутались из коромысел и, обливаясь потом, нырнули за перегородку, где подруги бросились разминать им плечи. Передо мною очутился Гогоша. «Вперед, вперед! — шептал он. — Давай, давай, скотина лысая!» За «лысую скотину» я готов уже был отправиться восвояси и оставить Гогошу самого свои чертовы ведра на голову себе надевать, но Толгат уже похлопывал и поглаживал меня по загривку, и, каюсь, пожалел я Толгата, пожалел и Кузьму — а надо было себя пожалеть. С чувством надвигающейся мерзости раздвинул я хоботом бархатные лоскуты и сделал несколько шагов вперед.

Свет и мерцание камер ослепили меня; почти ощупью нашел я на полу чертовы сапоги и засунул в один из них левую переднюю ногу. Ощущение было, будто я ступил в чью-то омерзительно тесную нору и сейчас по неизвестной мне причине добровольно ступлю еще в три. Заскорюзлые мои подошвы едва пролезали в эти монструозные творения; я кое-как насадил все четыре ведра себе на ноги. Зал аплодировал, и эти аплодисменты действовали мне на нервы похлеще самих сапог; теперь надо было идти, а как идти? — словно камни были привязаны ко мне. Я честно сделал шаг передними ногами, с трудом переставляя их; ну и весили же чертовы сапоги! С нежностью и любовью вспомнил

я легонькие чуни, которые шил для меня Толгат... Эх! Пора было переставлять задние ноги; сделал я и это, понимая, что выгляжу как идиот, и ненавидя все живое: ног я своих не чувствовал. Что же, сказал себе я, не пойду я ни ради какого Кузьмы до края дорожки — прости, дорогой соратник, — еще три шага я сделаю вперед и отправлюсь за перегородку и уж там непременно найду Гогошу и так лупану хоботом, что навсегда выбью из него желание «лысой скотине» сапоги тачать! Эта мысль приободрила меня, я поспешно двинул левую переднюю ногу в нужном направлении, зацепился ею за правую, обе ноги мои подкосились, и, к великому моему ужасу, я понял, что падаю, падаю на передние колени, падаю, как слоненок, едва начинающий ходить! В глазах у меня потемнело от стыда и ярости; ну уж нет, вставать с этими погаными ведрами на ногах я не собирался. Стоя на коленях в унижительной, подлой, недостойной царского боевого слона позе, слушая, как в ужасе гудит зрительный зал, я дал Толгату — наверняка ужасно встревоженному происходящим — спешиться, после чего просто-напросто лег поперек этой их чертовой узкой дорожки и яростно, злобно затрубил, стараясь голосом своим перекрыть их омерзительную боевую музыку, от которой у меня, надо признаться, чесалась душа. Я решил, что буду трубить, пока не снимут с меня чертovy сапоги, и Толгат отлично это понял, но проклятая обувь не желала так просто слезать с моих заскорузлых ступней. Я трубил и трубил; выбежал на сцену потный Гогоша, и они с Толгатом принялись биться над моими сапогами вместе, я же только подергивал ногами, желая ускорить процесс, но особо, надо сказать, им этим не помогал. Прибежала Кира не то Клара с яблоками и попыталась, маша яблоком перед моим лицом, заставить меня встать. Зал, к тому времени уже смеявшийся, захохотал, когда я взял яблоко пальцами, поводил им перед лицом Клары не то

Киры, как она водила перед моим, а потом бросил это яблоко зрителям; и поймавшая его дама с прическою под горшок и в остроугольных очках тут же смачно им захрустела. Гогоша, весь пунцовый, дернул Киру не то Клару за руку и что-то прошипел ей на ухо; она убежала, цокая копытцами. Я передохнул слегка и принялся трубить снова, получая от этого, надо сказать, грязное, но яркое удовольствие. Через минуту появился на дорожке человек в синем комбинезоне; в руках у него была масленка. Зал исходил хохотом. Приятная струйка масла полилась в мой правый задний сапог, и через минуту тот соскользнул с моей ноги. От удовольствия я прихрюкнул, и зал заплодировал снова. Еще минуты три — и я стал подниматься, дав перед этим Толгату удобно сесть на меня. Осторожно, очень осторожно на масляных ногах поскользился я до конца дорожки и спустился с нее и спокойно вытер ноги о постеленный внизу пышный красный ковер. По этому красному ковру дошел я до травки и пошел-пошел себе вперед — парк «Зарядье» расстилался передо мной, а там, дальше, была, я понимал, Красная площадь. Очень хотелось мне увидеть Красную площадь, а на все остальное мне было в этот вечер наплевать. И Толгат мой ехал на мне спокойно и гордо и вовсе не драл мне уши, а легонько поглаживал меня по затылку; видимо, и ему очень хотелось увидеть Красную площадь, а на все остальное ему было в этот вечер наплевать.

## Глава 16. Гусь-Хрустальный

Аслан ныл и ныл и ныл, и вскоре от этого нытья сделалось мне так тошно, что я пошел подальше за елочки — передохнуть и заодно облегчиться. Понятно мне было, что своим нытьем Аслан, безусловно, добьется от бедного нашего Кузьмы того, чего ему желательно, — а именно чтобы какого-то местного знаменитого чучельника накормили мы обедом, дабы Аслан мог якобы восхищение свое ему выразить, а на самом деле, конечно, прихвастнуть своим приближенным к царской экспедиции особым положением и битый час лить ему в уши рассказы о собственных успехах. Всеми силами я надеялся, что без моего присутствия обойдется этот обед: от одной мысли о том, что на нем будет обсуждаться, меня заранее тошнило; из-за елочек, к сожалению, все еще было мне отлично слышно Асланово нытье, и я совсем не удивился, когда Кузьма с тяжелым вздохом сказал:

— Если вы, Аслан Реджепович, так настаиваете на нашем с Зориным присутствии, то мы придем. Я попрошу принимающую сторону заказать нам места в каком-нибудь ресторане, хоть поедим нормально.

«Вот жук, — подумал я, — всегда своего добьется». Я был страшно зол на Аслана и очень обижен на Кузьму из-за вчерашней их выходки: мерзкий стручок вчера подкрался ко мне, когда я ел свой (очень скромный, надо сказать) поздний ужин в Шатуре и зачем-то



срезал у меня с кончика хвоста все росшие на нем волосы. Когда же я понял, что произошло, и погнался за обидчиком, Кузьма, увидав этого подлого червяка с пучком моей шерсти и меня с лысым хвостом, принялся так хохотать, что я их обоих гонял по парку минуты три или четыре и остановился, только когда ошеломленный Квадратов выбежал к нам и принялся в своей рясе за всеми троими нами бегать, пытаюсь успокоить и помирить, да запутался в подоле и упал. Тут такой смех разобрал их троих, что я обиделся насмерть и до сих пор, надо сказать, не отошел до конца. Будь моя воля, я бы каждому из них, и даже Квадратову, по клоку волос выстриг и посмотрел бы, как бы они тогда веселились.

Воспоминание об этом унижении и слишком бурно подействовавший кишечник настроили меня на меланхоличный лад, и я собрался уже вернуться к подводе нашей в самом философском настроении, когда вдруг услышал совершенно мне неизвестные голоса. До городка нам оставалось всего ничего, минут тридцать—сорок ходьбы, и я подумал, что кто-то решил спросить у нас дорогу, но разговор, донесшийся до моих ушей, был так странен, что я замер и прислушался.

— Хотите слоника? — спросил мужской ясный голос, и у подводы повисла мертвая тишина. Затем что-то зазвякало и зазвенело.

— Слоник царский шагает, русско войско прославляет! — почти пропела какая-то женщина.

— Слоники сверкают, деток развлекают, — бойко подхватил мужской голос, и женский тут же продолжил:

— На солнышке блестят, взрослых радовать хотят!

Мелодичный стеклянный звон заворожил меня. Я выглянул из-за елочек: полный мужчина в сером спортивном костюме и кудрявая женщина в длинной цветастой юбке, поставив наземь большие бесформенные рюкзаки, по одному обходили спутников

моих, держа в руках что-то сияющее и звенящее, что я из-за солнечных бликов никак не мог разглядеть.

— Каждый рубль в кассе пойдет солдатам на Донбассе! — скороговоркой продолжил мужчина, тыча своим удивительным товаром прямо под нос Зорину.

— Если ты не патриот — пусть тебе запрет живот! — угрожающе сказала женщина и сунула сверкающее, мелодично позвякивающее нечто в безвольно висящую руку ошеломленного Сашеньки.

Тут солнце скрылось, потянуло майским холодком, и я сумел разглядеть наконец, что предлагали нашим эти замечательные торговцы: слонов, небольших, с кулак, стеклянных слонов с качающимся на шарнире стеклянным же хоботом. Глаза у этих слонов были широко расставлены и повернуты внешними уголками книзу, и общее впечатление слоны производили такое жалобное, что купить их немедленно захотелось даже мне, тем более что я был патриот, настоящий патриот и за живот свой в последние дни много и не без причины переживал.

— Словом, хватит размышлять — один себе, в подарок пять! — заявил мужчина, суя Кузьме в руки своего слона и доставая из кармана книжечку с рисунками. — Сколько брать будем, молодой человек? Солдатам на Донбассе нужны ваши денежки. Они там раненные лежат, каждый рубль сторожат.

— Лично мотнетесь? — спросил Кузьма, склоняя голову набок и глядя на мужчину с большим уважением.

— Что? — не понял тот.

— Ну как денежки на Донбасс-то перекинем? — спросил Кузьма, аккуратно передавая ему обратно печального слоника. — Лично мотнетесь? Прямо на себе наличные повезете? Прямо в руки раненым раздавать будете? Очень уважаю, отважный вы человек, я бы, наверное, побоялся. И партнерша ваша с вами, наверное, поедет? Одному-то тяжело? Мужественная какая, восхищаюсь. — И Кузьма поклонился женщине, которая

тут же сделалась пунцового цвета. Мужчина же, напротив, сделался бел и зачем-то сплюнул на землю.

— Так, — сказал он. — Ты пиздеть будешь, хмырь, или слонов покупать? Я не посмотрю, сколько вас тут, я в Чечне воевал, со мной базарить не надо, я за Донбасс тебе сейчас кишки выпущу, ты понял?

— Полегче, — сказал Зорин, — мы тут все за Донбасс.

— А ты вообще сиди, пятая колонна! — взвилась вдруг женщина. — От таких, как ты, вся гниль идет! Расстреливать вас пора!

Потрясенный Зорин замер с открытым ртом. Не удержавшись, Сашенька издал долгий носовой звук и сложился почти вдвое.

— Ты чё это, над бабой моей ржешь? — взвинулся мужчина, и сей же миг у него в руке оказался крошечный, неизвестно откуда взявшийся ножик. Стекланный слоновий хобот хрустнул под его ногой.

— Как интересно, — сказал Сашенька и положил себе руку на бедро, прикрытое длинной толстовкой.

Тут я почувствовал, что надобно мне выйти из-за елочек, и именно так и поступил. Эффект это произвело должный: через несколько секунд мужчина и женщина с выпученными, как у дохлых рыб, глазами лежали на земле, заложив руки за голову, и Сашенька, сидя на мужчине верхом, ласково говорил:

— Телефончики сдаем, к нам полицию зовем; полиция приходит, ножик с денежкой находит; тут и сказочке конец — этим жуликам пиздец!

Мозельский, из-за стонов лежащего мужчины проснувшийся и слезший с подводы, где спал, подложив себе под голову один из гигантских сапогов, очень обиженно сетовал на то, что все пропустил, и Сашенька любезно уступил коллеге свое место, а сам пошел за остатками сиреневой пряжи — обездвиживать преступников. Сам я не мог дожидаться приезда полиции, с которой успел по телефону поговорить Кузьма,

назвав им какой-то длинный личный код, — мой нехороший кишечник повлек меня вновь за елочки, но я увидел краем глаза, как Толгат незаметно прячет в свою котомочку оставшегося без хобота растоптанного стеклянного слоника. За елочками пришлось мне нелегко, и, озабоченный происходящим, я решил уже, вострубив, призвать даже Толгата и предъявить ему беспокоящие меня плоды трудов моих, но тут елочки нехорошо шелохнулись. Сердце мое екнуло: я такого не любил. Через секунду передо мной стояли трое: высокая рыжая красавица, молодой человек в черном балахоне с надвинутым по самые глаза капюшоном плюс еще один человек, тоже рыжий, даже и моложе первого, с двустволкой в руках. Дуло двустволки было направлено прямо на меня и заметно дрожало. Тут где-то справа, там, где мои люди все еще удерживали, надо полагать, бесчестных слоноторговцев, замигало красным и синим.

— Мусора! — выдохнул рыжий юноша и непроизвольно вскинул в воздух руки вместе с двустволкой. — Серега слил!

— Подожди! Заткнись! — зашипела рыжая красавица, присев на корточки. — Не мог Серега! Не верю я!

Молодой человек в черном балахоне скомандовал шепотом:

— Все заткнитесь!

Раздвинув еловые ветки, он посмотрел в сторону дороги.

— Это не за нами, — прошептал он. — Ты, придурок, — сказал он рыжему, — дай сюда. — И, выхватив у рыжего, так и замершего с поднятыми руками, двустволку, направил ее прямо мне между глаз.

Я отлично понимал, что стрелять в таких обстоятельствах никто в меня не будет; затруби я сейчас — и эти юные браконьеры мигом оказались бы в полицейской машине, да только отчего-то стало мне ужасно интересно и очень весело.

— Эй, ты, — тихо сказал балахонистый с двустволкой, — а ну иди вперед по просеке и не оглядывайся. Давай-давай, иначе получишь пулю в лоб.

— Что ты ему тыкаешь! — возмущенно сказал рыжий, успевший прийти в себя, а затем обратился ко мне, просительно сложив руки у груди: — Уважаемый господин слон, мы вовсе не хотим вам навредить! Пожалуйста, будьте любезны... Ну то есть пойдёмте, пожалуйста, с нами, нам очень надо.

— «Уважаемый господин слон!» — передразнил его балахонистый. — Ты еще ножку ему поцелуй и «Его Величеством» назови. Тоже мне, сука, либертарианец!

— Я почище тебя, сука, либертарианец! — шепотом взвился рыжий. — Я, между прочим, минархист, а ты сраный либертарный социалист! Ты Конкина читал, а? Ты Лассалья читал вообще? Да у Лассалья сказано...

— Заткнитесь, придурки, — очень тихо сказала рыжая красавица, и эти два юных философа действительно немедленно заткнулись. — Вы посмотрите на него: ничего он не понимает. Можно уходить, если вы и правда не собираетесь перейти к плану «бэ».

— Я готов на план «бэ», — мрачно сказал балахонистый и снова вскинул двустволку, о которой вроде как успел забыть.

— Стой! — испуганно заныл рыжий. — Стой! Все он понимает! Я ж говорю, дружбан мой в Богучаре в конном клубе работает! Он все слышал, этот и разговаривать может, только гнусавит, как будто у него нос заложило!

Это было обидно — мне казалось, что голос у меня очень милый, даже если и немножко в нос; но «гнусавит»...

— Я не гнусавлю, — раздосадованно сказал я, — у меня легкий французский прононс.

Они замерли в тех позах, в каких стояли, и уставились на меня. У рыжей красавицы так широко открылся

рот и запрокинулась голова, что я испугался, не упадет ли ей на язык случайная шишка.

Первым, как ни странно, опомнился юный рыжий.

— Д-д-д-дорогой господин слон... То есть ты, ц-ц-ц-царское отродье! — сказал он, слегка стуча зубами. — А ну пошли с нами! Тебя похищает Антивоенная Либ-б-б-бертарианская Лига города Гусь-Хрустальн-н-н-ного!

— Отродье никуда идти с вами не желает, — сказал я терпеливо, понимая, что в большой мере подражаю Кузьме, которого сей же момент жестоко предавал; но мысль о том, как замечательно насолю я Кузьме Кулинину, заглушала, каюсь, голос моего здравого смысла. — Господин слон же, напротив, готов был бы и пойти; обращения с собой я жду вежливого, а целиться в себя из какой бы то ни было пукалки не позволю и хамства не потерплю.

И я гордо пошел по просеке, стараясь ступать потише и веселясь от мысли, как хватятся меня мои люди через минуту-другую. Впервые за все время нашего путешествия было у меня чувство, что не они мной распоряжаются, а я ими, что бы там ни думали мои похитители; понимал я и то, что долго поиски не продлятся: слона в маленьком городе не утаишь; а только пусть побегают, поволнуются, вместо того чтобы мною помыкать и надо мною же издеваться! В этом приподнятом настроении дошел я до трассы, благо та оказалась совсем недалеко, и обнаружил, что там припаркована небольшая фура, расписанная какими-то диванами и креслами.

— Стой, стой! — зашептал рыжий.

Я остановился. Балахонистый быстро выглянул из-за кустов, дождался момента, когда трасса была пуста, и скомандовал:

— Сейчас давайте!

Я двинулся вслед за балахонистым к фуре; тот в одну секунду вскочил на водительское сиденье, забросив

вперед двустволку; рыжие быстро открыли фуру, выпустили сходни, и я взошел внутрь. Было душно и прохладно, пахло деревом и пылью, секунда — и нас качнуло, и фура помчалась по трассе, а рыжие засуетились вокруг меня, расплескивая из больших банок синюю и белую краску. Вдруг жалость к ним, таким молодым, навалилась на меня, и все мое веселое настроение исчезло.

— Ведь посадят вас, — сказал я печально; я многое уже понимал.

Тут у рыжего задрожала губа; скорчилось лицо его; он закусил губу, медленно сел на пол фуры, обхватил себя обеими руками и по-детски разревелся в голос.

— Что с тобой, идиот? — злобно спросила красавица, возясь с большой клетчатой сумкой, на которой заело замок; дернув стенки сумки в разные стороны, она с треском порвала ткань и вытащила на свет две большущие кисти. — Вставай давай! Времени нет!

— Маму жалко! — провыл рыжий. — Что с ней будет, если нас обоих посадят?!

Красавица, балансируя на шатающемся полу фуры, подошла к нему, встала над ним и наставила на него кисть.

— А ну вставай давай! — прошептала она. — Мне настрять на эту ватницу, понял?! Взял себя в руки и встал, или я сейчас дверь открою и выкину тебя на хуй! На хуя ты Лиге нужен такой, тряпка? Сдохнешь — мы ничего не потеряем! Или давай работай, или на хуй катись!

Рыжий, хлюпая носом и тихо постанывая, кое-как поднялся на ноги и взял из рук сестры кисть. Поразмыслив, та кисть у него отобрала и вытащила из сумки два плотных, скатанных в трубочку листа.

— На, клей, — сказала она. — Красить я буду, ты все испортишь. Клей вот сюда. — И она ткнула меня в бок. — Давай, не тяни, десять минут осталось!

Рыжий развернул листы — на желтом фоне там была нарисована скрученная в три кольца змея. Все

еще хлюпая носом, он наклеил один лист мне на бок, осторожно похлопывая там и сям; тут же сестра его принялась пририсовывать справа от змеи три широкие полосы краской — белую, синюю и белую.

— На ту сторону переходи! — скомандовала сестра, и все повторилось с другой стороны.

Я ежился от щекотки, капли краски стекали по моим бокам, и все это было совсем не похоже на то, как осторожно и нежно расписывал меня Толгат, да только чувствовал я, что тут уже не до осторожности и нежности. Рыжая отошла от меня подальше, осмотрела меня справа, потом слева и осталась, видимо, удовлетворена. Брат ее сидел в углу с отрешенным видом; она глянула на него презрительно. В кармане ее джинсов зазвонил телефон; она схватила его с такой скоростью, будто он мог вырваться и убежать.

— Пятиминутная готовность! — проорал кто-то в трубку; я догадался, что это звонил с водительского сиденья балахонистый.

— Все готово, давай, — сказала рыжая спокойно, но я заметил, что пальцы ее дрожат. Сунув телефон назад в карман, она наклонилась к сумке, достала оттуда сложенные вчетверо большие листы бумаги с какими-то надписями черной краской, подошла к брату своему и пнула его ногой.

— Готовься давай, — сказала она и положила ему на колени один лист. — Через четыре минуты выходим.

— Я готов, — сказал он, глядя перед собой невидящими глазами.

Она пнула его еще раз, присела рядом с ним на корточки и сказала:

— Васька, разве ты за войну?

— Нет, конечно, — сказал он возмущенно и посмотрел наконец сестре в глаза.

— Разве нормально, что эти пидарасы людей убивают? Разве Буча — это нормально? Разве Гостомель — это нормально?



— Нет, — сказал Васька, — это пиздец.

— Мы можем это терпеть?

— Нет, — сказал Васька, — не можем.

— Мы можем их остановить? — спросила красавица, глядя Ваську по рыжим встрепанным волосам.

— Нет, — сказал Васька со вздохом, — не можем, Соня.

— Значит, если мы молчим, мы их поддерживаем, так?

— Так, — упавшим голосом сказал Васька.

— Значит, что мы должны делать? — спросила Соня.

— Не молчать, — ответил Вася довольно твердо.

— Правильно. Мы должны говорить, и чем громче, тем лучше. А теперь скажи мне, Вася, говорить «Нет войне» — этого достаточно?

— Недостаточно, — сказал Вася со вздохом.

— Почему? — спросила Соня и ласково дернула брата за ухо.

— Я знаю, знаю, — сказал Вася и легонько ее оттолкнул. — Потому что это беззубая риторика людей, лишенных четкой философской позиции. Потому что ворами и убийцам надо говорить в лицо, что они воры и убийцы. Потому что потому.

— Ну вот же, Васька, — ласково сказала Соня, — все ты знаешь. Ты же понимаешь, что надо.

— Надо, — сказал Васька и кивнул.

— Ну что с тобой творится? — спросила сестра.

— Страшно, Соня, — прошептал Васька и невольно глянул в сторону водительской кабины.

— И мне страшно, Васенька, — сказала Соня шепотом и села на пол рядом с братом. — Страшно — а надо.

— Страшно — а надо, — эхом повторил Вася.

Сердце мое разрывалось. Я твердо решил было не выходить из фуры и сорвать им что бы то ни было, что там они задумали, но вдруг понял, что выйдут они тогда со своими плакатами без меня — и бог весть что

сделают с ними; вспомнил я страшный хруст сломанных костей возле памятника запорожцам, и меня пере-дернуло... Ах, каким дураком, каким ужасным дураком я чувствовал себя, как проклинал я себя за то, что согласился пойти с ними, — может, не реши я развлечься, не реши я Кузьму подразнить, и не произошло бы ничего, да только теперь поздно было об этом думать. Одно я знал твердо: сейчас куда эти дети — туда и я; не оставлю я их одних.

Резко качнуло меня вперед, так, что я чуть с ног не свалился: фура остановилась. Снаружи было шумно — видимо, в людное место мы приехали. Внезапно рыжая Соня схватила брата за руку повыше локтя и зашептала:

— Вася, постой, не пойдем!

Вася, открыв рот, смотрел на сестру в растерянном ужасе.

— Он откроет — толкнем его и убежим! — жарко прошептала Соня.

— Ты что, Соня, — вдруг сказал Вася и надвинулся на нее, медленно поднимая к груди кулаки, — ты что! Ты предать нас решила?!

Соня быстро заморгала и словно очнулась: бросившись к брату и обняв его вместе с его кулаками, она зашептала:

— Нет, нет, Васечка, что ты! Померещилось, померещилась хуйня какая-то, ты забудь... Ты выкинь из головы, это я...

Не знаю, что она собиралась сказать, хотя полмира, кажется, отдал бы за возможность это услышать, но распахнулась задняя дверь фуры, и балахонистый в надвинутом по самые губы капюшоне прошептал:

— Вперед!..

Грохнула об асфальт широкая доска, по которой положено было мне сойти вниз, и я, ослепленный солнечным светом после долгой полутьмы, вдруг потерял себя на несколько невыносимых секунд: мне

привиделись деревянные сходни и керченский причал, и встречающая меня веселая толпа на причале, и счастье, которым наполнилась в тот миг бедная моя душа, постаревшая с тех пор на много сотен лет, вдруг иглою вернулось мне прямо в сердце — счастье нового начала, счастье предчувствия того, как мир сейчас распахнет перед тобою. И я нынешний, я, стоящий перед сходнями потрепанной мебельной фуры, внезапно испытал малую толику этого счастья — и устыдился.

Первой сбежала по сходням Соня, за ней Вася, последним поспешно сошел я. Оказались мы возле длинного-длинного здания с высоченными белыми колоннами. Первым развернул плакат балахонистый и поднял его над головой; руки его тряслись, и плакат он, как я увидел, держал вверх ногами. Подняли плакаты и Соня с Васей. Люди стали оборачиваться на нас в изумлении.

— Все, что ваше, будет наше! Россия будет нашей! — громко выкрикнул балахонистый и закашлялся, но быстро справился с собой и пошел вперед. — Все, что ваше, будет наше! Россия будет нашей! Все, что ваше, будет наше! Россия будет нашей!..

Справа от меня шла Соня, слева — Вася.

— Все, что ваше, будет наше! Россия будет нашей! Все, что ваше, будет наше! Россия будет нашей!.. — выкрикивали они, и я бы, если б мог, кричал с ними. Где-то недалеко уже выли сирены, и я думал, что люди будут фотографировать нас и бежать за нами, чтобы посмотреть, как мы идем, но люди забегали в здание с колоннами, и через несколько секунд мы оказались перед зданием одни, совершенно одни, и тогда Вася почему-то закричал срывающимся голосом:

— Лучше нет команды в мире, чем «Днипро» на Украине!.. — а сирены выли уже близко, совсем близко, и, кажется, всего через несколько секунд воздух стал красным, синим, красным, синим, и Соня в белой рубашке уже лежала на асфальте, пытаюсь отбиваться

ногами, выкрикивая проклятия и ругательства, и лежал детским лицом вниз. Вася с окровавленным носом, а балахонистого там, впереди, мне даже не было видно за спинами четверых стеклоголовых в черном, набросившихся на него, и вдруг я почувствовал резкую боль в левой передней ноге и понял, что вокруг нее обвился жгут и что этот жгут уже перекинули на правую ногу, и, прежде чем я успел попробовать лягаться, я был стреножен, стреножен, как последний мерин, стреножен и обездвижен, и любая попытка дернуться причиняла такую боль, что я вынужден был застыть на месте, кипя от гнева, и кольцом стояли люди со стеклянными головами вокруг меня. И открылась дверь полицейской машины, и вышел из нее Кузьма Кулинин, и встал передо мной, уперев руки в бока, а я смотрел не на Кузьму — я смотрел, как волокут в другую машину Соню, и глаза мои были сухи. И тогда Кузьма сел обратно, не сказав мне ни слова, и мне развязали ноги, а из машины вышел Толгат и стал гладить меня и растирать следы от веревок у меня на ногах, а я не плакал.

Ресторан был с террасою, и Кузьма сделал так, что, кроме нас, никого не было на той террасе и в том ресторане, не считая Сашеньки с Мозельским за отдельным дальним столиком, — так Аслану хотелось показать слона Бобо своему гостю. Чучельник гусевской оказался человеком, удивительно похожим на Аслана, — один и тот же формалин они, что ли, пьют? — сухим, сутулым, с дряблым личиком и в синем пиджачке, разве что цветом и длиной отличавшемся от Асланова нарядного красного пальто. Звали его Михаил Алатырский. На меня он несколько раз посмотрел ласково и внимательно, и от этого взгляда меня немедленно затошнило, так что даже порывшись в поставленных для меня на край веранды тазах с едою я в себе сил не нашел.

— Много ли здесь работы для специалиста вашего уровня? — заинтересованно спросил Зорин. — Мне кажется, в таком маленьком городе...

— Я же, миленький, не по городу работаю, — весело сказал Алатырский, мгновенно отделяя рыбку голову вместе со скелетиком от мягкой белой плоти. — Я езжу-мотаюсь, тут консультирую, там штопаю... Есть для музеев, есть для частных коллекций, этого много. И по стране езжу, и за пределы езжу. Инструменты взял, руки в карманы сунул — поскакал. И наоборот, мне в мастерскую кто откуда работу привозит. Не скупаю, не жалуюсь.

— Мы, работники троакара, мочь службу в любой точке мира, — влез Аслан напыщенно. — Наша сила — руки и мозг!

Алатырский, тихо улыбаясь и глядя в тарелку, сделал паузу, во время которой Аслан стал пунцовым. Пожалев беднягу, Кузьма спросил:

— Аслан Реджепович, а с тех пор как вы учились, вся эта наука таксидермистская далеко ушла?

— О да, — расцвел Аслан, — очень, очень далеко! Новый материал, новый техник очень много! Помню я плакат с Ленин в аудитории у нас — все время учиться, учиться, учиться!

— Да, в первую очередь материалы и техники, конечно, — сказал, улыбаясь, Алатырский, — но это дело третье; а вот мир изменился очень здорово. Раньше в первую очередь считалось, что мы будем работать для музеев и научных институтов, конечно; а большинство, разумеется, сегодня работает на частных заказах, и там такое бывает...

— Какое? — жадно спросил Зорин.

— Да вот, пожалуйста, с чем я только дела не имел, — сказал Алатырский весело. — Ладно еж, или, скажем, черепаха, или змея. Но довелось мне в один только последний месяц повозиться с комодским драконом, рыбой фугу, двумя бонобо и, представьте, дикобразом.

— О, я тоже имел, имел дело с дикобразом! — воскликнул Аслан. — Я использовал протокол...

Я посмотрел на него в упор, но он не заметил моего взгляда, а Зорин перебил его и изумленно спросил Алатырского:

— Прямо здесь, в Гусе?

— Пришлось покататься, — сказал тот, улыбаясь и понижая голос. — Нынешние времена — они, конечно, особенные... — И продолжил, испуганно спохватившись: — Впрочем, вы меня простите, ради бога, я не знаю, стоит ли...

— Расскажите, — попросил Кузьма. — Я обещаю, дальше нас не пойдет.

Алатырский колебался, но желание поделиться историей распирало его: видно, очень хороша была история.

— Шепнули тут мое имя одному военному человеку, — улыбаясь своей тарелке, негромко начал он и, поигрывая вилкой, свернул рыбью кожицу в аккуратный квадратный конвертик хвостом наружу. — Высокоставленному человеку, не буду скромничать. Был под Киевом, значит, честный зоопарк... Ну, кто покрупнее, кто помельче... Вот они территорию, значит, взяли, ну, какое-то время за нее бои шли, состояние у многих животных не очень, а какие помельче — ничего, голодные только... Что прикажете с ними делать? Вот он и распорядился — отсмотреть, кто есть помельче, доложить. Составили ему список. Он и выбрал — двух бонобо, дракона и дикобраза. Все равно им пропадать, понятное дело. Взяли, усыпили их, как умели, удавочкой, и вывез он их с собою. Имя мое, как уже говорилось, ему шепнули, он и обрадовался — сам-то он из Владимира. Так мы с драконом и пересеклись. Очень интересная оказалась задача и, по ряду технических причин, очень нестандартная... Что же до бонобо, там все дело оказалось в состоянии материала, которое оставляло, если честно...

Тут я услышал удивительное: а именно исходящий из моей звенящей, звенящей головы собственный

голос, как бы не имеющий ко мне никакого отношения. Этот голос существовал совершенно отдельно от меня, был чистым, яростным и высоким, и, если бы не французский прононс, я бы усомнился, возможно, что он действительно мне принадлежит. Но нет, это был мой, мой голос, и он спросил, пока я глядел в упор на этого человека с ласковым сморщенным личиком, человека в чистеньком, ловко сидящем синеньком пиджачке:

— А фугу?

Алатырский уронил вилку. Кузьма резко обернулся ко мне.

— А фугу? — спросил я. — Ее тоже удавочкой?

Сашенька и Мозельский, оторвавшись от своих тарелок, смотрели на нас из-за своего дальнего столика.

— Нет, — спокойно сказал Алатырский. — Рыба фугу, а вернее, такифугу, а еще точнее, бурый скалозуб умерла в исследовательском институте в Москве, я ездил ею заниматься. Я хороший специалист по иглобрюхим.

— Я вижу, вы не отравились рыбой, — сказал я с тоскою, сам не понимая, что несую, и предчувствуя лишь большой стыд — большой-большой стыд, — однако не умея уже остановиться, — но неужели вас хотя бы не тошнило от всего остального?

— Фугу можно отравиться только во время еды, да и то лишь при неправильной разделке, — мягко сказал Алатырский (стыд уже полз по моей коже, как бесцветный огонь, но я не отступал, я решил довести этот разговор до конца и только потом забиться в какой-нибудь угол, закрыть глаза и там тихо умереть). — Впрочем, я ни секунды не сомневаюсь, что вы отлично это знаете, и понимаю, что вы пытаетесь мне предъявить.

— Нет, — сказал я, — вы не понимаете и не поймете. Вернее, не так: вы умный человек, и я это вижу, но такие, как вы, все могут понять и ничего не могут

почувствовать, иначе вы в жизни не смогли бы подать руку вашему высокопоставленному военному человеку, а если бы и принудили вас, это касание бы вас отравило, вы бы никогда не смогли вот так сидеть и улыбаться и сворачивать конвертики из рыбьей кожи. Но вы можете, а значит... — Тут я сбился и стал хватать ртом горящий в моем бесцветном, безудержном стыде раскаленный воздух. — А значит...

— А значит, кому-то, кажется, попались в одной из мисок перебродившие фрукты, — с усмешкой сказал Кузьма.

Зорин хрюкнул. Аслан рассыпался отвратительным мелким хохотком — словно утка подавилась. Хмыкнув, отвернулись Сашенька с Мозельским, и непонятно было, слышали они меня толком или нет.

— Вы смеетесь, — сказал я. — Вы смеетесь, но все это ужасно, ужасно.



## Глава 17. Муром

Поскрипывала на резком ветру небольшая нарядная карусель, бились над нашими головами флаги, флаги, флаги, а кругом карусели, спинами к ней, стояли вооруженные орки, и самый страшный из них — огромный, с зеленоватою кожей, с кривыми зубами — держал в огромной татуированной правой лапе дубинку и хлопывал ее концом по ладони левой. С тоскою и болью подумал я, что конец происходящего мне известен, и закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Белые неровные вспышки от торчащих зубов орка мелькали у меня под веками. Я попятился и встал подальше — как можно дальше, — и услышал командный голос Зорина:

— Распределиться по двое на каждого, один — шокером в плечо, второй — дубинкой по ногам, за минуту закончим! Это же не...

— Вы, молодой человек, отойдите-ка подальше, чтобы не задело, — жестко перебил его кто-то, и я даже с закрытыми глазами почувствовал, как Зорин заливается красным цветом, и получил от этого, надо сказать, немалое удовольствие.

— Вы подождите, пожалуйста, одну секундочку, — вдруг раздался тихий голос справа от меня. — Вы, если можно, меня послушайте, пожалуйста, одну секундочку!

Это говорил Толгат. От неожиданности я распахнул веки: так и было, Толгат обращался к начальнику

ментов, стоявших перед орками плотным полукругом, выдвинув вперед сверкающие щиты. Видимо, неожиданное вмешательство Толгата изумило начальника не меньше, чем меня: начальник, только что грубо отмахнувшийся от Зорина, повернулся к Толгату и, подбоченившись, выжидательно склонил голову.

— Я, понимаете, преподаватель институтский, университетский, — чуть срывающимся голосом сказал Толгат быстро. — Я, понимаете, видел... В смысле, я понимаю... То есть мои студенты, они ходили... Эти ролевики, дети, они как мои студенты. Я с ними даже ходил пару раз посмотреть, просился, интересно: как костюмы, социальная динамика, как все... Вы, если можно... я поговорю с ними. Вы мне три минуты буквально, пожалуйста... Они плохого не хотят, они просто орки, это такой как бы кодекс... Они друг перед другом показать не хотят, сдать...

— Вы поговорить с ними, что ли, хотите? — вдруг перебил Толгата полицейский начальник.

Толгат взволнованно закивал.

Начальник осмотрел его и поджал губы.

— Две минуты, — сказал он и посмотрел на часы на толстой безволосой руке.

Толгат медлил.

— Что? — спросил начальник не без удивления.

— Только вы, пожалуйста, отойдите, — твердо сказал Толгат и, наконец оторвав взгляд от земли, посмотрел начальнику прямо в глаза. Начальник ответил Толгату долгим тяжелым взглядом, приподнял брови и ухмыльнулся.

— Без говна у меня! — сказал он и поднял в воздух длинный пухлый палец, но не отошел, а сделал знак своим ментам, покрутив в воздухе пальцем. Те медленно, нехотя отвернулись от орков, отвернулся и он сам.

Толгат быстро обежал полицейских и встал напротив главного орка, оказавшись лицом почти впритык

к его мохнатому серому нагруднику, увешанному десятком разномерных пластиковых черепов.

— Ребята, — быстро сказал Толгат, — уходить надо, все. Это недетское дело. Шаг вперед — нападение на представителя власти. Хер с ним, не стоит того.

Мелкие орки, смешавшись, давно в тревоге посматривали на главаря. Двое с правого фланга начали медленно отступать спиной вперед и, обогнув карусель, бросились бежать. Главарь нервничал; синие глаза его под кривоzubой громадной маской с клыками и шерстистыми ушами были скошены влево.

— Толик, хватит, пошли; это не в падлу, — тонко сказал стоявший от него справа щуплый орк в маске попроще, зато в огромных серых меховых штанах и с голой вычерненной грудью.

Тут орк Толик внезапно сгреб Толгата за грудки и притянул к себе со страшною силою, не выпуская из рук дубинки; ойкнув, бедный мой Толгат зажмурился; я рванулся вперед, но Кузьма прыжком встал на моем пути, раскинув руки.

— Что, сука подментованная, сломать меня хочешь? — заревел он. — Великий Гольфимбул, сука, никого не боится, у Великого Гольфимбула, сука, справка есть!..

В следующую секунду Великий Гольфимбул рванул рубашку Толгата в стороны — затрещали швы, посыпались пуговицы; рванул Толгатову котомочку — она слетела у Толгата с плеча, взмыла в воздух и полетела прямо на середину паркового пруда. Лицо Толгата побелело. Хоботом я толкнул Кузьму так, что он отлетел в сторону и упал на траву; еще миг — и от Великого Гольфимбула остался бы только черный лохматый парик, втоптаный в землю, но тут раздраженный голос сказал:

— Так, Толик, ты охуел, я пошла отсюда, — и маленькая рогатая орочка в очень короткой мохнатой юбке с огромной и, судя по всему, невесомой шипованной

булавой в руках, отдав честь полицейским, наблюдающим за ними с большим интересом, изящно развернулась и направилась прочь.

— Наташка, ты чего?! — жалобно воскликнул Толик и побежал за ней следом. — Натах, ну нормально?!..

Остальные орки, робко оглядываясь на ментов, поспешно потрусили вслед за вожакom. Толгат, дрожащими руками ощупывая порванную рубашку, пытался прикрыть ее на груди, то хватаясь за ворот, то оттягивая вниз задирающиеся помятые полы. Я подбежал к нему и закрыл его собою от всех остальных. Он, давась, всхлипывал, и думал я, что дело тут было не в рубашке и не в Толиковых поганных кулаках, а в маленькой его котомочке. Молча возвращались на окраину парка, где им и положено было стоять, хмурые полицейские: Кузьма что-то обговаривал с ними заново. Зорин подошел и попытался сунуться к Толгату с какими-то словами; я заступил ему путь, и Зорин посмотрел на меня с ненавистью. «Что же, — подумал я, — и я к тебе добрых чувств больше не питаю». Мы с Толгатом пошли к подводе — менять ему рубашку; он успокоился немного, и мне тоже стало полегче. Беспокорство за собственную мою судьбу, которая прямо сейчас должна была решаться, вдруг отпустило меня.

— Что, — сказал мне сочувственно Гошка, — плохи твои дела, жопа толстая? Напизделся, нараззавливал пасть? Эх ты, болтун...

— Не трожь беднягу, — сказал Яблочко. — Тебя самого вон как тарацило, заткнуться не мог.

— Меня, может, и тарацило, а только я знал, с кем пиздел! — тут же взвился Гошка.

— Так и он знал, с кем пиздел, — печально сказал Яблочко. — Дурак ты, Гошка.

— Я, может, и дурак, — вдруг сказал Гошка очень спокойно, — а только не из-за меня праздник разогнали и парк оцепили. Я дурак-дурак, а каюк тут не мне пришел.

И это была правда: каюк, скорее всего, пришел тут мне — причем каюк полный, окончательный. Парк был оцеплен, чтобы в него не мог войти никто из пришедших на запланированный праздник, как официально предполагалось, но не мог я избавиться от мысли, что это еще и затем было сделано, чтобы я, лично я не мог из этого самого парка ни с того ни с сего взять и сбежать: не было мне больше доверия. Кузьма не смотрел на меня и не заговаривал со мною, как если бы мы стали чужие; быть может, мы и стали теперь чужие, и от мысли этой так сжималось мое сердце, что боль доходила горлом аж до проклятого языка моего, и я начинал задыхаться. Зорин, наоборот, смотрел на меня почти неотрывно, неотрывно и зло, и хотел бы я сказать, что взгляды эти встречал открыто и смело: но нет, я от страха перед этими взглядами каждый раз, когда натыкался на них, готов был под себя сходить и, чтобы не видеть Зорина, каждый раз поворачивался к нему боком, да только он специально находил способ так перейти по поляне, чтобы снова мне на глаза попасться и снова зыркать на меня серыми, ледяными своими глазами, и плохо было мне, как же плохо. Квадратов сидел на краю подводы, откуда торчали ноги спящего Мозельского, — сидел, теребя на груди крестик и глядя в землю, а Сашенька, прогуливаясь под сенью дубов, осматривая приготовленные для сорвавшегося праздника качели и зачем-то в сотый раз перечитывая широкую растяжку «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВЫЕ СЕМЬИ!», время от времени вскидывал на меня пушистые свои глаза, и я каждый раз ежился, представляя себе, что он возьмет и скажет: «Ну что, элѣфантид Бобо, отряд хоботные, класс млекопитающие, год рождения две тысячи шестой, место рождения — у задней стенки слоновника личного султанского зоопарка, мать Аделина, отец Балтазар, — ну что, элѣфантид Бобо, как же мы с вами поступать будем?..» Ах, если бы я знал, как мы будем со мною поступать, если бы я знал!..

При одном воспоминании об отце с матерью сделалось мне дурно. Представилось мне всего на секунду, что это не я, а один из них стоял бы вчера поздним вечером перед Зориным в лесу под Папулином, стоял бы и... И что? Разве так бы они с ним говорили? Разве так бы они смотрели на него? Разве стал бы отец напоследок в изнеможении ногой топать и спиной к собеседнику поворачиваться, как жирафа Козочка делает, когда хочет свой характер показать? Позор, ах, какой позор получился — и вот чем позор этот закончился. А ведь начал я правильно, хорошо начал: поклялся себе, что вообще ничего не скажу, всю дорогу молчать буду, молчать и думать, и пока до конца все не додумаю — слова не произнесу. И будь ты проклята, жалкая газетенка, которую Зорин подобрал в Папулине, — не помню я, как она называлась, а только была в ней моя фотография (и увидел я, как стал худ и нехорош собой), а справа от фотографии тянулся заголовок: «Спасенным малышам — новые семьи!» — и пониже: «Царский слон Бобо посетит праздник для украинских ребятишек и их приемных родителей в Муроме». Пробежав глазами статейку под заголовком, Зорин, жуя бутерброд с докторской колбасой и солеными огурцами и одной рукою показывая Мозельскому с Квадратовым, что как ловчее уложить (поскольку, выехав из Папулина и встав на привал в клейкой, пахнувшей сладостною весною березовой рощице, решили мы наконец все из нашей несчастной подводы вынуть и пересобрать по-человечески, а то внутренности ее уже напоминали гнездо шалашника в брачный период), прошамкал, кивая на разложенную в траве газетку и обращаясь к Кузьме, который сидел на пеньке и доедал пирожок:

— Мы, значит, звери, да? Мы нелюди, да? Мы их сирот в семьи берем, мы их детям нормальную жизнь даем, и нас еще орками называют! Зла не хватает у меня. Звери они, сволочи, гондоны пропагандистские...

Кузьма, будто не слыша его, достал из рюкзака кожаную свою тетрадь и принялся быстро писать в ней; я видел, что Зорину очень хотелось поговорить, — он перевел взгляд на Мозельского, затем на Квадратова, — но те, повернувшись к нему спинами, старательно утрамбовывали какие-то одежки в мои отвратительные, неподъемные, гигантские сапоги. Толгат, отходивший в кусты, вернулся и стоял растерянно, переводя взгляд с Зорина на Кузьму. Сашенька же, напротив, смотрел на Зорина с большим интересом, но с Сашенькой Зорин, не будь дурак, предпочитал лишних разговоров не вести. В неловкой тишине Зорин сказал, не обращаясь, в сущности, ни к кому:

— Мы их детей спасаем — и мы же еще звери!..

Тут Аслан, до сих пор сидевший на поваленной березе в глубокой задумчивости, встрепенулся и подхватил:

— Ужасное несправедливо! Бедные дети!

Зорин слегка растерялся, но тут же назидательно и разъяснил:

— В одном Муроме, Аслан Реджепович, сто тридцать две семьи украинских детишек усыновили. Сто тридцать две семьи в одном Муроме!..

Вдруг ударил мне в нос запах яблок и мускуса, так ударил, что едва не закружилась голова у меня, и тонкий девичий голос как будто сказал очень ясно, яснее некуда, прямо мне в левое ухо: «Знаешь, с трех лет я на контрактах, ни отца-матери не помню, ни откуда вывезли меня, зато мужиков наших перевидала — дай бог, уж поверь мне...» Я будто впервые услышал эту фразу, страшную фразу, и затряс головою, а Зорин все говорил и говорил:

— Сто тридцать две семьи, некоторые по двое сиrot берут, по трое!..

«...ни отца-матери не помню, ни откуда вывезли меня, зато...»

— Праздник вон им устраивают, слона ведут... Кланяться в ноги таким людям надо, а не...

«...ни откуда вывезли меня...»

— А нас за все, что мы для бедных детей делаем, эти суки натовские распять хотят!..

И тогда я спросил:

— А почему мы это делаем?

Подпрыгнув от неожиданности, Зорин повернулся ко мне и взгляделся мне в правый глаз.

— Потому что мы хотим дать этим детям достойную жизнь в семье, — терпеливо сказал он. — Потому что семья лучше для ребенка, чем интернат.

— Нет, — сказал я, чувствуя, что не понимаю ничего, но что мой вопрос совершенно неуместен, и именно поэтому очень желая его задать, — почему это делаем мы?

Стало очень тихо.

— Ну-у-у-у, — протяжно и весело заржал Гошка, — понеслась душа в рай.

Зорин молчал и смотрел на меня.

— Почему это делаем мы? — снова спросил я. — Разве там, дома, некому их усыновить? И почему они сироты? Понимаю, там война идет, но...

— Там не война, — перебив меня, отчеканил Зорин, — там...

Но тут уж я перебил его, чувствуя, что закипаю.

— Понимаю, — сказал я и почувствовал с отвращением, что голос мой начинает срываться, — там война идет, отцы их могут быть на фронте убиты, но ведь тогда у них матери есть! Разве и матери их убиты нами? Но почему, зачем? Как это получилось?!

— Ничего ты не понимаешь! — рявкнул Зорин.

— А не понимаю — так объясните мне! — завопил я. — Объясните мне!

— Может, это из детских домов дети! — проорал Зорин и топнул со всей силы по газетенке.



— Так что же они там в детских домах не остались?! — завопил я в ответ и двинулся на Зорина. — Что они тут? Почему? Что творится? Объясните мне, если вы можете объяснить!

— Ничего я тебе не должен объяснять, тупая ты скотина! — рывкнул Зорин и с кулаками двинулся мне навстречу. — Я тебе начальник охраны, а не политрук!..

— Что, правда? — тихо хмыкнул Кузьма, не отрываясь от своей тетради, и от этих слов Зорин побелел и зыркнул на Кузьму с такой ненавистью, что я даже испугался, как бы эти кулаки он в сторону Кузьмы Кулинина не понес.

— Что, — сказал я поспешно, — не можете объяснить? А только я молчать не буду, я вам в лицо теперь буду говорить, что думаю, потому что... — тут я постарался вспомнить все как следует, — потому что вора и убийцам в лицо надо говорить, что они воры и убийцы! А если вы за войну...

— Ах ты ж тв-в-в-варь... — медленно сказал Зорин, кладя руку на кобуру. — Ах ты ж поганая тв-в-в-варь...

— А ну заткнитесь оба, — тихо скомандовал Кузьма и резко хлопнул себя ладонями по коленям.

Я замолчал, в ярости повернулся к Зорину спиной, беспомощно топнул ногою и тут же почувствовал себя жирафой Козочкой, которой пирожного не дали, и стало мне стыдно до невозможности, а еще очень страшно. Живот мой дрожал. Я зажмурился. Секунды шли, и я уверен, что в течение нескольких из этих секунд жизнь моя висела на волоске. Тут услышал я быстрые-быстрые шаги и понял, что это Толгат подбежал ко мне и встал между мной и Зориным. Повисла тишина.

— Господь с вами, Толгат Батырович, — задыхаясь, процедил Зорин сквозь зубы, — я ж при исполнении. Чтоб я охраняемое имущество повредил... Но только я тебе, Кузьма, — тебе, Кузьма, — говорю: это пиздец. Это все из-под контроля на хуй вышло.

И я требую — ты меня слушаешь, ты? — я, блядь, требую, чтобы ты мне прямо сейчас сказал, что ты собираешься делать. Потому что вот это — вот эту тварь, — и он длинным дрожащим пальцем показал на меня, обернувшегося и смотревшего на него в упор, — вот эту тварь предъявить ты сам знаешь кому невыносимо. И я желаю знать, что ты делать будешь, ты понял? И я думаю, все тут желают знать. — И Зорин обвел присутствующих тяжелым, словно пьяным, взглядом. — Ты слышишь меня, ты?!

— Ах, веселый разговор, — сказал Яблочко, выгибая шею, качая головой и бия в землю копытом, и я понял, что ожидает он сейчас худшего.

— Я слышу тебя отлично, вопить не надо, — спокойно сказал Кузьма, захлопывая свою тетрадь, откладывая ее на траву и вставая с пенька. — Я прекрасно знаю, что делать, не волнуйся. Делать надо вот что. — Тут Кузьма закинул руки за голову, затем выпрямил их и сладко, длинно потянулся. — До Муррома надо дойти, там на месте праздник, к сожалению, отменить под предлогом болезни нашего дородного Бобо, что будет, кажется мне, не слишком далеко от истины, парк оцепить, никого не пускать и держать совет.

— Я думаю, мое мнение совету ясно, — процедил Зорин и отправился рыться в только что уложенных вещах. И до самого Муррома шли мы, считай, молча, и только Толгат все наклонялся то к одному, то к другому моему уху и бормотал мне нежные, неразборчивые слова, да я, каюсь, не очень его слушал.

И вот теперь сумерки стали опускаться на парк, и Сашенька, подойдя к Кузьме, сказал негромко: «Что же, разведем костерок? Ничего, можно, я ребят предупрежу». Кузьма кивнул, и через несколько минут костерок запылал на небольшом лысом холме ближе к набережной, и понял я, что сейчас будет вершиться моя судьба.

— Что же, — сказал Кузьма тихо, — слон не белка, в лес не отпустишь. Кто что скажет?

Молчание повисло над костром. Злобно молчал Зорин, задумчиво — Сашенька; Мозельский молчал растерянно, словно бы не понимая до конца, что сейчас происходит; молчал, закрыв лицо руками, мой верный Толгат. Аслан молчал, как будто всматриваясь в кусты и нервно крутя в пальцах какой-то маленький предмет, но душа его, я не сомневаюсь, замирала. Приоткрыв рот, молчал Квадратов, переводя изумленный, недоумевающий взгляд с одного моего спутника на другого. Молчал и я, глядя неотрывно на Кузьму, Кузьму Кулинина, и думал об одном: долго-долго еще, очень долго, а мне больно, мне так больно, а еще долго-долго, очень долго... Сейчас решат они то, что решат, но ведь не сразу сделают то, что сделают: будут думать, как привести задуманное в исполнение, и говорить слова, и топтаться на месте, и еще, не дай бог, пожелают повести меня куда-то, и там... А я все смотрел на Кузьму, смотрел на Кузьму, а Кузьма молчал печально, опустив голову, и боль каталась у меня в груди игольчатым черным шаром, и я уже не знал, за меня это боль или за него, и, если бы не страх, что слезы мои неправильно будут поняты им (а на остальных мне было сейчас наплевать), я не удержал бы слез. Невыносимой становилась тишина, и тогда Кузьма, дернув нелепо рукою, разомкнул слипшиеся губы и сказал тяжело:

— Я вижу, все мы молчим... Я понимаю, я сам думаю, и не получается у меня... Любой сценарий упирается в одно... Я, как начальник экспедиции, должен это, видимо, вслух произнести... Только объявить, что заболел, не выдержал перехода, и что мы не смогли выходить его. Как я говорил, это недалеко, в некотором смысле, от истины будет. Так что...

Мне показалось, что сами деревья задышали, — так шумно выдохнули все. Я понял, что слезы катятся

у меня из глаз, — понял только потому, что глаза у меня жгло, да вдруг перестало. Чтобы не видел того Кузьма, я развернулся, и Зорин с криком «Эй!» вдруг дернулся за мною, и я понял, что он решил, будто я убежать хочу. Стало мне так смешно, что я расхохотался, запрокинув голову, и все хохотал, не мог остановиться, а когда успокоился наконец и обернулся снова к своим, понял, что Квадратов уже говорит какое-то время, и говорит с жаром и отчаянием, и что слова его безнадежны и сам он это знает. Он замолчал посреди фразы и в большой горести пошел к подводе, сел на нее, закрыл глаза и принялся, видимо, молиться. Глядя на него, перекрестился и Мозельский; глядя на Мозельского, Сашенька усмехнулся.

— С технического точка зрения две цистерна... — осторожно начал Аслан, поигрывая чем-то сереньким, длинным и непонятным.

— Да-да, — сказал Кузьма и вдруг кинул на меня быстрый хитрый взгляд, — сейчас мы перейдем и к этому. Но, понимаете, есть один важный нюанс, который меня беспокоит. Чисто технический, так сказать, нюанс, который нам надо разрешить. Дело в том, что по финансовым документам...

И тут что-то длинно, пронзительно, тревожно запищало. Зорин подскочил на месте и трясущимися руками схватился за левый бок. Несколько секунд он смотрел на экран пейджера; потом сказал хрипло:

— Кулинин... Кулинин, поди сюда!

Кузьма подошел к нему, прочел надпись на экране пейджера, потер нос и будничным голосом сказал:

— Ну что же, вот вопрос наш и решился. Здесь ночевать не с руки, хотя мы подзастряли, конечно; в Малом Окулове зато запланированы у нас и постой, и еда, и отдых. Мозельский, Владимир Николаевич, затушите, пожалуйста, костер, выдвигаться сразу будем. Толгат Батырович, готовьте Бобо, быстро пойдем.

Я стоял в темноте, и тело мое словно заполнялось воздухом. Вдруг рука с широким стальным кольцом на безымянном пальце легла мне на щеку; то был Кузьма.

— Ах ты собачья моя морда, — быстро прошептал он. — Никому не отдам тебя, дурака.

Сухой поцелуй коснулся моей кожи, и Кузьма исчез, и игольчатый шар исчез из груди моей, и почему-то я больше не плакал, а почему — сам не знал. Чтобы не стоять на месте и не хватать воздух ртом, я на негнущихся ногах подошел к Зорину, все еще сжимавшему в пальцах пейджер, и из-за спины у него заглянул в экран. Два слова были на экране: «Доставить живым». Сильно пахло дымом: костер гас; подбежал Аслан.

— Можно и мне посмотреть? — спросил он у Зорина заискивающе, но Зорин уже прятал пейджер в чехольчик, кривя лицо.

Разочарованный Аслан, намотав на указательный палец непонятную свою игрушку, этим же пальцем назидательно погрозил мне. Тут терпение мое иссякло: я вырвал у него странный предмет и хотел уже забросить его повыше на ближайший дуб, но вдруг замер — запах у этого предмета был странно, пугающе знакомый. Когда сообразил я, что держу в хоботе, от омерзения прошла по мне дрожь: то был браслет, аккуратно сплетенный браслет из волос с моего хвоста: видимо, подлый стручок хотел поднести его в дар Алатырскому, да не успел.

«...Вы думаете, наверное, что я совершенно безразличен к Вам и к Вашей судьбе и что вообще вместо сердца у меня черствая коврижка. Но поверьте мне: это не так; я самую сильную нежность и уважение испытываю к Вам, и еще, мне кажется, многие чувства, о которых не буду здесь распространяться, потому что боюсь, они вам совершенно неинтересны. Я только прошу Вас встретиться со мною и поговорить напрямую, без вездесущих некоторых ушей: я все объясню Вам — и, главное, объясню, почему я все еще здесь, почему я не развернулся и не ушел восвояси с гордо поднятой головой после того, что видел и слышал в отношении Вас в Муроме, как велела бы совесть сделать всякому порядочному человеку. Умоляю Вас выслушать меня, пусть даже Вы меня теперь и презираете и считаете человеком без совести и чести: я все объясню, и Вы поймете, что именно совесть и то, как я понимаю честь, заставляют меня теперь следовать за людьми, ставшими мне глубоко отвратительными с той самой страшной сцены, разыгравшейся в муромском парке. Я приду к Вам этой ночью, когда все уснут: не гоните меня, дайте мне возможность объясниться и отвалить камень с сердца...»

Никогда еще не писали мне писем, если можно было назвать письмом небольшую эту записку, нацарапанную на полупустой странице, вырванной из какой-то

книги (видны были вроде бы кусочек какой-то искривленной сетки да обрывки слов: «андр...», «гриш...» и «останься, бр...»). Волнение мое легко было понять, тем более что подписи у записки (обнаруженной перед завтраком Толггатом в новой его котомочке, наспех сшитой из порезанной голубой футболки и все еще печально пустой, за одним, как мне было известно, отвратительным исключением) не было. Я догадывался, кто ее автор, и оттого волновался только больше. Время тянулось медленно: с утра я смотрел учения на монастырском плацу, лениво ел и страшно скучал.

До Арзамаса дошли мы в ужасном состоянии: мало того, что все были понуры, так еще и идти пришлось нам в основном по косограм, и дважды казалось, будто Гошка с Яблочком не вытянут подводу и она на особо крутом склоне попросту завалится вбок. Наконец Кузьма не выдержал — он подошел к подводе, залез в нее до половины и растолкал спящего Аслана. Тот вылез, помятый и розовый со сна, и, хлопая глазами, уставился на Кузьму испуганными маленькими глазками.

— Значит, так, — сказал Кузьма. — Аслан Реджепович, я очень уважаю ваши цели и намерения, но в этот самый момент мы отцепляем цистерны и оставляем здесь.

Гошка издал звук, который трудно было истолковать иначе, как неприличное русское междометие. Яблочко приподнял правое переднее копыто — мне показалось, в желании размашисто перекреститься.

Аслан побелел.

— Но в несчастном случае... — начал он трясущимися губами.

— В несчастном случае я найду вам новый формалин, — перебил его Кузьма. — Только никакого несчастного случая быть не должно, вы это понимаете? Этот слон — царское имущество, и неважно, мил он вам или не мил и какие интересные научные задачи

вы перед собой ставите, — вы видели пейджер и понимаете...

— Но я не видели! — вдруг взвизгнул Аслан. — Я не видели! Мне не показывать!

Кузьма смутился.

— Там было написано... — начал он, но Аслан, глядя на него в упор, не слушал и продолжал все тем же визгливым голосом, наставив на Кузьму длинный узловатый палец и неожиданно выпрямив свою сутулую спину:

— Мне никто не показывать! Мне ничего не говорить! Меня не считать! Я хуже Толгат! Я хуже слон! Аслан можно туда-сюда! Аслан можно отцепляем цистерны! Аслан неважно! Это оскорбление Аслан! Почему можно оскорбление Аслан?! Потому что Аслан турецкий?! Потому что Аслан не может ушел? Почему Аслан можно оскорбление?!..

И, ткнув Кузьму пальцем в грудь, бедный несостоявшийся певец своей Родины скрестил руки на груди, вытянул шею и, сверкая глазами, закусил нижнюю губу. Вдруг, как тогда, в конном клубе, сердце мое екнуло; был и Аслан живым человеком.

— Аслан Реджепович, дорогой, я вас очень уважаю, вы поверьте мне; сколько раз вы нас выручали? — сказал Кузьма мягко, кладя Аслану длинные пальцы на плечо. — Только посмотрите, ради бога, — во-первых, косогоры сплошные вокруг, лошадки наши не вывозят..

— Сам ты лошадка, мерин сраный, — обиженно сказал Гошка.

— ...а во-вторых, — продолжал Кузьма, — нельзя нам даже думать про формалин: в пейджере было написано «Доставить живым», а вы ведь понимаете, что это за пейджер... Мы ведь и раньше знали, да? А теперь, если что, нам всем головы с плеч... Вы простите Зорина, он бывает грубым — ну так он душа военная, даром что поэт. Вы как поэт поэта его поймите: он человек эмоциональный, чувствительный,



чувств сдерживать не умеет, это в команде трудно бывает. Ей-богу, мог бы — до самого конца бы цистерны вез, но так мы до Арзамаса никогда не доберемся, а нас ждут. И еще: если лошадь упадет, ногу сломает — вам же лечить, вам же хлопоты, да и мы все что делать будем?

При мысли, что ему придется иметь дело с лошадью, бедный Аслан скис. Я видел, что он отлично понимает свою правоту, но последний довод подействовал на него сильно: он сдался. Ничего не сказав и только обратно ссутулившись, эскулап наш медленно побрел назад к подводе; зато навстречу ему вылезал уже неизвестно как все услышавший, понявший и рассчитавший Сашенька с ящиком инструментов, успевший разбудить и привести в чувство Мозельского и Зорина. Цистерны отцепили, и они остались криво стоять на опушке рощицы, и Аслан даже не вылез взглянуть на них, и чувство предательства висело над нами серым пыльным облаком, и ни облегчения, ни злорадства не было во мне, а только усталость, усталость. Я шел в полудреме, и виделось мне, что пустота у меня в груди — страшная, тоскливая пустота, в которой еще недавно жило что-то огромное и важное, — это пустая комната, и по ней каким-то образом хожу маленький-маленький я. Мне очень надо найти дверь в этой комнате, но не для того, чтобы выйти, а для того, чтобы кого-то впустить, но, пока я не узнаю, кто должен войти, дверь мне себя не явит. «Что за чушь, — думаю я раздраженно. — Если бы была дверь, я открыл бы ее, увидел бы, кто за ней стоит, и пустил бы внутрь и вся моя жизнь наполнилась бы смыслом, а так я буду вечно ходить по этой пустоте вслепую и никогда не разгадаю такой дурацкой задачи; кто вообще задал мне ее и зачем я ею маюсь? Тут тепло и спокойно; сдалась мне эта дверь! Что бы и не жить с пустотою в груди...» Но от одной этой мысли сделалось мне больно, так

больно, что сердце мое лязгнуло, и я проснулся: мы вошли в Арзамас, и лязгающий железом военный пикап встречал нас.

Из пикапа вышли двое: один был полный человек в костюме, в очках, в галстукe, с портфелем — словом, обыкновенная встречающая сторона, навидался я таких, и ничем он меня не заинтересовал. Второй же был в военной форме, при погонах — две звездочки на двух полосах блестяли в утреннем майском свете, — и после недолгого раздумья он отдал Кузьме честь. Первого звали Павлом Затумбайским, и он был человек мэрии; осмотрев нас, изрядно помятых, очень удивленно, он спросил, не передумали ли мы насчет, так сказать, размещения; Кузьма с благодарностями и дифирамбами объяснил ему, что лучше предложенного им в ответ на посланный запрос варианта даже придумать нельзя: все, что нужно нам в Арзамасе, — это покой и уединение.

— Что же, — сказал Затумбайский, одновременно пожимая плечами и слегка раскланиваясь, — этого у вас, слава боже, должно быть в достатке, но вы знаете, конечно, Кузьма Владимирович, и вы, Виктор, так сказать, Аркадьевич, — тут он еще раз пожал руку Зорину и отпустил ее очень нехотя, — в любую минуту переселим вас, слава боже, в «Реавиль», номера за вами держим...

— Вы не волнуйтесь, это не понадобится, — вежливо, но очень твердо сказал Кузьма.

— Ну, тогда благодарим, так сказать, Илью Муромича за гостеприимство, — растерянно сказал Затумбайский. — Питание, конечно, вам будут, так сказать, отдельное подвозить, все по первому классу мы, слава боже, устроим...

— Нет-нет, — сказал Зорин, — нам офицерской столовой предостаточно, лично я за честь почту с русским офицером хлеб преломить.

Затумбайский только развел руками.

— Слону мы, естественно, ждем питания по заранее высланному брифу, — сказал Кузьма строго.

— Слава божечке, подготовили, — быстро отозвался Затумбайский, сделав испуганные глаза.

— Вот и спасибо, — сказал Кузьма.

Все это время Илья Муромич (фамилия его, как выяснилось, когда жали руки, была Хорин) внимательно рассматривал Квадратова, так что Квадратов, не понимая, что сделать и куда деться, осторожно зашел за меня. Подполковник все время, что Кузьма разговаривал, так сказать, с Затумбайским, производил маленькие маневры: осторожно перемещался так, чтобы Квадратов попал в поле его зрения; Квадратов же, слава божечке, от исканий его уклонялся, обходя меня то так, то эдак. Эта непонятная игра господь знает сколько бы длилась, но, к счастью, Затумбайский отстал от нас, выпросив под конец у Зорина автограф на книжке, а у Кузьмы — обещание, что Кузьма, Зорин и Аслан отужинают с представителями встречающей стороны нынче вечером.

— Что же, раз так — поехали, — сказал Хорин неожиданно приятным голосом. — Монастырскую нашу трапезу отведаете. — И усмехнулся.

Я понял шутку Хорина, только когда мы добрались до назначенного нам места: вверенная Хорину воинская часть располагалась на территории восстанавливаемого монастыря. Ушастые «послушники» маршировали по монастырской площади, на которой и мне выделили место и изо всех сил старались не косить глазами в мою сторону; подвода наша притулилась под окнами солдатских казарм; в офицерских же казармах нашли место людям моим (и Зорин всю дорогу до монастыря, не затыкаясь, тархтел о своей былой казарменной жизни, на что Аслан уважительно, но замученно кивал, а Квадратов реагировал неожиданно живо и вполне заинтересованно). Еда моя ждала меня в больших деревянных корытах; я проголодался

страшно и набросился на еду, небогатую, но свежую и сытную: булки, морковь, вареный картофель, бананы, много яблок и груш, сладкое печенье, молодые майские ветки с первой листвой обрадовали меня, и скоро наелся я до отвала. Веки мои слипались: я принялся засыпать — день был, не в пример другим майским дням, по-настоящему жаркий. Вдруг кто-то пребольно ткнул меня пальцем прямо в нежную мою подмышечку, и от боли я чуть не подскочил: пришел Зорин, и в руках у него был до половины набитый чем-то мешок.

Рядом с Зориным стоял военный человек, по всему видно — командир, но сильно помельче Хорина: на погонах одна звездочка, и полоса тоже одна, и лицо тяжелое; он смотрел на меня большими, близко посаженными глазами и молчал, Зорин же говорил с большим энтузиазмом:

— Что, капитан, доверитесь мне? С тем, что сейчас в мире происходит, у России-матушки потенциальный противник — он везде, а когда еще вашим ребятам такой шанс выпадет!

Капитан посмотрел на часы и вздохнул. Видно было, что отказывать начальнику охраны царской экспедиции и знаменитому человеку ему не с руки, но и связываться с Зориным ни малейшего желания капитан не испытывал и Зорину не доверял, тем более что близилось время обеда. Обед капитану пропускать явно не хотелось, но и выбора у него, очевидно, не было.

— Что же, — сказал капитан, — вот пообедают — а потом и хорошо.

— Э, — сказал Зорин, — после обеда они сонные будут. Давайте до обеда, как раз через десять минут начнем; шас бегом построятся — не развалятся.

— Ну что ж, — сказал капитан, — если мы с вами в вашем лице считаем необходимым...

— Мы с вами считаем, — твердо произнес Зорин. — Сами знаете, капитан: политическая обстановка может забросить русского солдата в такие боевые

обстоятельства, в которых только полученный под вашим командованием уникальный опыт может сделать его гибель ценной для Отечества.

И, вдохновленный этой фразой, капитан пошел отдавать приказ на срочное построение, а Зорин, обойдя меня пару раз кругами (отчего я, и так уже обеспокоенный, очень сильно занервничал), куда-то исчез и вернулся через пару минут с Толгатом.

Вскоре выстроены были передо мной человек двести прямоугольником — тощих, бритых, сутулых; уши их, просвечивая на солнце, торчали в стороны, и я испытывал сострадание пополам с чем-то еще, горьким, знакомым и плохо мне понятным, при виде этих призванных кое-как служить России лопоухих невольников, мающихся за сотни километров от родного дома. Вытянув руки по швам, замерли они, глядя на меня неотрывно, и в глазах их, кроме застарелой усталости, светилось, слава богу, какое-никакое любопытство. Зорин расхаживал передо мной, держа в руках мелко исписанные бумажки, и широко улыбался, и я видел, что улыбка эта беспокоит бедных «послушников», что они не привыкли, чтобы стоящий перед ними человек улыбался, и что всякая непривычная ситуация означает для них: «Жди беды». Кое-кто из них, впрочем, тоже робко заулыбался, словно в цирк пришел; тут сволочь Зорин внезапно гаркнул так, что я аж подпрыгнул:

— Р-р-р-р-равняйся!

Дернулись солдатики мои, вывернули головы.

— Смир-р-р-р-рно!

Дернулись опять. Не улыбался уже никто, и глаза стали пустые.

— Вольно! — мягко сказал Зорин с улыбкой. — Простите, ребята, не удержался по старой привычке. Я ведь в Чечне... Ладно, не будем время тратить. Знаете что? А садитесь-ка вы попросту на землю, будем свободно говорить. Капитан Фадеев, можно ребята просто на землю сядут? Я прошу.

Капитан Фадеев, куривший рядом и готовый, кажется, на все, лишь бы Зорин как можно скорее отстал от него со своими выдумками, скривил губы и медленно, не мигая, опустил голову, а потом постучал по часам и покаянно пожал плечами: мол, обед скоро. Зорин кивнул.

Солдаты неловко сели, где стояли.

— А ну поднимите руки, кто из вас СЛОН, — потребовал Зорин и сам своей шутке засмеялся. Руки не поднялись. — Давайте-давайте, кто не любит Офигенные Нагрузки, разве есть такие? — продолжил он, но энтузиазм его явно поугас.

Солдаты молчали. Пара человек заискивающе улыбнулась.

— Вот я уже улыбки вижу, — сказал Зорин. — Ну слава богу. Я вам не командир, от меня ничего плохого не будет, вы меня не бойтесь. Я Зорин, Виктор Зорин, вы, может, слышали обо мне. — Тут Зорин взгляделся в лица солдат. Лица эти, к большому удовольствию моему, не выражали ничего; Зорин слегка смутился. — Ну да это неважно, — сказал он. — Здесь я в качестве руководителя охраны царской экспедиции по доставке личного слона Его Величества Государя Российского, подаренного ему Великим Султан-Ханом Турецким, в неназываемую секретную локацию. Слоны вот. — Тут Зорин широким жестом показал на меня, как будто солдаты могли спутать меня, скажем, с расположенным невдалеке флагштоком. Слава богу, те с помощью зоринского жеста легко определили, где флагшток, а где я, и именно на мне сосредоточились.

— Толгат Батырович, дорогой, а покажите нам слона со всех сторон, пожалуйста. Напра-во! — гаркнул Зорин.

Ни за какие богатства мира не подчинился бы я этой надменной и грубой команде наглого позера, но Толгат нежно тронул меня пяткою за правым ухом, и вовсе не хотелось мне позорить Толгата, так

представляя все, будто у него надо мною никакой власти нет; я повернулся.

— Нале-е-е-е-во! — рявкнул Зорин.

Вновь я повернулся.

— Кру-у-у-у-у-гом! — продолжил этот наглец, прекрасно понимая, в каком я положении нахожусь, и пользуясь положением этим без зазрения совести. — Нале-е-е-е-е-во! Напра-а-а-а-а-во!

Я крутился, ненавидя Зорина, как до того ненавидел одного только человека; наконец развлечение это мерзавцу надоело, и занялся он бесстыдно моей анатомией, касаясь в словах своих не только самых интимных подробностей строения моего, но и самых болезненных вопросов в мрачной и жестокой истории вида нашего биологического. «Ничего, — думал я, — ничего; не сомневаюсь, хорошо помнишь ты и Рязань, и Григорьевское; я терпеливый; а все-таки ты знаешь, что я до поры до времени терпеливый; ты меня боишься, Зорин, а не боялся бы, так и не задира бы меня...» Пока я был захвачен этой неожиданной для себя мыслью, Зорин перешел к рассказу об истории боевых слонов, и тут, надо признаться, пожалел я, что с самого начала не слушал его: мать и отец, сколько ни твердили мне, что нет почетнее судьбы для нас, чем судьба боевая, были все-таки образованы нехорошо — с малых лет делом их была битва, и только в этой науке они преуспели. Теперь же, слушая Зорина, многое я узнал и горько подивился глупости человеческой и тому, как же люди, биясь с нами в одной войне за другую бок о бок и жизни свои нам вверяя, мало стремились нас понять. Никто договориться с нами не пытался и прямого союза не желал с нами установить и того не понимал, что война за праведное дело и за своих людей для нас — дело чести и совести: сколько пустого делалось! Сколько лишнего! Представил я себе, как приходилось отцу моему и матери моей терпеть все унижения, о которых Зорин

говорит: и голодом нас морили, и били, и анкусами кололи, и все для того, чтобы подчинить, как людям думалось, непокорного слона себе, — а того они не понимали, что не непокорность слон выражал им, но оскорбленное достоинство свое; и ради муста давали предкам моим алкоголь, и опиум, и даже ладан, а тем достаточно было увидеть врага и услышать военную музыку, чтобы сердце их наполнилось боевой отвагой... Странно ли, что мы всегда заносчивы были с людьми, даже когда воевали за общее дело, и до разговоров не опускались! Вот и сейчас Зорин крутил меня и вращал, и разлагольствовал перед бедными ушастыми соратниками моими, и пальцами в меня тыкал, а ни мне, ни им слова сказать не дал; что же, мы и не настаивали, хотя четырнадцать первых лет жизни моей провели мои родители, светлая им память, в наставлении меня касательно слоновьей военной науки, и я много чем мог бы поделиться. Ах, Зорин, Зорин, что ты плетешь! А у бедных солдатиков на жаре уж головы начали клониться, и наконец Зорину пришлось гавкнуть: — Отставить сон!!!

Несчастные солдатики встрепенулись.

— Ничего, — сказал Зорин весело, — сейчас к практике перейдем, тут-то вы и взбодритесь. Толгат Батырович, вы спешьте на всякий случай.

Толгат нехотя слез с меня, и Зорин продолжил:

— Слушайте, теперь самое главное. Вы, может, думаете: чего это Зорин тут слонем вертит, лучше бы покататься дал! У нас, мол, не семнадцатый век, мы в жизни своей боевого слона не увидим, зачем нам это все? Так вот, знайте: во Второй мировой войне англичане в Бирме на слонах воевали; а еще десять лет назад в Бирме в гражданскую войну слоны использовались армией, чтобы там пройти, где ни одна машина не пройдет. Мы с вами должны помнить, — тут Зорин понизил голос, и некоторые солдатики вытянули тощие шеи, — нет такого места на земле, где



у России не было бы территориальных интересов. Бирма — значит, Бирма, Африка — значит, Африка. И я вам, ребята, говорю: я вот этого самого милого слоника, — тут Зорин вытянул палец в моем направлении и хорошенько им потряс, — вот этого нашего лапочку Бобо имел шанс видеть в мусте. Муст — это, ребята, такое дело, когда разъяренный слон ни хрена не понимает, куда прет и что творит, и я должен вам сказать, ребятки, что я тогда чудом не обосрался. Этот милашка-слоняшка, к вашему сведению, в мусте пол-Рязани перетоптал, а что он сделал в селе Григорьевском, я вам даже рассказывать не хочу...

Тут меня бросило в жар, в ушах у меня зазвенело, и, когда я очнулся от ужаса, Зорин уже говорил о том, что достаточно, чтобы враг из тактических соображений выпустил на вражескую роту двух-трех одетых в специальные броники слонов в состоянии муста, чтобы, во-первых, от роты ничего не осталось, а во-вторых, чтобы любая операция была провалена, — это раз. А два — что ни одно укрепление в джунглях не может считаться надежно защищенным: один хорошо обученный слон с подвязанной к спине тикалкой разнесет любой объект стратегического значения в куски, потому что может нести на себе до 300 кило груза.

— Поэтому, — сказал Зорин, — умение обезвредить боевого слона — задача для эксперта, и будь у нас больше времени вместе, я бы из вас этих экспертов сделал, вы мне поверьте. Были бы вы элитным подразделением противодействия вражеской элфантирии, цены бы вам не было с точки зрения защиты нашей Родины или даже с точки зрения ведения наступательных операций при помощи слонов. Я, друзья, скажу вам по секрету, — тут Зорин понизил голос снова, — что много об этом думаю и собираюсь на эту тему кое с кем поговорить. Более того, доверюсь вам: мне кажется, что в смысле, например, работы с разгоном всякого дерьма несанкционированного

на наших улицах один слон в рядах ОМОНа может сделать больше, чем сто человек. Но сейчас, конечно, в наступлении не попрактикуешься. — Тут Зорин посмотрел на меня с неприязнью, и я ответил ему тем же. — Будем практиковаться иначе. Начнем с отработки диверсии в тылу врага.

Я похолодел. Понятно мне было, что все это делается Зориным из двух соображений: в первую очередь, покрасоваться перед несчастными подневольными ушастиками этими, которые давно слюну сглатывали, потому что об обеде Зорин, разумеется, и думать забыл, а во вторую — меня позлить; но что именно он удумал и зачем мешок принес, я никак сообразить не мог. Зорин же, довольно скалясь, полез в мешок, достал оттуда буханку серого хлеба и потряс ею перед слушателями.

— Слон, — сказал Зорин, — животное глупое, доверчивое, а главное — жадное и всегда готовое пожрать. Поэтому диверсия против боевого слона осуществляется так: из хлеба катаются шарики, в шарики закатываются иголки. Ну, с иголками мы сейчас, конечно, практиковаться не будем, а шарики покатаем... — И Зорин принялся, доставая из мешка буханку за буханкой, передавать их солдатикам по рядам. — Мякоть достаем и начинаем, начинаем. — Тут Зорин сам принялся катать шарик, разорвав свою буханку пополам. — Давайте, ребятки, вы у меня элитные диверсанты узкого профиля или кто? Пока глупый думал, умный сделал. Шарик должен быть размером со сливу (тут я заметил, что бедняжки тайком отправляют в рот корки) — вот такой. — И Зорин показал темно-серый шарик отвратительного вида, при мысли о поедании которого меня чуть не стошнило. — Управились?

Более или менее все управились. Зорин, вытянув шею, смотрел на шарики, которые солдатики поднимали над головами, и командовал: этот бы покрупнее, а тот можно помельче. Наконец, оставшись более

или менее удовлетворен, он указал на меня пальцем и продолжил:

— Понятно, что для надежности хорошо бы слону это хозяйство прямо в еду подложить во время кормежки. Но гарантии поедания в этом случае нет. Что мы делаем в идеале? Подкрадываемся к слону поближе, вот так, вот так, — тут Зорин, пригнувшись, подобрался ко мне на расстояние шага-двух, — и закидываем мерзавцу шарик прямо в пасть! А потом еще один и еще один!

К моменту, когда я понял, что стою уже давно с открытым от возмущения ртом, было поздно — мерзкие катыши оказались у меня на языке. Плюнув ими обратно в Зорина что есть силы, я попытался двинуть его хоботом по голове, да подлец успел отскочить. Понеслись сдавленные смешки.

— Этот балованный, — сказал Зорин злобно, — но принцип, думаю, вам понятен, ребята. Другой бы проглотил и радовался. А минут через десять—двадцать вы бы посмотрели на него... Так, это если мы проводим диверсию в тылу, слон туп, глуп, сонлив и спокоен. А если мы встречаем слона на поле боя — у кого есть версии, что мы делаем?

— Стреляем? — раздался робкий голос из рядов.

— Это, ребята, хороший ответ! — обрадовался Зорин. — Хороший ответ! Только помнить надо, что ответ этот теоретический. На поле боя слон, ребята, находится в состоянии муста, про это забывать нельзя. Я, ребята, вам говорил: я даже этого вялого барбоса в состоянии муста видел, и дело это страшное. Я, конечно, и не такое в своей жизни видал, но должен признаться: даже я слегка в штаны подналожил. — Тут Зорин приятно засмеялся. — Так что стрелять — это сказать легко, а сделать трудно, хотя я в вашей храбрости, конечно, не сомневаюсь. Рассказываю: самое лучшее, если удастся, — тут Зорин взял длинную палку, которую тоже притащил с собой, — это засечь момент,

когда слон в ярости на задние ноги встает. Впечатление — жуть, но уязвимость у цели в этот момент высокая. В голову не метим, голова каменная во всех отношениях, — тут подлец снова усмехнулся, — слабые зоны, — и Зорин принялся тыкать в меня палкой, как если бы я чучелом был, — живот — раз, сердце — два, печень — три...

И тут меня осенило. Ах, Зорин, Зорин, сейчас ты получишь то, что хочешь, подумал я. С большим энтузиазмом я взревел что есть мочи и встал на задние ноги, передней выбив палку у Зорина из рук. Хобот я задрал к облакам. Зорин побелел и попятился. Глаза мои закатились. Солдатики, насколько я мог судить (видно мне было плохо), все повскакали. Держась на задних ногах и ревя, как дурак, я пошел на Зорина. Зорин попятился, подняв перед собой трясущиеся руки.

— Муст! — закричал кто-то из солдатиков. — Муст!

«То-то же!» — подумал я, упал на все четыре ноги и погнал Зорина кругом по плацу. Бежал Зорин быстро, но и я был хорош: стараясь не отставать от него, я прихватывал Зорина хоботом за штаны и дергал их вниз, так что Зорину пришлось сзади в штаны вцепиться и замечательно смешно выбрасывать ноги вперед на бегу. Сделали мы круга два, и я, не выдержав, остановился и расхохотался. Медленно, стараясь отдышаться, вернулся я к солдатикам и услышал, как Толгат спокойно говорит:

— ...находит в состоянии муста главную уязвимость противника и преследует его, используя эту уязвимость, до полного изнеможения, после чего, как мы видим, совершенно внезапно успокаивается и приходит в прекрасное расположение духа.

— Обедать! — рявкнул Зорин, словно бы солдатики его задерживали, и, пнув мешок с остатками хлеба, направился к офицерской столовой. Не без тоски в сердце я понял, что «муст» мой еще будет припомнен мне, но ни о чем, ей-богу, в этот момент не пожалел.

Ушел обедать и Толгат, мне же еду мою принесли не сразу, и Кузьма рассказал на следующий день, что Зорин пытался убедить всех, будто слона после муста кормить вредно.

Я проспал, довольный, почти до сумерек, и вечером Толгат чистил и купал меня, как не делал уже очень-очень давно. Под струями теплой воды, льющейся из шланга, вдруг стало мне сладко и горько одновременно, и я понимал, что Толгат чувствует то же, что чувствую я, — словно из другой жизни была эта теплая вода; я и насладиться ею как-то мог не вполне. Мы закончили быстро и посмотрели друг другу в глаза, как два вора, а почему — я и понимал, и не понимал, и Толгат исчез. Быстро темнело; вывели солдатиков на построение, потом увели; я думал о себе, и о них, и о том, что это значит для нас — служивым быть в стране российской, — когда вдруг в темноте раздался тихий голос прямо у меня под ухом и я едва не подскочил.

— Вот я и пришел, — сказал Квадратов, становясь передо мною. — Простите, если я разбудил вас и вообще глупо себя веду: сперва письмо какое-то написал, как барышня, теперь вот разговаривать притащился. Но мне очень надо вам, Бобо, объяснить, почему я так себя повел, когда вас убить хотели: меня стыд мучает ужасно. Я понимаю, что, как порядочный человек, я после этого развернуться должен был и уйти. Вы меня, наверное, презираете за то, что я остался, и на мне это, как камень, лежит.

Я в изумлении затряс головою: мысль презирать Квадратова и в голову не приходила мне; с трудом я понимал сейчас, о чем он говорит.

— Я понимаю, что тем, что остался, я словно бы поддержал тех, кто вас убить был готов, — у Кузьмы Владимировича явно маневр был задуман, но Зорин этот ужасный и Сашенька ваш... вы простите, что я за глаза говорю, но только я не знаю, кто из них

страшнее. А я с ними продолжаю хлеб преломлять, и мне страшно подумать, кем вы меня считаете! — сказал Квадратов с горечью. — А я, несчастная душа, оказался между Сциллой и Харибдой. Каюсь, грешен: накануне этого ужаса я Кузьмы Владимировича запрет нарушил и в Макаровке у дьякона телефон раздобыл. Детки у меня... Вот жена и рассказала мне: семинарский наставник мой... Духовником моим был, сто лет не слышались, а тут недавно... Ну, не буду вам все рассказывать, не буду утомлять. Прекрасный он человек, удивительный, а тут стали его по-разному прессовать. И вот он звонил, меня искал, хотел поговорить. С обыском к нему приходили, к священнику — с обыском! Он должен был против одного хорошего человека свидетельствовать, да отказался. А теперь ему говорят: «Воскресная школа у вас есть?» «Есть», — отвечает. А они ему: «А мы, значит, побеседовали с детишками, которые к вам в эту школу ходят, и много интересного узнали». «И что же, — говорит, — вы узнали?» «А что вы не одобряете спецоперацию и так далее, и так далее». Он им и говорит: «Я убийство людей не одобряю, войну не одобряю, насилие над людьми не одобряю. Я православный священник, христианин, — что я, по-вашему, должен детям говорить?» Ну что же, за три дня храм у него отобрали, скандал страшный, да и это бы еще ладно, а то не ладно, что — так он моей жене сказал — возбудили против него дело за дискредитацию армии... Семьдесят три года человеку... Господь с ними, с архивами моими, — я иду теперь за него просить, не переживет же он...

Тут я не выдержал и перебил его.

— Зачем вы мне это говорите, ну зачем? — сказал я с мукою. — Разве вы должны передо мной оправдываться? Вы прекрасный человек, я никогда и ни за что вас не осужу. Вы скажите мне другое: вот ваш духовный наставник, праведный человек, — почему такое происходит, где в этом справедливость, за что это ему

выпадает?! Чего ваш Бог хочет от него, как Он в этой стране работает? Я не понимаю, объясните мне!

Квадратов смотрел на меня широко распахнутыми глазами, и за выпуклыми стеклами очков глаза его казались совсем детскими.

— Если бы я знал, откуда... — сказал он медленно, и тут мы поняли, что мы не одни.

Темная фигура, чем-то знакомая мне, стояла рядом с нами. То был Хорин, только сейчас был он в гражданском, в черных спортивных штанах и черной водолазке, и казался в темноте почти тенью, и я понял, что он не хотел быть замеченным рядом с нами на плацу. Не сразу сообразил я, что перед Хориным стоит детская коляска, и мне показалось сперва, что она набита игрушками или одеждой; Хорин быстро встал так, чтобы коляску было не разглядеть; белое лицо его казалось испуганным, но это все могло быть из-за нехорошего света высоких ночных фонарей.

— Извините, — сказал Хорин, обращаясь к Квадратову, — я вас искал.

— Меня? — удивленно спросил Квадратов. — Но я ничего не решаю. Кузьма Владимирович...

— Я искал вас, — твердо сказал Хорин, и скулы у него сделались квадратные. — Послушайте, я не знаю, кто вы, но я знаю, что про вас говорят.

— Говорят?.. — переспросил Квадратов растерянно.

— Что вы чудотворец, что вы лечить его идете, — с напором сказал Хорин. — Мне все равно, я в Бога не верю. Но мне надо.

— Я не понимаю ничего, — сказал Квадратов тихо.

— Послушайте, — сказал Хорин, — вы или очень хорошо играете спектакль, и я это уважаю, я военный, я про секретность все понимаю. Или вы правда не знаю что в этой экспедиции делаете, и это меня не касается. Но если вы... Если у вас сердце есть...

Тут Хорин сделал шаг в сторону и обошел коляску. Я увидел в коляске удивительное существо с огромной,

тяжеленной головой на шуплом тельце; крутой, выпуклый, как у меня, лоб выпирал вперед, торчали в стороны выдавленные разросшимися затылочными костями уши; под громадными надбровными дугами блестели умные темные глаза. Тяжеленные, огромные слоновьи ноги стояли на подножке коляски. Мальчик-слоненок смотрел на меня, а я смотрел на него с ужасом и болью.

— Сделайте что-нибудь, — сказал Хорин. — Сделайте что-нибудь. Они долго не живут. Я хочу, чтобы он жил. Он умница, он хороший. Сделайте что-нибудь.

— Послушайте, — сказал Квадратов, — это горе, я вам страшно сочувствую... Как зовут вашего сына?

— Петр, Петя, — сказал Хорин.

— Но я не врач, — сказал Квадратов.

— Сделайте что-нибудь, — сказал Хорин. — Она меня прокляла, снимите проклятие.

Квадратов помолчал, а потом ответил:

— Расскажите.

Хорин потянул носом.

— Ему восемь лет. Жена рожала, я в Донецке был. Неважно. Бабка одна. Не бабка — баба одна. Сказала: «Сам животное, и дети твои будут животные». Я ее за это... Не сильно. Не в себе был, жена рождает, я там. Неважно. Извинился перед ней, она слова не сказала. Молился, свечи ставил. Сделайте что-нибудь. Пусть на меня перейдет.

Квадратов еще помолчал, а потом сказал:

— Сразу предупреджу: секретность полная. Это понимаете?

Хорин только кивнул.

— Правду про меня говорят, — сказал Квадратов, — но не всю. Тело сына твоего спасти не могу, а с твоей душой чудеса сотворю. Душа после моей молитвы очищается, рождается заново. Проклятие сниму, но метку на тебе, сын мой, оставлю: начнешь грешить — во сто крат все вернется, такая мне сила дана. И оброк на



тебя положу: слабому зла не делай. Солдатам отцом будь, на жену руки не подымай, пса своего не обидь, на сына крикнуть не смей...

— На сына я в жизни не...— перебил Хорин и вдруг осекся.

Квадратов улыбнулся и покачал головой.

— Видишь? — сказал он. — Я еще и молиться не начал, а уже душа твоя к свету тянется, правды просит. Что, не боишься моей молитвы?

Хорин колебался, глядя на истоптанный плац.

— Смотри, — сказал Квадратов, — я не настаиваю. Но только знай, проклятие — оно как гангрена: то ли еще будет.

Хорин вскинул глаза на Квадратова.

— Молитесь, батюшка, — быстро сказал он.

И Квадратов, возложив обе руки ему на голову, что-то невнятно забормотал, а потом стал вертеть Хорина, как юлу, и плевать. Я подошел к «слоненку» Пете — он играл чем-то небольшим, неразличимым в темноте; я наклонил голову и взгляделся: то был маленький зеленый пластмассовый солдатик. Насупленно улыбаясь, мальчик протянул солдатика мне на открытой ладони; я взял его и понес Толгату в котомочку.

Выскочил на нас из-за тепловой трубы плешивый пес с торчащим рваным ухом, увидел меня, шархнул в сторону и визгливо заорал:

— Блядь, ты еще кто?! Тебя на хуй не хватало!

Я остановился, и все, кто шел за мной, вынуждены были остановиться.

— Я слон, — сказал я терпеливо. — Вы не бойтесь, пожалуйста, я очень большой, но я вас не обижу. Я зверь подневольный, не по своему желанию тут, работать меня привели.

— Работать, сука, — зашелся воплями пес. — Все вы тут работаете, бляди сытые; не было печали — черти накачали! Двадцать лет мы тут жили-загибались, никому до нас дела не было, берег Боженька, а теперь, значит, работничков привалило, стройку, бляди, развели, норы поразворочали, щенков тащить некуда! Бегают, задами вертят, то бутерброд с дерьмом беденькой собачке пихают, то при виде собачки бабы их визгом заходятся! Теперь тебя, дерьмо сраное, притащили — что еще удумали?!

— Я скоро уйду, — терпеливо сказал я. — Вы извините. Я понимаю, тут ваша территория, наверное...

— Понимает он, блядина стоеросовая! — еще пуще взвился пес. — Да мы за эту территорию полгода с окапольскими бились, пятерых, на хуй, потеряли,

сучка моя зимой от ран скончалась, даром что дву-  
жилъная была, я один со щенками остался! Понимает  
он, выблядок! А эти явились не запылились, устрои-  
ли тут блядство свое креативное, ненавижу пидарасов,  
знаю я, чем это кончится, ох, знаю-у-у-у-у-у!.. — И пес  
горько взвыл, припав на задние лапы.

Мне стало жалко его ужасно — жалко, как ста-  
ло бы ужасно жалко всякого, теряющего дом свой,  
и я спросил его:

— Чем?

Пес вдруг поник и сказал тихо:

— Вызовут они зачистку, вот чем. Я их насквозь  
вижу, эти суки из тех, кто зачистку вызывает. Пизда  
нам, миленький. Со дня на день ждем, стараемся не  
высовываться — да как не высовываться, жрать-то  
надо, а мусорники вон где. Сдурил я, что на глаза вам  
попался, да обычно они по этой стороне не ходят —  
это из-за тебя все, большой ты, с парадного хода тебя  
в их «ДЗЗЗЕРЖИНСКИЙ» блядский не протащишь.  
Ладно, посмотрел я перед смертью на слона живого —  
и то хорошо. Пойду своим расскажу, какой ты, — мо-  
жет, и они тебя одним глазком сунутся посмотреть.  
Ты уж нас не выдавай, на нас не пялься, притворись,  
что вообще нас нет. Дело?

— Дело, — тихо сказал я. — Как вас зовут-то? Я пом-  
нить буду.

— Нам имена не положены, — сказал пес.

Тут из-за спины моей выскочил Вересков и, дер-  
жась от пса на вполне приличном расстоянии, звон-  
ко закричал:

— А ну брысь! Брысь!..

Пес оскалил на него зубы и зарычал, отчего Вере-  
сков быстро сдулся.

— Это я так, для виду, — сказал мне пес. — Все  
равно пропадать. Ну, бывай, служивый. — И исчез  
с этими словами, нырнув под фундамент какого-то  
разваливающегося здания.

— Бедный слоник испуга-а-а-ался, — засюсюкал Вересков и панибратски хлопнул меня по ноге, отчего мне тут же захотелось этой самой ногой его хорошенько пнуть. — Вы уж простите нас, друзья, завод был огромный, есть еще, так сказать, пережитки разрухи, но знайте: уже назначена зачистка, все, скоро никакой сволочи бродячей, никто наших гостей пугать не будет!

— Это неплохо, — сказал идущий рядом с Вересковым Зорин. — Тут дело не в собаках, а в общем впечатлении. Вот Кузьма Владимирович у нас специалист по впечатлениям, пусть он подтвердит. Да, Кузьма Владимирович?

— А как же, — сказал Кузьма, явно думая о чем-то своем. — Без зачистки какой патриотизм. Патриотизм — он обычно именно с основательной зачистки и начинается.

Вересков блеснул на Кузьму большими круглыми очками в прозрачной пластиковой оправе, с которых спускалась тонкая серебряная цепочка, и я вдруг напугался: мягонький кругленький Вересков с неунывающей детской улыбкой внезапно напомнил мне наклонном головы нашего Сашеньку — Сашеньку, которого я ни разу, кажется, не видел без улыбки на устах.

— Ну, простите за буераки, — сказал Вересков, перепрыгивая через очередное скопление деревянного лома, валяющегося на дороге. — Почти пришли. Парадный вход в наше креативное пространство вы видели — там чистота, сверкание и Божья благодать, все зовет и манит, и заманит многих, мы надеемся. Работаем над этим с утра до ночи, очень интересная у нас стратегия, Кузьма Владимирович, мечтаю об этом поговорить с вами как со специалистом, жду вашего благословения и ваших советов как манны небесной — мы знаете что придумали? Мы на патриотизм вообще не давим, совсем. У нас же как? Произнесешь слово «патриотический» — отсечешь три

четверти молодежной аудитории, такие времена. А мы ханипот, ханипот построили, со свистелками и, извините, перделками. Всех зовем: заходи, смотри, твори, а мы потихоньку твоим воспитанием займемся. Поверите? Главный бунтарь у нас вообще я! Я и директор, я и бунтарь! Вообще, поверите, хотел без «ZZZ» в названии обойтись, хотя буква эта мне мила, как пчелке цветочек! Ну да старшие настояли, а старших слушаться надо... А вот мы и сворачиваем, вот мы и пришли, Толгат Батырович, слонику головку пригнуть придется и вам на него прилечь, вы уж простите...

Я пригнул голову и опустил уши как мог и почувствовал, как Толгат вжался в меня. Мы подошли к широким, но не слишком высоким распахнутым дверям, далеко внутри играла музыка, и мы двинулись узким, но чистым коридором и вышли в огромное просторное пространство под высоченным потолком, где сновали бойкие молодые люди, и все они разом замерли и уставились на меня, на меня.

— Ну, — предовольно сказал Вересков, делая вид, что ничего особенного не происходит, — пойдете-пойдете, все покажу-расскажу.

— Ухххх! — сказал Зорин, вертя головой, и мы двинулись медленно — я впереди, люди мои за мною, — и посетители расступались, наводя на меня бесчисленные свои телефоны, а Вересков пяtilся прямо под хоботом у меня, и поводил руками вправо и влево, и показывал туда, за стеклянные перегородки, и все говорил и говорил:

— Ну-с, я люблю шутить, что была фабрика «Заря», а стала заря нашей молодости... Всю фабрику, конечно, не освоили, огромная она, но два цеха с переходами прихватили-подхватили... Шутим, конечно, что один цех мужской, один женский, но ни-ни-ни, ничего такого в виду всерьез не имеем... Ну вот это мужской цех, смотрите-глядите, с этой стороны мастерская с три-дэ-принтером, токарно-столярная мастерская

с электроникой очень приличной, тут моделирование, тут пошла арт-мастерская огромная, мы ж не консерваторы, хоть инсталляция, хоть перформанс... Тут танцевальное пространство, оно же самбо, борьба, йога, все эти дела. И пошла сцена, до восьмисот человек вмещаем, тут через пятнадцать минут выступаем как раз. И по проходнику-переходнику пошли в женский, так сказать, зал. *(Мы пошли.)* Вот видим практически мирового уровня швейные мастерские у нас и сразу же подиум для показов, очень надеемся наши фэшн-показы важной приманкой сделать. Кухня-зал для мастер-классов, оборудование по первому слову техники, на шестьдесят человек расчет. Тоже пространство хорошее: будем наших девчонок женской борьбе обучать, и не только самозащите: мы тут собираемся их в военные училища готовить, на полном серьезе... Читальный зал и библиотека, пуфики-шмуфики, все книжки новые заказываем, никакого старья, и вы, конечно, Виктор Аркадьевич, в полном комплекте, с замиранием следим... Ну и кафе тут же, рядом с книжками, конечно, — и тоже, видите, сценка есть? Это для литературных вечеров у нас, чтобы с чаем и разговорами... И у каждого столика видите розеточку? Моя идея, моя забота: пришел утром, сел с ноутбуком — а там и творческая мастерская, а там и вечер, а там и лекция, а там и концерт, и вот ты уже весь наш...

Вдруг Вересков осекся и расплылся в своей медленной, прелестной улыбке.

— Я за временем не следил, — вдруг сказал он, — а нам пора ведь, вас же ждут очень, Кузьма Владимирович, — а уж вас как ждут, Виктор Аркадьевич! Да что ждут — я сам каждого слова жду-мечтаю... Пойдем-пойдем быстренько, вы простите, я фанат своего дела, я часами могу... — И Вересков почти бегом побежал обратно к переходу в мужской цех.

Внезапно Кузьма сказал:

— Простите, пожалуйста, Дмитрий Константинович. Вересков замер, а потом крутанулся на одной ножке и оказался с Кузьмой лицом к лицу.

— У меня один вопрос всего, — сказал Кузьма.

— Счастлив буду! — с замершей улыбкой воскликнул Вересков.

— А как же задача построения устойчивой патриотической семьи? — очень серьезно спросил Кузьма. — Меня волнует, знаете, что девушки у вас в одном цеху, молодые люди в другом по большей части. Выйдут наружу — и начнут знакомиться, не дай бог, с либералами. Очень, очень волнует.

— Так мероприятия же! — всплеснул руками Вересков. — На фэшн-показах вместе, на лекциях, концертах, выставки я еще забыл упомянуть, дубина стоеросовая, — вместе! А в кафе? Самое то под чаек... Вместе!

— Понимаю, — задумчиво сказал Кузьма. — Отдых вместе, работа врозь. Неплохо, неплохо. Только не приведет ли это нашу патриотическую молодежь к тому, что будущие муж и жена не умеют совместно решать творческие и боевые задачи? Вот что меня очень беспокоит. Надо, надо, мне кажется, обязательно внести в план работы как можно больше тяжелых, нагрузочных мероприятий, приучающих девушек и молодых людей слаженно трудиться бок о бок. Быть, так сказать, одной сатаной. Например, субботники по уборке территории с переносом грузов на большие расстояния помогли бы, на мой взгляд. Работа по расчистке заброшенных цехов могла бы отлично пойти. Часть зачистки пространства от собак под руководством специалистов тоже наши прихожане могли бы взять на себя, очень должно эмоционально сблизать.

Зорин пнул Кузьму локтем в бок. Я посмотрел на Сашеньку — тот ковырял пол носком и облизывал губы. Вересков смотрел на Кузьму, не переставая улыбаться. Когда Кузьма договорил, Вересков вытащил из кармана джинсов узкий черный блокнотик с прикрепленной

к нему металлической ручечкой и быстро что-то накалякал.

— Золотые слова! — сказал он мягко. — И принцип понял, и идеи конкретные записал! Спасибо вам огромное, Кузьма Владимирович, будем работать, работать и работать! Я тоже хотел задать один вопрос всего: с восторгом читал про сапоги для вашего слоника, слежу внимательно за патриотическим творчеством нашего земляка Гогоши Яковлевича... Не подошли сапожки, да?

И прежде чем Кузьма успел открыть рот, Вересков глянул на часы, в ужасе прикрыл пухлые розовые губы рукой, воскликнул:

— Бежим-бежим-бежим! — и помчался туда, где должна была нас уже ждать патриотически настроенная молодежь города Дзержинска, и не осталось у нас никакого выбора, кроме как помчаться за ним.

Народу перед сценой и правда было много — и камер много, и меня поставили справа от сцены, а люди мои сели в первом ряду, и после бурного выступления Верескова, рассказавшего, что его маленькое дело как директора — всех привечать и ни за что не отвечать (смех), вышел на сцену Кузьма. Я вдруг увидел, что синий его костюм плохо сидит на нем; что Кузьма мой, как и я, похудел ужасно; что брюки его дают в поясе большую складку; и еще я понял внезапно, что Кузьма, кажется, к речи не готов и произносить ее не хочет, а говорить все равно будет, и неожиданно испугался, сам не знаю чего. Кузьма же, перекинув микрофон из руки в руку, посмотрел в зал и медленно, широко улыбнулся, и вдруг я вспомнил, когда видел у него такую улыбку, — было это в Богучаре, в Богучаре: «Илюша, хочешь на слоне покататься?..»

— Здравствуйтесь, дорогие юные и не только юные патриоты, — сказал Кузьма мягко. — Мы же здесь все патриоты, да? И пространство наше новое — патриотическое, хотя мудрый Дмитрий Константинович



предлагает на это слово не напирать — думает, люди его испугаются...

Я покосился на Верескова. Он стоял и миленько улыбался, сложив пухлые ручки на груди и набычив круглый лобик.

— А я думаю, хорошее слово, чего его бояться, — задумчиво сказал Кузьма. — И то, что Дмитрий Константинович его немножко стесняется, — это очень о многом сегодня говорит. О том, как им пользуются и какие вещи под его прикрытием делают. Я знаете о чем думал все время с тех пор, как Дмитрий Константинович поделился со мной своими опасениями насчет слова «патриотизм»? Я думал о том, как влюбляются третьеклассники. Все помнят, да, что бывает, если в третьем классе кто-нибудь прознает, что ты влюбился в девочку — или, не приведи господь, что девочка в мальчика влюбилась? Замучают, задразнят, до слез доведут. Это потому, что в третьем классе считается, будто влюбиться — значит, дураком каким-то себя показать и сплошные глупости творить: сумку, там, за девчонкой какой-то таскать, подарки ей дарить, хвостиком за ней бегать, слушаться ее во всем, голову потерять на пустом месте... Смешно, да? А потом, взрослым, ты понимаешь: ничего в любви смешного нет, великая это вещь, лучшего человека из тебя делает каждую секунду. И еще понимаешь, что даже тогда, в третьем классе, любовь бывала великим горем, только даже в этом случае ты от любви не отказываешься... И вот я ходил по этому замечательному как бы патриотическому креативному пространству и думал: что же это некоторые люди со словом «патриотизм» — с любовью к своей стране то есть — ведут себя как третьеклассники? Что же мы такое с этим словом ужасное наделали — и продолжаем делать — в последнее-то время, что его и вслух сказать бывает стыдно и что оно многих людей от любого занятия может отпугнуть?..

Внезапно я услышал какое-то дикое сопение — так Мурат мой бедный обычно сопел за кустами, когда маялся животом из-за излишнего умственного напряжения и, в силу последнего, переедал гиперикума, который один давал временное успокоение, но вызывал в отместку тяжелейшие запоры. Это сопел, уставившись на Кузьму, побагровевший Зорин; Кузьма — заметив, видимо, как Зорин, вцепившись в стул, сидит, закусив губу, — помахал ему рукой и сказал печально:

— Я закончу сейчас, мне немного сказать осталось. Я хочу только пару вещей добавить. Первая даже Виктору Аркадьевичу, наверное, понравится: я полагаю, ни в какой любви ничего стыдного нету, а уж в любви к своей стране так тем более. Только пусть никто вам не рассказывает, как вам невесту свою любить, или друга своего любить, или Родину свою любить: это дело личное, интимное и очень глубокое. Второе: я уж давно не третьеклассник и твердо знаю, что в любви горя много, а это нам про любовь к Родине почему-то никто никогда не говорит. А третье — я все думаю, что такое это самое «патриотическое творчество», которым всем желающим тут предстоит заниматься; каково оно — патриотические табуретки строгать и патриотические пельмени лепить. И хорошо понимаю, какой ответ на этот вопрос есть у Дмитрия Константиновича: во-первых, пельмень — это одно, а пашот — совсем другое, а во-вторых, тут настрой важен. Правильно я понимаю, Дмитрий Константинович? — спросил Кузьма, обращаясь к Верескову.

— Очень тонко и правильно, — ласково откликнулся Вересков.

— Угу, — сказал Кузьма, ни на кого не глядя и качая головой. — Да вот я все думаю: а пельмень без патриотического настроения — он еще патриотический пельмень или уже так, с душком-с? Ну, как раз в этом вам, дорогие мои патриоты и компатриоты, и предстоит разобраться под чутким идеологическим руководством

Дмитрия Константиновича, в чьих способностях к различению нюансов я совершенно не сомневаюсь. Поаплодируем же Дмитрию Константиновичу и поблагодарим его за его великие таланты!..

И Кузьма, отходя назад, энергично захлопал Верескову. Тот захлопал в ответ, и некоторое время аплодисменты наполняли зал. Вересков двинулся к микрофону, но тут сильная рука отодвинула его в сторону, и Зорин, быстро сказав: «Я сам представляюсь», в пару прыжков оказался на сцене. Аплодисменты усилились; Зорин жестом их остановил и, наклонившись к микрофону, заговорил быстро и жестко:

— Спасибо. Я Виктор Зорин. Я поэт, солдат и глава охраны вот этой, — тут он показал пальцем на меня, — вот этой экспедиции. Я очень просто скажу. Поднимите руки, кто здесь не чувствует себя патриотом России. Поднимите руки, кто Россию не любит. Попросту, безо всей вот этой херни.

Повисла тишина, и в этой тишине ни одна рука не потянулась вверх.

— Все, — сказал Зорин, — мне нечего добавить.

Хлопали так, будто миновала страшная опасность, будто не нашлось предателя в военном отряде. Хлопал Сашенька, лукаво улыбаясь; отбивал себе ладони Мозельский; Аслан хлопал, тараща на Зорина испуганные глаза; довольно сводил пальчики Вересков. Я попытался найти взглядом Кузьму, но его нигде не было, зато увидел я стоящего на отшибе Квадратова, засунувшего одну руку под мышку, а пальцами другой тершего себе сморщенный лоб. Вдруг страшно рассердился я на него: почему, ну почему не хочется ему, как мне, хлопать и топать? Нарастали аплодисменты, и вдруг я увидел, как Вересков махнул кому-то рукой, — и совершенно неожиданно обрушилась на нас музыка, как будто бы заиграл оркестр — та та-та-та, та та-та-та, та та-та-та!!! — и под эту музыку не сдержался я, затопал и замахал

ушами, и почувствовал впервые за долгое-долгое, очень долгое время, что в груди у меня тает, тает, тает черный гнилой комок ужаса и сомнений; господи помилуй и помоги! — я любил Россию попросту, безо всей вот этой херни, и много-много боли было в этой любви, дорогой Кузьма, но почему, почему, почему я должен был этого стыдиться? Я не понимал. Нет-нет, не царя я любил и не то, что делалось именем царя, а что — я объяснить не мог: то, ради чего я продолжал идти по ней на загрубевших своих ногах, грязный, отощавший, недосыпающий, рядом со страшным Сашенькой, и мерзким Асланом, и ненавистным Зориным, ничего не понимая и все, кажется, понимая, продолжал идти, а что это такое, ради чего я шел, — я уже знал, только назвать себе не мог, такое оно было огромное и страшное; только и то я знал, что скоро-скоро настанет день, когда я это нечто смогу для себя словами назвать, и тогда... И тогда я сам пойму, насколько Россию люблю и на что для нее готов, — вот что думал я, маша ушами и топя ногами и не замечая, что музыка давно прекратилась и аплодисменты давно стихли, а вместо них смех, смех катится по залу, и смеются все надо мной, топающим, машущим ушами. Толгат уже пинал меня в заушины пятками так и эдак; я очнулся наконец и от стыда и ужаса зажмурился и опустил голову и услышал, как подлец Зорин говорит:

— Видите? Слон у нас не очень умный, зато сердце у него хорошее; да мы не по уму судим, мы по сердцу судим, а больше от слона и не требуется. Я что вам хочу сказать? Мы действительно не третьеклассники, тут Кузьма Владимирович прав. И любви к Родине нам стыдиться нечего. «Патриотизм» — великое слово, а кто вам скажет, что с ним что-то не так, что над ним поду-у-у-у-умать надо или что то-о-о-о-онокости тут какие есть, — вы того, друзья мои, шлите лесом. (Аплодисменты.) Вот Кузьма Владимирович не

велит никому рассказывать вам, что такое патриотизм. А я возьму и расскажу. Ты утром просыпаешься, и первая мысль у тебя должна быть: «Я россиянин». Это раз. Первая задача должна быть: «Сделать сегодня для страны то-то и то-то». Это два. А первый вопрос должен быть: «Готов ли я за свою страну воевать пойти?» Это три. Все. И только потом я с постели встаю. (*Аплодисменты.*) Клянусь, честное слово. Поэтому мне на свете легко живется, а Кузьме Владимировичу, наверное, тяжело, он очень много про патриотизм думает, а я им живу. (*Смех.*) И поэтому мне легко свою страну поддерживать. Я, например, кричать готов: «Специальная военная операция — это подвиг нашего народа!» Подвиг нашего народа! (*Аплодисменты.*) А есть те, кто молчит. Нет, шавки, которые «против», — с теми все ясно, с ними мы отдельно разберемся. Но вот те, кто молчит, кто слова не скажет в поддержку СВО, — это, ребята, особая категория, эти меня пугают. Потому что эти могут сойти за патриотов — но они не патриоты. Потому что мои три пункта помните? Ни один они не выполняют. Если человек не встал и не сказал: «Я поддерживаю СВО», во-первых, херовый он россиянин, во-вторых, ничего он для Родины не делает, как бы ни пыжился, а в-третьих — я вам это гарантирую, — воевать он за нее не пойдет. (*Аплодисменты.*) Поэтому — а ну-ка давайте разом скажем: «Я за СВО!» Раз, два, три!.. Я пошутил, — медленно сказал Зорин через секунду, — из таких вещей кричалки не делают, все слишком серьезно, в балаган такое не превращают. Хорошо, что вы это понимаете, молодцы, тест прошли, серьезные люди. Но слова мои вы запомните, я надеюсь. Ладно, понимаю, все ждут концерт, что-то я завелся, — сами понимаете, сердце у меня от всего этого болит. Скажите, стих вам прочесть? Специально в честь вашего города и вот этого самого места написал. Он совсем маленький. Или надоел я вам?

Закричали «Прочесть!», и Зорин, несколько придя в себя, оскалился. Достав из кармана бумажку, он сказал:

— Ну вы, наверное, знаете фразу: «У чекиста должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки»... И автора ее точно знаете, вон у вас тут памятник ему стоит... Я не чекист, хотя, не знаю, если мне кто-нибудь скажет, где тут у нас в чекисты принимают... — Тут Зорин сделал паузу и дал залу посмеяться, и зал посмеялся. — Ну вот я с ним такой диалог веду, смотрите, — сказал Зорин и начал читать:

Не быть горячим не может сердце, когда в Донбассе горит земля;

Не быть холодным не может разум, когда безумьем охвачен враг;

Но наши руки беречь не будем мы ни от крови, ни от земли:

Не в наших правилах, славный предок, чужими руками жар загребать.

Сделав паузу и вскинув руку со сжатым кулаком, Зорин сказал:

— За Дзержинского и за Дзержинск! — и двинулся прочь со сцены.

И вдруг зал отозвался... «За Дзержинск! За Дзержинск! За Дзержинск!..» — покатилося по рядам, руки со сжатыми кулаками выбрасывались вверх, и Зорин смотрел на это в некотором ошарашенности. Не без труда остановил скандирующих вышедший к микрофону Вересков, несколько раз повторив: «А сейчас...» Начался перерыв; и мы, не дожидаясь концерта, выбрались прочь из «креативного пространства» по тем же самым коридорам, и было у меня странное чувство, и думал я почему-то о Нинели и о горилле в клетке напротив, и щеки у меня горели, и больше всего на

свете хотел я остаться один, и даже мой Толгат вдруг показался мне тяжелой ношею.

К счастью, здесь же, в «ДЗЗЗЕРЖИНСКОМ», обнаружили на втором этаже странноприимные комнаты, и моим людям предстояло оказаться первыми их постояльцами. Со мной остался не один Мозельский, но и Сашенька — то был знак нового недоверия ко мне, и я принял его с должным пониманием; когда за спиною у меня загремела цепь, закрывающая проезд машинам, на секунду представилось мне, что эта цепь для меня предназначена, что цепью меня сейчас прикуют к чему-нибудь за ногу, а то и за шею, и я дернулся; Сашенька заметил это и ухмыльнулся, и от ухмылки этой, которую я надолго пообещал себе запомнить, бросило меня в жар. Я забегал по стоянке, куда Сашеньке с Мозельским вынесли стул и раскладушку, туда-обратно, чтобы успокоиться немного, и чуть не наступил в рассеянности своей на быстро отскочившую в сторону бурую тень. То был встреченный нами утром безымянный пес; он посмотрел на меня долгим взглядом, словно тоже не понимал, можно мне доверять или нет; в досаде я остановился и спросил его, перекивая несущуюся из «креативного пространства» музыку:

— Но вы-то, вы что так на меня смотрите? Тоже думаете, я что-нибудь ужасное отмочу? Не отмочу, не бойтесь, я давеча Кузьме Владимировичу поклялся паинькой быть, — впрочем, вас это не касается...

Он все еще вглядывался в меня, этот пес, а потом спросил:

— Жрал уже?

Тут я понял, чего он хочет от меня, и сжался от стыда.

— Нет, — сказал я, — но должны вот-вот вынести мне. Только я не знаю, подойдет ли моя пища вам, там фрукты в основном, наверное...

— Хлеба тебе дают? — спросил пес.

— Как когда, — сказал я, — может, и дадут.

— Хлеб сойдет, — сказал пес. — Эти твои, — и он кивнул на Мозельского с Сашенькой, — они, если что, вой подымут?

— Думаю, — сказал я, — им наплевать, они для другого приставлены.

— Хорошо, — сказал пес, — ждем.

И мы с ним стали ждать: он — усевшись молча на задние лапы, я — не зная, что сказать ему, переминаясь с ноги на ногу и с тоской вглядываясь в темные рваные очертания заброшенной фабрики, такие страшные по сравнению с манкими сияющими огнями «ДЗЗЗЕРЖИНСКОГО».

— Бьют тебя? — вдруг спросил пес.

— Нет, что вы, — в ужасе сказал я.

— А тогда хули ты с ними пошел? — спросил пес в недоумении.

У меня перехватило горло.

— Поводка, вижу, нет, бить тебя не бьют. Щенков твоих, что ли, поймали и держат? — спросил пес, скучая.

— У меня нет щенков, — сказал я автоматически. Мысли мои бешено скакали. Я понимал, что не обязан отвечать ему ничего.

— Это плохо, — лениво сказал пес. — Ты ж нехолощенный, я вижу. Без щенков что помер, что не помер — все одно. Без щенков трудно ляжку тянуть. Тогда вообще не понимаю, с хуя ли ты пошел с ними. Мы про это с ребятами говорили — никто не понимает. Жил себе не тужил... Не за хавчик же.

Я не могу объяснить почему, но в тот момент показалось мне, что нет ничего важнее, чем дать ему ответ. И я попытался — попытался изо всех сил:

— Мать и отец мои были боевые слоны, а умерли в султанском парке от ковида, — сказал я. — Помню я только их рассказы про страшные битвы, да их шрамы, да то, как старели они, и как ждали каждой



кормежки, и каждым ананасом были недовольны, и те ананасы целыми днями обсуждали, и ничего важнее тех ананасов в их мире лет пять уже не оставалось... Лучший друг мой на всем белом свете был мудрец и философ, а на то у него ума не хватило, чтобы молочай не есть: кому он и что доказывал экспериментами своими этими, ежели, кроме меня, никто его не понимал, а объясняться он считал ниже своего достоинства, а мне он нужен был живой, а не умный?.. Женщины... С женщиной я в жизни своей не был и не знаю, довелось бы мне на нее когда взойти или нет, а только если бы довелось, не я бы ее выбирал и сразу бы нас наверняка разлучили, и слоненка своего я бы наверняка в глаза не увидел... А тут выпало мне... Выпало мне послужить. Выпало мне послужить — послужить выпало, понимаете? Вот и вся история.

Пес лег, положил голову на лапы и лениво спросил, ударив пару раз хвостом по земле:

— И чё, как служится?

И я понял, что горло у меня сдавлено, как поводком, и что не могу я с ним больше говорить.

Вдруг пес шарахнулся в сторону и исчез: вынесли мне и поставили передо мною несколько тазов с едой и четыре охапки свеженарубленных веток. Был в тазах и хлеб: как только бойкие молодые люди, притащившие тазы, растворились в огнях «ДЗЗЗЕРЖИНСКОГО», пес появился снова, а с ним тощая немолодая сука с плоской простой мордой и умными, широко расставленными глазами.

— Жена ваша? — спросил я, чтобы что-нибудь спросить.

— Мы венчались за кондитерской Куликова, — усмехнулся пес и потянул к себе сдобную булку. Жена его деликатно взяла зубами половинку батона, они исчезли, снова вернулись и сделали еще пару ходок. В последний раз пес пришел ко мне один.

— Бывай, — сказал он. — Ты, я вижу, слегка придурок, — может, это и неплохо. За еду спасибо.

Видно было, что он хочет сказать мне что-то, но то ли сам не знает как, то ли стесняется страшно. Я же невыносимо хотел услышать эти слова, — мне казалось, ничего важнее этих слов для меня сейчас быть не может, и я тихо попросил его:

— Скажите мне.

Пес на секунду замер, а потом повторил быстро:

— Бывай, — и не было больше рядом со мной никакого пса.

Я понял вдруг, что не могу быть один, что если я останусь один и дам тем мыслям, которые поднимаются во мне, завладеть моим мозгом, то случится со мной дурное; на секунду представил я себе, что делюсь этими мыслями с Сашенькой, который, конечно, бодрствовал с бежевою книгою в руках (а Мозельский дрых, разумеется, на раскладушке, забравшись в спальник, — счастливый Мозельский!), — о, я уверен, это был бы интереснейший разговор, только я бы предпочел, чтобы Сашенька сперва наелся молочаю. Меня одновременно одолевали усталость и нервозность, я хотел сразу заснуть и бегать, кричать и язык проглотить. «Это все музыка, музыка, дикая эта музыка, — сказал себе я, — она становится все громче и громче — невыносимо, право! Вот что: я пойду туда и заставлю их прекратить играть эту сумасшедшую музыку, и тогда наконец я смогу успокоиться!» Мне вдруг действительно показалось, что все дело в изматывающей музыке да в том, что отсюда, со стоянки, еще и слов было не разобрать, и мне мерещилось черт знает что. Не давая Сашеньке ни секунды опомниться, я рванул к заднему входу в «ДЗЗЗЕРЖИНСКИЙ», благо до него было шагов двадцать. «Эй! — закричал Сашенька, — эй!» — и бросился за мной, ну да мне было на него наплевать. Пробежав коридором (и задевая боками стены), я выскочил в зал, где теперь

мерцали цветные огни и танцевали люди; музыка тут была оглушительной, и у меня от вибрации воздуха и бог знает от чего еще стало колотиться сердце. Сашенька нагнал меня и теперь тянул за хвост и стучал кулаками по ногам; я тряс головой и сглаживал, чтобы перестало закладывать уши; танцующие аплодировали мне; какая-то красотка в обтягивающем платье, остро пахнущая духами и потом, стала гладить меня по хоботу, а потом взялась за хобот мой двумя руками и принялась танцевать, водя моим хоботом вправо и влево; танцевала и хлопала толпа у нее за спиной и у меня за спиной; подпрыгивал то тут, то там Вересков с телефоном в руках, крича: «Вот это оно! Вот это оно!..» — и сам я, не понимая, что творится со мной, стал топтаться и трубить, трубить и топтаться, левой-левой-левой-правой, правой-правой-правой-левой, и вдруг что-то едкое полилось мне в рот, а потом еще и еще, и Сашенька крепко схватил кого-то за шиворот и оттащил. Вдруг я вскрикнул: что-то больно впилось мне в ногу: то был осколок стакана. С воем попытался похромать я в сторону, но везде были танцующие люди, и я так и стоял, капая кровью на паркетный пол «ДЗЗЗЕРЖИНСКОГО», и какая-то девица в ужасе завизжала, и тут почувствовал я, что левое ухо мое резко дернули вниз, а потом вперед и назад: появился Толгат, и команда была — замереть. Я замер. Толгат дернул мое ухо два раза вниз — два раза вниз, гораздо сильнее, чем надо было, и я сообразил: Толгат не уверен, что я его понимаю. Был он в пижаме и спортивной куртке — это показалось мне таким смешным, что я захохотал в голос; голова моя кружилась ужасно, и, становясь на колени, чтобы Толгат мог на меня забраться, я немножко пошатнулся и очень испугался, что я Толгата придавлю. Но все обошлось, а главное — Толгат успел вынуть из ноги моей осколок, оказавшийся совсем маленьким, и я,

к стыду своему, понял, что не так поранился, как испугался. Ступни мои начали преприятно пружинить, и, когда мы с Толгатом шли к выходу, я на каждый шаг говорил: «И раз, и два! И раз, и два!..» На стоянке музыка звучала совсем-совсем тихо, и было скучно, и я очень огорчился, но попробовал потанцевать еще немножко, пусть и прихрамывая, однако вдруг страшно устал. Я остановился и дал Толгату спуститься, тем более что Аслан все время путался у меня в ногах и норовил посветить фонариком мне в глаза. Это было отвратительно, и я на него сильно дунул. Толгат заставил меня поднять раненую ногу, и Аслан убедился, что ничего страшного не произошло, я же с удовольствием этой самой ногой легонько его пнул. Аслан попятился и посмотрел на меня с ненавистью.

— Так, — сказал Толгат. — Мне кажется, нам всем надо выдохнуть.

— Все ли у вас в порядке? — спросил из темноты знакомый мягкий голос. — Я пришел — подумал, может, помочь чем?

— Спасибо вам, отче, вроде слон наш повеселиться решил, но все хорошо уже, — ответил Толгат Квадратову. — Ну, зато у нас маленькое ночное сборище.

— Он пьян, — с отвращением сказал Аслан.

Квадратов взгляделся в Толгата с тревогой.

— Не я, — сказал Толгат, улыбаясь, — Бобо. Его напоили на дискотеке.

— Я чувствую, что многое пропустил, — не без сожаления сказал Квадратов.

Толгат усмехнулся. Я вдруг испытал к Квадратову страшный прилив нежности и погладил его хоботом по плечу, чем, кажется, сильно удивил.

— Давайте покурим, а? — вдруг тихо сказал Толгат, оглядываясь на Сашеньку, погруженного в свою книгу. — Отче, вы нас не осудите?

— Я сам все силюсь бросить, да не могу, — с тоской сказал Квадратов. — Как тут осудишь?

— Я не в этом смысле, — сказал Толгат осторожно. — Я тут раздобыл. Строители меня приняли за земляка, а я не стал их разочаровывать, тем более что они во многом правы. Вот со мной и поделились.

— О! — сказал Аслан, проявив несвойственную ему сообразительность. — Я буду очень благодарить.

— А! — сказал Квадратов и смутился. — Я только за, но я в этом смысле, так сказать, невинен, как младенец...

— Ну и хорошо, — сказал Толгат. — Мы вам немножко дадим, и по первому разу хорошо пойдет, если вы, конечно, готовы.

— Готов, — смело сказал Квадратов и для уверенности кивнул.

Толгат достал из кармана две маленькие самокрутки, одну закурил сам, а другую передал Аслану, и поплыл дым, и закашлялся Квадратов, и от запаха этого дыма я вдруг вспомнил, как в Богучаре кричала от боли наша лошадка Ласка, и сердце мое наполнилось таким состраданием к бедному ее мужу, который ни разу не пожаловался на свою судьбу, что не спи он в этот момент, ей-богу, я бы перед ним из одного только восхищения на колени встал. Слезы набежали мне на глаза; моя собственная страшная, невосполнимая потеря вдруг такой болью залила грудь, что я перестал дышать; казалось мне, что и в день смерти Мурата боль эта не была такой огромной, а одиночество мое — таким полным. Я взвыл; подскочили от ужаса Квадратов с Толгатом; Аслан медленно повернул голову и уставился на меня обалдевшими глазами; и я, понимая отлично, что следует мне молчать, заговорил, и слова выходили из меня какие-то кривые и липкие, и капелька боли висела у каждого слова на хвосте.

— Что вы смотрите на меня? — сказал я плохо повинующимся языком. — Что вы смотрите на меня, трое на одного? Я один. Вы все... Разве я не знаю? Сколько еще дней? Двадцать? Двадцать пять? — Тут

я замер в ужасе, впервые осознав эту малую цифру, и, видимо, долго так стоял, потому что лицо Толгата изменилось — узкие глаза его округлились, рот приоткрылся, и я понял, что он и сам впервые прикинул дни и посчитал, и стало ему как мне. — Я один. Вы все... Я сейчас ненавижу вас. Вы. Вы все оставите меня. Каждый из вас это знает, и я знаю. Служба! — с горечью сказал я. — Служба меня ждет... Да ведь каждый из вас знает, кому я буду служить. И сказал ли мне хоть кто из вас хотя бы одно... — Тут я икнул не вовремя. — Хотя бы одно слово? Вы ведете меня... Почему я с вами иду? Вы меня не бьете, щенков моих не держите... Я один. Честь меня вела, гордость вела. Служба! Я служить хотел. А теперь? *(Тут слезы потекли у меня, и я снова икнул.)* Я один. Куда мне идти? Никуда я не денусь от вас, и вы это знаете. Вы оставите меня, а я останусь. Так хоть скажите же мне, ну скажите!!!..

О, как же я хотел, чтобы они мне сказали... Господи, я сам не знал что! Мне казалось в тот момент, что нет никаких слов, которые могут спасти душу мою. Я представил себе, что Мурат мой сейчас передо мной, сам Мурат — великий, величайший мудрец, какого я знал, и я обратился к нему и прошептал: «Скажи, ну скажи же мне!» — и, к ужасу своему, увидел, что, опустивши глаза в землю, молча стоит мой Мурат. И тогда вдруг осторожными шагами, раскинув руки, пошел ко мне Квадратов, и я отвернулся от него, чтобы не мог он больше видеть моих слез, но Квадратов обежал меня и стал передо мною; я отвернулся еще, но он снова обежал меня, и так мы кружили некоторое время, и я наконец не выдержал и выкрикнул: «Ну что вам, что вам?!» — и отец Сергей заговорил со мною, и мы говорили час и другой час о Том, о Ком никто никогда со мной прежде не говорил; и так начал я понимать, что я не один, не один.

— «Квитидий Верстомер», значит, — сказал Кузьма, с отвращением глядя на распечатанный листок, подрагивающий на теплом ветру.

Светленькая маленькая дама, протянувшая Кузьме листок, тоже немножко подрагивала, и Кузьма, заметив это, положил ей ладонь на остренькое, узенькое плечико.

— Марина Романовна, — сказал он мягко, — я все понимаю, вы меж двух огней попали. Вам и царскую делегацию надо принять, и с доносом мерзким разобратся, тем более что он и не донос, а публичная статья онлайн-овая как бы. Верно же?

— Вы меня поймите, Кузьма Владимирович, — слегка задыхаясь, сказала маленькая дама в великоватом пиджаке, — вы простите, что я прямо на полдороге вам это притащила и за семь верст до официального места встречи прибежала, но только мне показалось, что вам знать надо, я в курсе, что вы без телефонов...

— Я вам страшно благодарен, — сказал Кузьма серьезно. — И давайте-ка, чтобы не загадочничать, я экспедиции своей расскажу, о чем речь, и вас представлю.

— Давайте, — сказала дама и энергично кивнула. — А я еще расскажу, что вас ждет, жизнь полна сюрпризов.

Почему-то она очень мне нравилась, эта немолодая дама, и Кузьме, кажется, тоже. Маленькая, как ее

хозяйка, ярко-голубая машинка, на которой дама приехала встречать нас, была запаркована прямо перед нашей подводой. Кузьма крепко постучал по подводе, и через пару минут появился на свет заспанный Аслан, а следом за ним выбрался, захлопывая книгу, свежий, как цветок, Сашенька в идеально сидящем костюме.

— Смотрите, дорогие коллеги, — сказал Кузьма, держа листок перед собой. — Мы с вами — а в частности я — грабители и растратчики. Про нас тут заметка вышла, а к ней полторы тысячи комментариев набежало, между прочим. И с перепостами, судя по вот этой цифирке, все в порядке.

Вглядевшись в напечатанное, я среди налипших на текст рекламных объявлений и прочего мусора сумел разобрать только заголовок: «Слоновьи сапоги и человеческие слабости».

— Тут написано, что украли мы с вами — вернее, повторюсь, я — полтора миллиона царских денег, выделенных казной слону на сапоги, и от этого наш бедный Бобо вынужден топтать босиком и вчера поранил ногу. Дальше замечательный автор — кто именно, я вам потом расскажу — сообщает: «Случившееся ставит всю экспедицию под один большой вопросительный знак, и мне, дорогие читатели, от этого страшно и тревожно. Я видел залитый кровью пол креативного пространства „ДЗЗЗЕРЖИНСКИЙ“, обещающего стать главным культурным центром притяжения для молодежи нашего замечательного города, видел испуганные лица людей, чей праздник оказался испорчен... Не видом крови! Нет! Наши юные граждане вида крови не боятся! Но страхом за бесценное царское имущество, судьба которого теперь находится под угрозой! Сможет ли раненый слон Бобо преодолеть оставшееся ему расстояние? Или необъяснимая (но, кажется, всем понятная — долго гадать не надо!) причина, по которой у Бобо нет сапог, станет его печальным концом?..» Нет, подождите, — сказал Кузьма, — тут



самый сладостный пассаж впереди, вот: «Нарыв ли сразит Бобо? Заражение крови ли? Гангрена ли погубит несчастного и милого слона? Неизвестно... Зато известно: в сапогах за полтора (!) миллиона рублей (а сколько стоят твои сапоги, читатель?! ) ничего подобного не случилось бы!» Такие дела. Дорогой Аслан Реджепович, погубила ли гангрена нашего Бобо за то время, что мы сюда добирались?

— Я утверждаю, что Бобо жив, — сказал Аслан со всей возможной серьезностью, сложив руки на груди.

— Ну слава богу, — печально ответил Кузьма, — а то я уже сомневался. Может, он зомби. Может, он из кого ночью мозг пытался выесть?

Я смущенно вспомнил все жадные вопросы, которые задавал на переходе уставшему, сонному, еле бредущему Квадратову, и потупился, но, кажется, Кузьма вовсе не это имел в виду.

— Нет? Не пытался? — уточнил Кузьма. — Ну слава богу.

— А кто, простите, этот мерзкий донос написал? — спросил вдруг Квадратов. — И, простите, зачем? Доносы же зачем-то пишутся, не просто так. Интересно.

— Не «зачем», а «за что», — задумчиво сказал Кузьма. — Я думаю, это из мелочности. Я сам виноват — никто меня за язык не тянул, сорвался я... Стал срываться в последнее время... А кто — вот тут подписано. Квитиций Верстомер.

Некоторое время все молчали. Потом Квадратов сказал со вздохом:

— Нехитро спрятался...

— А зачем ему хитро? — сказал Кузьма весело. — И так хорошо. Ладно, такое дело, житейское. Есть у меня одна мысль, как мы с этим делом разберемся, и тут нам понадобится любезная помощь Марины Романовны — позвольте ее представить. — И Кузьма указал на маленькую даму рукой. — Вот это Марина

Романовна Певницына, и у меня есть такое чувство, что она наш друг. Марина Романовна заведует отделом представительских мероприятий в администрации ЭнЭн, приехала, как видите, нас перехватить и предупредить и еще, я чувствую, кое о чем рассказать. Марина Романовна, давайте, слово вам.

Марина Романовна задумалась, прикусив язык и свесив голову набок, а потом сказала:

— Кузьма Владимирович, может, один на один сначала?

— Не, — сказал Кузьма, махнув рукой. — У нас тут общежитие имени монаха Бертольда Шварца, у нас секретов нет. Давайте, вперед.

Марина Романовна вздохнула.

— Понимаете вы, где это напечатано? — спросила она.

— В «Нижегородском вестнике», отлично понимаю, — сказал Кузьма, помахивая распечаткой. — На опережение, так сказать.

— Именно, — сказала Певницына. — А у нас совсем не дураки сидят. Тоже знают, с какой стороны у коровки вымечко...

Зорин хмыкнул. Певницына посмотрела на него очень серьезно.

— Короче, у нас самозародилась, так сказать, инициатива собрать слонику на сапоги. И пока вы к нам шли, народ и собрал, и сапоги заказал, и шить успел — раздали заказы по сапожникам и дизайнерам... Мерки нам зоологи наши сообщили, по телесюжетам и фотографиям Бобо определили, говорят, с большой точностью.

— Заказы? — медленно переспросил Кузьма.

— Заказы, заказы, — покивала Певницына, глядя на Кузьму понимающе.

— То есть у Бобо должно быть не четыре ноги, а восемь, я так понимаю? — насупившись, подхватил Кузьма ей в тон.

— Ну зачем восемь, — сказала Певицына, и вдруг ее лицо пошло мелкими морщинками, мгновенно став как веселое сладкое сушеное яблочко. — Двадцать три. Наши сердобольные горожане собрали деньги на двадцать три сапога. Торжественная церемония вручения сегодня в два. Только чур, я вам этого не говорила. Ведите себя потрясенно.

Первым не выдержал Квадратов. Схватившись за живот и согнувшись пополам, он начал гоготать басом, как огромный гусь. Аслан принялся хватать воздухом и издавать длинное, прерывистое «Ииииии!». Хохотал Сашенька, хлопал себя по ляжкам Мозельский, Кузьма, упершись рукой в фонарный столб, другой рукой утирал слезы, и даже Зорин, не переставая повторять: «Свиньи вы! Ну и свиньи вы!» — смеялся так, что лицо его побагровело. Наконец Кузьма, справившись с собою, сказал, глотая слюги:

— Марина Романовна, ну спасибо вам, что предупредили, слава тебе господи, что мы сейчас отсмеялись-то, вот бы ужас был... Ну хорошо, в два так в два, нарядимся, готовы будем, достойно подарок примем, это я вам обещаю. Я у вас в долгу, тут уж ничего не скажешь. А далеко нам до места встречи?

— Вас на окраине встречают, да? — спросила Певицына, улыбаясь Кузьме.

— У Лесного Городка, — ответил Кузьма.

— Ну вы близко, вашими-то темпами через час будете, а то и меньше, — сказала Певицына. — Поеду я кружной дорогой, машинка у меня приметная. Скоро заново познакомимся, так что до свидания.

— До свидания, Марина Романовна, — с поклоном сказал Кузьма, и наши вторили ему нестройным хором.

Маленькая ярко-голубая машинка исчезла, и я, шагая с задремавшим Толгатом на спине за сильно разболтавшейся нашей подводою и слушая ее тревожный скрип, взгляделся от скуки в переплет Сашенькиной книжки. Сашенька читал «Цветы зла» Бодлера — верхняя

черно-красная надпись на русском, а нижняя на языке, которого я не знал. Видно, книжкой заинтересовался и бодро шедший рядом со мной Кузьма — он всмотрелся в переплет и высоко поднял брови.

— Не угадал я в вас любителя поэзии, Сашенька, — сказал он, — а теперь понимаю, что зря не угадал: все складывается. Издание это я хорошо знаю, оно у меня дома стоит. Где это вы его прихватили?

— В Богородске коробейника помните? — спросил Сашенька, вежливо захлопывая книжку.

— Как не помнить, — сказал нагнавший нас Зорин. — Я у него своего «Последнего беркута» подрезал со своим же автографом, а под ним написано другой рукой: «Дорогой Танечке на память о страстных днях». И дата — месяц назад! Недолгая память была у Танечки! Для смеху домой привезу.

— Ну вот и я там подрезал, — улыбаясь, сказал Сашенька.

— И как он вам? — спросил Кузьма.

— Ну я ведь не первый раз, — сказал Сашенька. — Если понимать все обстоятельства... Я его люблю, как мятежного подростка любят. Ворчит, бурчит, огрызается, а ты понимаешь: это в нем не упрямство, не злость, не пакостничество, как дураки думают, — это в нем настоящее страдание говорит. Ты войди в это его страдание, прими его, пойми его, найди в себе, главное, такое же — и сразу ясно станет, что с ним делать, как его к нормальному разговору поворачивать. А это, если хотите, юность литературы. Ну и с реальными-то тоже так же надо.

— Ничего себе, — сказал Кузьма задумчиво. — Хороший подход, я про это думать буду...

— Юность литературы, — огрызнулся Зорин. — Это пакость литературы. Ну что вы смотрите на меня? Читал я, читал, и так хорошо читал, что наизусть куски помню; прилипчивый он, сука: «Вы помните ли то, что видели мы летом? Мой ангел, помните

ли вы ту лошадь дохлую под ярким белым светом среди рыжеющей травы? Полуистлевшая, она, раскинув ноги, подобно девке площадной, бесстыдно брюхом вверх лежала у дороги, зловонный выделяя гной...»<sup>1</sup> Господи, и на хуя ж мне эта мерзость в голове, а? А я помню! Млел от этого дерьма, лет четырнадцать мне было... А сам я что в четырнадцать лет писал, господи-и-и-и-и! И тоже по-о-о-омню, я все помню, хотя стыдно сейчас — не то слово, а я специально помню, чтобы стыдно было. К счастью, нашелся в моей жизни человек, к которому я прибежал, трепеща, с этими листочками, он меня послушал, за плечи взял, встряхнул и пару таких слов сказал, что из меня весь ваш сраный Бодлер вывалился. И дал мне читать «Молодую гвардию» и Сельвинского. А знаете, что в тех листочках было? Вот вам: «Не трогай так; я так хочу начать: открыть во тьме невидимую дверцу, лечь накрест и прижаться к сердцу сердцем и в сердце сердца сердцем постучать. Но в темноте не видится ни зги, и в бесконечных комнатах былого от осторожно пущенного слова расходятся тяжелые круги». Это, блядь, вообще про что?..

— Это про жизнь, дорогой, — медленно сказал Кузьма. — В четырнадцать лет ты живой был.

— Знаешь что? — вдруг сказал Зорин с неожиданной и несдерживаемой злобой. — Я начинаю понимать про тебя кое-что, Кузьма Кулинин, и это кое-что очень мне не нравится.

— И что ты начинаешь про меня понимать? — весело спросил Кузьма. — Ты поделись, я-то все меньше про себя понимаю.

— Вот, — сказал Зорин и наставил на Кузьму длинный палец, — вот. Вот. И ничем я с тобой делиться не буду, придет время — мы с тобой, Кузьма, в других обстоятельствах, я чувствую, поговорим.

---

<sup>1</sup> Перевод Вильгельма Левика.

С этими словами Зорин рванул вперед, обогнал нашу несчастную подводу и вскочил зачем-то на козлы к Мозельскому, где, судя по всему, стегнул поводьями Гошку и крикнул: «Быстрее пошел!» — на что Гошка обозвал его блядиной лысою и, конечно, вовсе шагу не прибавил. Кузьма молчал; Сашенька похлопал замечательными своими глазами и сказал безо всякой иронии:

— Обещает, значит, при Филиппах встретиться.

— Не такой уж он злой гений, Сашенька, — сказал Кузьма со вздохом. — Да и для привидения слишком много ест.

Сашенька посмотрел на Кузьму серьезно и ответил:

— Как скажете, Кузьма Владимирович. — И я увидел вдруг, что от этих слов Кузьме стало не по себе.

Ничего лесного не было у Лесного Городка; я увидел за спинами троих мужчин и одной статной женщины маленькую Марину Романовну и обрадовался ей. Началось пожимание рук. Представил Кузьма всех, включая Сашеньку и Мозельского, а про Квадратова сказал многозначительно, что отец Сергей в представлениях не нуждается, и все, включая Певицыну, подошли под благословение к Квадратову, напустившему на себя вид важный и надменный, и я заметил, что на Квадратова больше, чем на меня, смотрят, и очень развеселился. Сообщили нам расписание наше — действительно, в два часа дня ждал нас, как нам было сказано, «сюрприз от всего города возле замечательного помещения нашего Арсенала», и Певицыну выдали нам в постоянные сопровождающие; она улыбнулась Кузьме заговорщически; главный из мужчин тут же предложил Кузьме с Зориным перейти на «ты» и по имени, и Кузьма немедленно сказал: «Гена, на два слова тебя по делу можно тогда? И тебя, Зорин». Я стоял в стороне, и они под прикрытие бока моего пошли совещаться, и, к удивлению

моему, повел их вперед Сашенька, всегда державшийся в тени.

— По каналам Александра Степановича поступила к нам информация первостатейной важности, Ген, — сказал Кузьма, и видно было, что он не очень знает, как подступиться к делу, что удивило меня еще пуще.

— По каналам Александра Степановича... — растерянно сказал Гена — и вдруг сообразил и подтянулся. — О! — сказал он. — Слушаю внимательно.

— Может, Александр Степанович, вы сами расскажете? — попросил Кузьма. — Так, мне кажется, лучше будет...

— Могу, — кивнул Сашенька. — Геннадий Русланович, дело деликатное. Касается оно Тайницкой башни нашего с вами Нижегородского кремля.

Я совсем не понял, что произошло, но глаза Геннадия Руслановича внезапно сделались как блюдца: огромные и стеклянные.

— Видите ли, Геннадий Русланович, она же закрыта, так сказать, для посетителей, верно? — спросил Сашенька.

— Совершенно верно, — сказал Геннадий Русланович осторожно. — Кроме смотровой площадки...

— А в ней, тем временем, много лет проживают, так сказать, хранительницы, я правильно понимаю?

— Совершенно правильно, — сказал Геннадий Русланович еще осторожнее, и на лбу его выступили мелкие капли пота.

— Геннадий Русланович, все хорошо, — мягко сказал Сашенька.

Геннадий Русланович, кажется, расслабился немножко, но вся поза его, на мой взгляд, выражала крайнюю тревогу и крайнее недоумение.

— Касается мое дело старшей хранительницы — ну назовем ее Ларисой, дата рождения шестое января тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, отец Александр, мать Екатерина, окончила калининградскую

среднюю школу номер восемь, по образованию филолог-романист, в одном очень интересном браке состояла. Понимаете вы меня?

— Понимаю прекрасно, — выдохнул Геннадий Русланович. — Вернее, не понимаю, скажем честно, должен ли я понимать. — И Геннадий Русланович вопросительно посмотрел на Сашеньку.

— В данный момент должны, а потом опять не должны, идет? — улыбнулся Сашенька.

— Отлично, — сказал Геннадий Русланович.

— Так вот, дело деликатное: наша хранительница желает передать личное, от руки написанное письмо Его Величеству, по старой, так сказать, супружеской памяти. И, конечно, желает сделать это руками честного, порядочного человека, которому можно полностью доверять.

— Что же, — растерянно сказал Геннадий Русланович, — я готов, конечно, в любой момент выдвинуться, мне есть на кого оставить...

— Виктора Аркадьевича Зорина, — перебил его Сашенька.

Я увидел, как Кузьма, сдерживая улыбку, быстро и сильно закусил губу. И еще увидел лицо Зорина — вытянувшееся, с приоткрытым ртом.

— Конечно-конечно, — смущенно сказал Геннадий Русланович. — Говорите, что и как делаем.

— Вот в два у нас церемония, — сказал Сашенька, — а потом я просил бы вас персонально, тихо-нечко, в одиночку, если можно, Виктора Аркадьевича препроводить.

— Мне придется поставить в известность начальника охраны... э... хранительниц, — осторожно сказал Геннадий Русланович, склонив голову набок и слегка разведя руками. — Коды доступа у него.

— Все понимаю, но им одним мы и обойдемся, да? — ласково спросил Сашенька.

— Им, и никем больше! — четко ответил Геннадий Русланович.



— Ну вот и договорились, — улыбнулся Сашенька и добавил озорно: — Теперь можете опять не понимать.

Улыбнулся Кузьма, усмехнулся Геннадий, а Зорин, схватив Кузьму за запястье, что-то зашептал ему в ухо, и я разобрал только слово «Охуеть!», и все, кажется, всё понимали, кроме меня.

— Что ты так оторопел-то, Зорин? Ну назвали тебя честным, порядочным человеком — надо ли так лицом хлопотать! — тихо засмеялся Кузьма, и Зорин ответил:

— Пошел ты в жопу со своими шутками! Мне на нее насрать, но ты пойми: она мать царевен для меня! Наследниц престола, наместниц будущих Бога на Земле! Ты этого не понимаешь, да? Она, может, и никто, а лоно ее священо!

— Господи, Зорин! — сказал Кузьма печально, взгляделся в лицо Зорина и вдруг погладил его по плечу. — Что у тебя в голове и как оно туда заползло? — И, высвободив осторожно из пятерни Зорина левую руку, медленно пошел навстречу Певницыной и заговорил с ней о гостинице, и об Арсенале, и об обеде, и я при мысли об этом самом обеде заметил, что от голода у меня вот-вот закружится голова и что я, забыв себя, давно уже ем ветки с какого-то клена, и что смотрят на меня, и это страсть как неловко.

— ...Что же, — сказала Певница, выйдя после всех положенных приветствий к маленькой кафедре с микрофоном и почти скрывшись за ней, — пришло время для замечательного сюрприза, который наш прекрасный город подготовил нашим прекрасным гостям. Дорогие гости, дорогой глава экспедиции Кузьма Владимирович, мы с восхищением наблюдаем ваше продвижение по нашей необъятной стране и всем сердцем за вас бодем и переживаем. — Тут Певница захлопала, и все присутствующие — а толпа собралась очень приличная — захлопали вместе с ней. — Но мы, нижегородцы, — люди очень сердечные, очень

отзывчивые и всегда готовые сделать чью-нибудь жизнь лучше, прекраснее и богаче... (Тут толпа опять захлопала, уже безо всякой подачи, да так, что я слегка приглож.) И они заметили, что у нашего Бобо есть прекрасная, яркая попона. (Тут мой Толгат почесал меня пятками за ушами, и я улыбнулся невольно — попону мою, как мы ни стирали ее время от времени и как Толгат ее ни чинил, сейчас трудно было, честно говоря, назвать прекрасной.) И что сам наш Бобо такой статный, такой красивый (тут я чуть не рассмеялся в голос, тряся обвисшими боками), а сапожек у него нет! (Хлопки и чей-то бессовестный свист.) И мы всем городом собрали деньги Бобо на сапожки!!!

Тут уж от аплодисментов заложило мне уши, и грянула музыка, и я посмотрел на Кузьму — Кузьма стоял, то прикрывая рот ладонью, то разводя руки в стороны, то озираясь, то приседая, глядя то на Певицыну, то на толпу, и сразу видно было, что потрясеннее его на свете не бывало еще человека. Вдруг побежали откуда-то из-за спин толпы ручейком детишечки — как мне показалось, совершенно одинаковые, все в беленьких рубашечках, синеньких шортиках и красненьких гольфиках, — и у каждого в руках был сапожище на мою ногу, и стали они эти сапожищи прямо передо мной выставлять прямоугольником, и выставили — три на семь, да еще два позади. И я, беря пример с Кузьмы, махал ушами и кланялся, кланялся и махал ушами, а Певицына сошла со сцены и обняла Кузьму, поднявшись на цыпочки, и они простояли так довольно долго, и что-то Кузьма нашептал ей в ухо, и Певицына слегка, мне кажется, покраснела. Кузьма ее отпустил, выбежал к микрофону, наклонился и сказал:

— Друзья, друзья, друзья... Я не знаю, что сказать... Я верю: если бы наш Бобо мог чувствовать и говорить как человек, — тут он посмотрел на меня хитро, и я показал ему язык, — он сам бы к этому микрофону вышел и заверил бы вас... — Тут Кузьма вскинул

руки, сцепил их над головой и прокричал: — ...Что он отныне вечный должник Нижнего Новгорода!!!..

Толпа отозвалась сердечно, и я вдруг подумал, слушая эти аплодисменты и топот, свист и крики «Бо-бо! Бо-бо!..»: да что бы мне и не чувствовать себя вечным должником Нижнего Новгорода?.. Но не успел я эту мысль до конца довести, как Кузьма продолжил, и собравшиеся притихли.

— К счастью, — сказал Кузьма, — и мы к вам не с пустыми руками пришли. Правда, наш подарок — не просто так подарок, к нему просьба прилагается. Александр Степанович, Владимир Николаевич, подсобите!

Кряхтя и отдуваясь, Мозельский с Сашенькой потащили к сцене два мешка — судя по всему, тяжелых. Мешки были поставлены перед кафедрой, развязаны, раскрыты, и солнце засияло на полудрагоценных камнях и золотом шитье. Передние ряды ахнули, в задних произошло заметное движение, я же едва не расхохотался. С большим трудом Сашенька и Мозельский подняли по одному сапогу над головами.

— Эти замечательные сапоги с камнями и шитьем, это бесценное произведение искусства в русском стиле, — проникновенно сказал Кузьма, — сшил для нашего Бобо строго по запланированной смете звездный московский дизайнер обуви Георгий Липид. К сожалению, полет художественной мысли иногда может увести творца прочь от скучной, прозаической реальности. Нашему Бобо тяжело идти в этих прекрасных сапогах. И поэтому мы передаем их в дар любимому Нижнему Новгороду и обращаемся к городу с нижайшей просьбой: провести благотворительный аукцион и перечислить деньги, которые будут на нем выручены, на доброе дело по выбору администрации!

Я увидел, что Певецына, расплывшись в улыбке, качает головой, и понял, что к ней это все имеет какое-то отношение; увидел я и то, что лицо статной

дамы вытянулось, и понял, кого я должен благодарить за двадцать три сапога. Мне все настоятельнее надо было отойти по личным делам, я переминался с ноги на ногу и с нетерпением ждал, когда закончится вся эта катавасия, опытом наученный, что мне еще предстоит фотографироваться и не скоро меня отпустят в соблазнительные кусты. Что ж, я привык и терпел: официальная часть закончилась, толпу сдерживали и не пускали ко мне, Кузьма и Зорин жали руки всем, кому положено, фотографии работали, снимаемая то одни сапоги, то другие, и просили Толгата, как обычно, повернуть на мне попону так, чтобы самых крупных заплат видно не было. Наконец сумел я отбежать в сторонку и, как мне казалось, относительно уединиться — и увидел я, что Зорин, тоже отбившийся, видимо, минуту-другую назад от всех желавших сделать с ним селфи и взять у него кто интервью, а кто автограф, ходит кругами по небольшой полянке в торце Арсенала и со старательно сложенной улыбкою что-то шепотом репетирует. Я не преминул дать себе волю и сделать свои дела так шумно, как мой организм того требовал, но Зорин на меня даже внимания не обратил, и мне вдруг стало за мальчишество мое очень стыдно. Тихо-тихо отошел я от Зорина и вернулся на площадку, где Кузьма разговаривал с Певецыной.

— ...не знала, какие вы люди, — улыбаясь, говорила Певецына. — Поэтому я для вас две брони завела на всякий случай. Одну на один случай, а другую на другой.

— Так-так, — сказал Кузьма, сделав очень серьезное лицо.

— На один случай я завела вам бронь в «Кулибине», — сказала Певецына. — Это топовая у нас пятерка, и для Бобо там прямо рядом поляны, но можно было бы и на парковке его разместить, я знаю, у вас так часто заведено...

При мысли об очередной парковке я чуть не взвыл и принялся невольно рыть ногой асфальт, отчего Певецына посмотрела на меня с изумлением, а Кузьма с жалостью.

— А второй вариант? — спросил он.

— Второй вариант, — сказала Марина Романовна, хитро улыбаясь, — он для людей простых, непафосных... Есть у нас небольшой отельчик, сильно проще. Я на всякий случай взяла вам там номера. Главная его прелесть — внутренний садик, а в нем бассейн-половинка с подогревом. И вот к этому бассейну можно провести Бобо.

— Даже не зна-а-а-аю, — протянул Кузьма, закатывая глаза. — С одной стороны, «Кулибин», топовая пятерка, а с другой — какой-то неведомый отельчик..

Я стоял, затаив дыхание: я отлично понимал, что Кузьма дразнится, и все-таки...

Певецына засмеялась.

— Только это далековато будет, — сказала она, — вам пройти придется.

— Вот уж вы напугали кота сосиской, — усмехнулся Кузьма, и я наконец сладостно выдохнул.

— Ну и наши будут смущены — что это мы царских гостей на окраину запихнули. Так что вам придется сказать, что вы настояли на внутреннем дворе для Бобо и на бассейне одновременно и что я сейчас искала-искала, с ног сбилась, еле уговорила вас на этот вариант, — сказала Певецына.

— А давайте прямо сейчас и начнем, — сказал Кузьма и громко, недовольно произнес — так, что испуганно обернулся Геннадий, поглощавший неподалеку маленькие фуршетные профитролы: — Марина Романовна, дорогая, если больше вариантов нету — мы согласны, конечно, но если есть хоть что-то поближе — ей-богу, уж мы находились, поверьте, и были бы рады где-то поближе разместиться.

— Честное слово, Кузьма Владимирович, — громко и растерянно отвечала Певецына, — сорок минут

бьюсь: чтобы и внутренний двор для Бобо, и бассейн — только в «Старообрядском». Зато сняла вам там не просто номера, а апартаменты, завтрак будем из «Митрича» доставлять, бассейн для других посетителей полностью закроем — никого, кроме вас и Бобо, там не будет... Вы только скажите, что еще, — мы все обеспечим...

Геннадий с профитролем за щекой подлетел к нам и сразу взялся за дело:

— Кузьма, дорогой, я могу помочь?

— Не-не-не, Гена, спасибо тебе большое, — сказал Кузьма, похлопывая важного человека по плотно обтянутому пиджаком плечу. — Все разрулили, Марина Романовна отлично с нашими капризами справилась. У нас в связи с Бобо хотелок в плане безопасности много, а мне еще приспичило в бассейне поплавать. Сотрудница твоя прекрасная все устроила, все нашла, а мы, если позволишь, тебя бросим и уже за ужином сегодня увидимся: нам бы всем с дороги прилечь, а у тебя, я знаю, свои дела через полчаса. — И Кузьма посмотрел на Геннадия Руслановича со значением.

Тот вздохнул, кивнул, пожал Кузьме руку, приобнял его, и мы пошли к подводе, где выяснилось, что у Кузьмы полны карманы завернутых в салфетки резаных груш для Гошки и Яблочка: Кузьма явно был в хорошем настроении. Яблочко деликатно заржал и подношение принял мягкими губами, Гошка сожрал свою порцию вместе с салфеткой. Мы тронулись уже было, когда нас нагнал запыхавшийся Зорин и быстро спросил:

— Как я выгляжу?

Кузьма вздохнул и ответил серьезно:

— Как человек, который из Новороссийска пешком пришел.

— Блядь, — сказал Зорин. — Кузьма, послушай, дай мне костюм, а? Поменяйся со мной на два часа.

— Ты в плечах не пройдешь, — сказал Кузьма, — а так мне не жалко. Но давай померяй, чем черт не шутит.

И они зашли за подводу и спустя несколько минут вышли, каждый в своей одежде, Зорин огорченный, Кузьма — сочувственно улыбающийся.

— Не расстраивайся, — сказал Кузьма. — Ты выглядишь так, как тебе свойственно, это всегда хорошо.

— Как мне свойственно... — пробурчал Зорин. — Хер тебя знает, что ты в виду имеешь, я тебя в последнее время вообще на хер не понимаю.

— Я хорошее в виду имею, — мягко сказал Кузьма. — Не волнуйся ты так, ради бога. Все хорошо будет. Она, может, тоже волнуется — ты же у нас знаменитость.

— Я царевен не рожал, — сказал Зорин. — Кузьма, понюхай меня, а? Блядь, я даже зайти помыться не успеваю. Так, сполоснулся тут в туалете...

Кузьма спокойно наклонился к Зорину и понюхал его справа, а потом слева.

— Нормально все, — сказал он. — Успокаивайся, милый. Все нормально будет.

И тогда Зорин неожиданно повернулся к сидящему с книжкой на краю подводы Квадратову и сказал:

— Батюшка, благословите.

Изумленный Квадратов сделал то, о чем Зорин его просил, и Зорину, кажется, несколько полегчало.

— Пошел я, — сказал он. — В отель уже приду, Гена меня доставит. Ну, с Богом.

И, расправив плечи, Зорин направился к ждавшему его Геннадию.

Квадратов, закрыв книгу, задумчиво смотрел перед собой, покачиваясь в такт подводе.

— Дорого бы я сейчас дал за ваши мысли, батюшка, — сказал Сашенька.

— Да они гроша ломаного не стоят, — осторожно ответил Квадратов. — Простые мысли: если бы не одно спорное место в послании Павла к римлянам, в каком бы мире мы жили: лучшем или худшем?

— «Несть бо власть, аще не от Бога»... В исторической перспективе об этом рассуждать сложно, — сказал задумчиво Сашенька. — Таких людей, как, например, наш Виктор Аркадьевич, это удерживало от лишнего кровопролития...

— А других людей — от поиска власти более справедливой, — сказал Квадратов, вздыхая.

— Интересный вы человек, Сергей Яковлевич, — сказал Сашенька.

— Да-да, — усмехнулся Квадратов, — год рождения тысяча девятьсот шестьдесят седьмой, отец Яков Сергеевич, мать Елена Федоровна, место рождения поселок Курагино Красноярской области, окончил среднюю школу номер два...

Сашенька засмеялся.

— Да нет, я серьезно, — сказал он. — Я понимаю, что такие люди есть в нашем духовенстве. Любая социальная страта — это спектр, а значит, на одном конце его должны быть такие люди, как вы. И то я понимаю, какую паству вы окормляете. А вот встречаться раньше не встречался и очень нашему знакомству рад.

— Боюсь — вы уж не обижайтесь на меня, пожалуйста, Александр Степанович, — что встретиться мы в других обстоятельствах, радости мне от этого было бы мало, — сказал Квадратов после небольшой паузы.

— Но мы встретились в этих, — ответил Сашенька серьезно.

Повисло молчание.

— Вы, наверное, знаете, зачем я иду, — сказал Квадратов утвердительно.

Сашенька не откликнулся.

— Можете вы мне помочь? — тихо спросил Квадратов.

— Как я могу помочь? — сказал Сашенька печально. — Я всего-навсего охранник слона...

— Понимаю, — кивнул Квадратов. — Простите меня, пожалуйста, за неуместный вопрос.



— Все хорошо, — тепло сказал Сашенька, и оба они вновь уткнулись в книги — каждый в свою.

Какая-то мысль вертелась у меня в голове, мысль страшно важная и очень большая, и я чувствовал, что должен поймать ее, поймать и обязательно додумать, но усталость не давала мне сосредоточиться ни на чем, и я поклялся себе, что, как только дойдем мы до места, я выплюсь, а как только я выплюсь, я подумаю про этот разговор Сашеньки с Квадратовым и поймаю наконец эту самую мысль за хвост.

Маленькое, длинненькое двухэтажное здание, про которое не сразу и понял я, что оно отель, возникло перед нами, когда свернули мы с шоссе в лесок уже почти за пределами города. Я хотел только одного — чтобы провели меня в тот самый внутренний садик и дали отдохнуть моим гудящим ногам и гудящей моей голове. Ярко-голубая машинка уже нашла себе место на стоянке, и Певицына в ожидании нас сидела, скрестив ноги, на какой-то бетонной тумбе.

— Вы оформляйтесь, — сказала она, — а мы с Толгатовым Батыровичем покажем Бобо, где он может отдохнуть. Идемте.

И мы пошли в обход здания и прошли какую-то аркою, и там...

Я никогда раньше не видел бассейна. Не смейтесь: я отлично знал, разумеется, что такое бассейн, и не раз рассказывали мне про султанский бассейн, расположенный внутри банного здания: что был он удивителен и велик, и что росли вокруг него лианы, и что в малых бассейнах вокруг плавали лилии, и что несчастные павлины умирали там от жары и влажности, хотя султан и придворные его очень гордились тем, что зимой и летом в бассейне стояла «прохлада» и что во время беременности наследником престола султанша наша вовсе из бассейна не выходила: ей и еду на край подавали, и ложе для сна среди лиан поставили и балдахинном накрыли. Все это я знал, знал, но

сам... Словом, я впервые... Нет, мне надо сказать все до конца. Там, в невероятной, невозможной жизни, где меня каждый день и маслами смазывали, и расписывали, и ногти мои полировали и покрывали лаком, — там и купал меня верный мой Толгат каждый божий день, вот только никогда, ни разу в жизни не входил я в воду собственными ногами. В саду нашем, который теперь кажется мне... Неважно, чем он мне теперь кажется, — так вот, в саду нашем были, конечно, пруды, но мысль искупаться в пруду была для меня такой же дикой, как мысль залезть на дерево: лебеди заели бы меня, карпы бросились бы от меня врассыпную, сам бы я был весь в тине и иле, лилии бы опутали мои ноги, и в целом... Да нет, что за дикая мысль! И вот теперь... Неподвижный прямоугольничек чистой-чистой голубой воды был передо мною, без единого мерзкого лебедя, трусливого карпа или назойливой лилии. Пар, теплый пар поднимался над ним. Внезапно я понял, как я ужасно, невообразимо грязен, как чешется от дорожной пыли и застарелого пота вся моя несчастная кожа, как забиты песком мои бедные, бедные уши... Шерсть моя встала дыбом, дрожь прошла по мне. Я двинулся вперед; что-то кричала мне вслед Певицына, сидевший у меня на шее Толгат дергал меня за уши и изо всех сил пинал пятками — мне было все равно. Я оттолкнулся задними ногами — и через мгновение испытал нечто сродни сладчайшей судороге на свете. Теплая вода приняла меня; я погрузился с головой — и испытал острейшее, чистейшее счастье; открыв глаза, я зашевелил ногами; в ушах у меня ровно, гулко шумело... Вода вокруг стала грязной и темной — мне было все равно: тепло ее проникало внутрь меня, и ничего мне больше в мире было не надо.

Вынырнув, я увидел совершенно мокрого и очень сердитого Толгата, завернутого в полотенце, на краю бассейна, и хохочущего Мозельского, и Певицыну с наставленным на меня телефоном, и Квадратова

с Кузьмой, и Сашеньку, и все они смотрели на меня и смеялись, и сам я смеялся, и с меня струями текла сероватая вода. Толгат стянул с себя кое-как рубашку и побежал за шлангом. Меня покачивало. От холодной воды из шланга я содрогнулся: я думаю, не так Толгату надо было меня домыть, как в чувство привести, но я не обиделся. Пришли какие-то люди, покрутили что-то возле бассейна, и вода стала убывать. Я поклялся себе, что, как только воду снова напустят, я пойду обратно. Никаких больше мыслей не осталось у меня в голове, я был как младенец, заново родившийся, все мысли вымыло из меня.

— Что вы здесь все собрались? — раздался встревоженный голос Зорина. — Стряслось чего?

Я понял, что аудиенция его была недолгой: Зорин выглядел одновременно раздосадованным и уставшим.

— Ничего особенного, — сказал Кузьма, оборачиваясь к нему. — Так, слона помыли.

Зорин посмотрел на мокрого Толгата и ничего не сказал: явно ему было не до наших приключений. Вместо этого он подошел к Сашеньке, взял его за локоть и произнес тихо:

— Александр Степанович, мне бы вас на пару минут.

— Вот уж я и «Александр Степанович» стал, — сказал Сашенька, улыбаясь.

Зорин смутился. Сашенька же, словно не замечая этого смущения, отошел к дальнему концу бассейна, к металлической гнутой лесенке, сверкавшей на солнце, и я, не столько желая послушать их разговор, сколько стремясь согреться в солнечном пятне после устроенной мне Толгатом помывки, бездумно пошел за ними и принялся жевать высокую траву у ограды внутреннего двора.

— Вот, — сказал Зорин, оглядевшись, осторожно достал из глубокого наружного кармана своих боевых штанов и протянул Сашеньке узкий голубоватый конверт с красной сургучной печатью, — пожалуйста.

Сашенька взял конверт, повертел в руках и, не говоря ни слова, внимательно посмотрел на Зорина. Зорин смотрел на Сашеньку, приоткрыв рот, а Сашенька смотрел на Зорина, чуть приопустив свои невероятные ресницы и склонив голову набок. Ничего не происходило. Наконец Зорин не выдержал.

— Вы мне скажите только, когда его у вас забрать, — неуверенно выговорил он.

— Забрать? — удивился Сашенька.

Зорин начал наливать цвет.

— Ну вам же, наверное, нужно... — сказал он и неопределенно повел руками.

— А мне нужно? — с интересом спросил Сашенька. — Я не знаю. Я же не такой честный, порядочный человек, как...

Тут побагровевший Зорин выхватил письмо из пухлых Сашенькиных пальцев и с третьей попытки засунул его обратно в не желавший открываться карман штанов. Крутанувшись на месте, чтобы отправиться во свояси, он на секунду замер и замешкался. Сашенька, чуть улыбаясь, спокойно ждал. Зорин снова повернулся к своему подчиненному и, поколебавшись еще миг, спросил шепотом, хотя рядом не было никого, кроме меня, а на меня он никакого внимания не обращал:

— Скажите, Сашенька... Я клянусь, дальше меня не пойдет... Я на нее смотрел-смотрел, да так и не понял... Это правда, что у нее рак?

Сашенька ответил Зорину очень серьезным взглядом и произнес так же тихо, слегка наклонившись вперед:

— Не думаю... Не может же так быть, чтобы у всех был рак.

Зорин отпрянул.

— Не понимаю, на кого вы намекаете! — довольно громко сказал он с большим пафосом.

— Я? Я вообще не намекаю, — сказал Сашенька устало. — Я просто стараюсь с начальством разговор

поддержать. Вы простите, Виктор Аркадьевич, если что не так, длинный день был, притомился.

Зорин растерялся и словно бы вдруг вспомнил, кто он такой и что тут происходит.

— Так, — сказал он. — Вы как, заселились? Периметр проверили? К слону у посторонних доступа нет? Доложите мне, пожалуйста, обстановку в целом, что-то это место мне не больно нравится. И где Мозельский? Почему его вечно искать надо? Что у этого человека с дисциплиной происходит?

И Сашенька принялся докладывать, что у отеля с периметром, и где Мозельский (спит, сменит Сашеньку через сорок три минуты, а вообще ужин обещали накрыть тут, у бассейна, так что на ужин не все и встретимся), и каков график дежурств на ночь. Плечи Зорина распрямились, а солнце зашло, и, когда Зорин наконец отправился восвояси, Сашенька растянулся в маленьком неустойчивом шезлонге и спросил негромко, обращаясь к зарослям рододендронов:

— Аслан Реджепович, не ко мне ли вы?

Зашевелились рододендроны, и из них выполз смущенный дряблый червяк Аслан.

— Сашинька, здравствуйте, — сказал он покорно, присаживаясь на соседний шезлонг и едва его не переворачивая. — Я к вам с важным разговор и очень интимно.

— Я уже ко всему готов, — сказал Сашенька со вздохом.

— Я, вы знаете, хороший специалист, — скромно сказал Аслан, — я таксидермист очень хороший, очень много умею.

— Знаю, Аслан Реджепович, я наслышан, — уважительно сказал Сашенька.

— Это правда, что у царицей рак? — подавшись к Сашеньке и тревожно всматриваясь в темноту, прошептал Аслан.

— А откуда вы знаете? — так же тревожно озира-  
ясь и так же подавшись вперед, шепотом откликнул-  
ся Сашенька.

— Я сам не понимаем, — сказал Аслан растерянно.

— Не понимаем и неисповедим, — задумчиво ска-  
зал Сашенька. — Ну-ну, я вас очень внимательно слу-  
шаю, Аслан Реджепович.

— Я думаю, у меня есть важное предложение к Его  
Величеству, — сказал Аслан торжественно.

Сашенька молча склонил ухо поближе к Аслану.

— Я думаю, я могу мумификация Ее Былое Вели-  
чие священная лона. Я думаю, это для царство очень  
важно и священо и огромная красота. Я думаю, это  
будет первый раз в мире такое навсегда.

Сашенька на секунду прикрыл глаза. Я очень крепо  
закусил какую-то ветку.

— Ну что же, дорогой Аслан Реджепович, — сказал  
Сашенька через несколько мгновений, — вижу, челове-  
чество в вас действительно большого, большого поэта  
потеряло. Я считаю, вам надо написать Его Величеству  
подробное предложение. Изложение, так сказать, вашей  
замечательной идеи. С чертежами и эскизами. Только  
правда, правда очень подробное и особенно эскизов не  
жалеть. Есть у вас для этого все необходимое?

— Мне нужно хорошая бумага, — сказал Аслан, вос-  
пламеняясь. — Такая... царская бумага и очень хоро-  
ший карандашей с цветом. Я очень прошу покупать.

— Сегодня же озаботимся, — кивнул Сашенька,  
сдвигая пушистые бровки.

— Я учился анатомическое рисование у прекрасный  
мастер Персеев Александр Федорович, — доверитель-  
но сказал Аслан, — я смогу не подводить.

— Я в вас очень верю, — сказал Сашенька, пожи-  
мая Аслану хрупкую лапку, и Аслан снова исчез в ро-  
додендронах. — Фух, — сказал Сашенька и, подмигнув  
мне, откинулся в шезлонге. Я понял, что все еще стою,  
сжимая горькую ветку во рту, и отпустил ее наконец.

Вышли к бассейну люди в белых рубашках и черных фартуках и принялись расставлять и накрывать скатертями длинные столы. Что-то щелкнуло, и мягко засветились фонари — где обычные, а где и цветные, очень красивые. Посвежевшие мои люди начали собираться к ужину; вынес Толгат постиранную и в очередной раз заштопанную мою попону и разложил ее сушиться поверх рододендронов. Теплым был вечер, чистым небо, поднимался пар от воды, и вдруг показалось мне, что все зло мирское далеко-далеко, и так захотелось мне просто пожить — пожить один-единственный вечер, не думая ни о царе, ни о войне, ни о Буче, ни об отце, ни о матери, ни о том, что я делаю на этой грешной земле русской и что я дальше на ней делать буду, ни об Аслане, ни о Зорине, ни о том, с каким хрустом у людей ломаются кости. Пожить захотелось мне! Все, все дурное вдруг стало от меня далеко, как будто вовсе не было его. Я двинулся вперед и взял с еще не до конца накрытого стола большущую булку и съел ее, и было хорошо. И попробовал я ногой теплую воду в бассейне, и пробежала по моему телу приятная дрожь, и Толгат крикнул встревоженно: «Эй, эй, эй!» — и все засмеялись, и было хорошо. И пошел я к Кузьме, чей отчищенный и отпаренный синий костюм посверкивал в вечерних огнях и чьи влажные волосы пахли очень приятно, и дунул хоботом ему в ухо, и было хорошо. И увидел я Зорина, который пробирался к столам, сглатывая слюну, и прихватил со стола пальцами бутерброд с красною рыбою и протянул его Зорину, и Зорин взял его изумленно и кивнул мне, и было хорошо. И подошел Кузьма к Зорину и спросил его тихо: «Ну, какова она, обладательница священного лона?» И Зорин, отвернувшись от него, закусил бутерброд и собрался уже уйти, когда Кузьма сказал:

— Прости, я без подъебки спрашиваю. Мне правда интересно. Давай отойдем в сторону поговорим, правда.

И отошли они, и я отошел за ними, и спрашивал Кузьма:

— Как она тебе показалась?

И отвечал Зорин настороженно:

— Что тебе до нее?

И говорил Кузьма:

— Не знаю... Я весь день думаю: ну вот когда там они женились? Сорок лет назад? Сорок пять? Пятьдесят, не знаю? Я весь день думаю: они же женились как люди, да? Он еще был... Ну был он гэбэшник, понятное дело, но ведь... Что-то человеческое в нем было еще? Не царицу же он себе тогда выбирал, да? Он влюбился, может быть... Волновался, наверное, перед свиданиями, перед первым сексом. Как-то в порядок себя в ванной приводил, хорошо пахнуть хотел. Что-то человеческое было в этом всем, и она... Живые люди были, понимаешь ты, о чем я говорю? Не знаю. Она, может, — наверняка даже — по-прежнему человек, которого он взаперти держит, в плену держит... Женщину, перед свиданием с которой он волновался когда-то, прихорашивался. И я пытаюсь себе представить весь день...

Зорин ел бутерброд и смотрел на Кузьму, и, кроме челюстей, не двигалось в его лице ничего — он не шевелился, не кивал, не мигал. Он просто сказал вдруг, проглотив очередной кусок и швырнув остатки бутерброда себе под ноги:

— Все.

— Что? — удивился Кузьма.

— Я с тобой, Кузьма Кулинин... Вернее, так: я с вами, Кузьма Владимирович, больше, с вашего позволения, никаких разговоров вести не буду, кроме как по рабочей надобности, — сказал Зорин спокойным голосом, по-прежнему не мигая и глядя на Кузьму совершенно остекленевшими от ярости глазами. — Вы мой начальник в этой экспедиции, я ваши распоряжения — если, конечно, они будут находиться в пределах



закона и дозволений моей совести — буду беспрекословно выполнять, и этим я бы попросил наше общение ограничить.

Кузьма изумленно уставился на Зорина и сказал осторожно:

— Хорошо, договорились... А позвольте спросить, Виктор Аркадьевич, что сейчас вызвало у вас такую острую и однозначную реакцию? Мне это не только интересно, но и важно...

— А то, — сказал Зорин и наконец замигал, причем замигал часто, — что произносимые вами вещи, на мой взгляд, на полкопеечки отстоят от государственной измены. Ты, Кузьма, — я тебе напоследок скажу, а ты как хочешь к этому относишься, можешь делать выводы, а можешь нет, — мне кажется, совсем охуел. Ты послушай, что ты произносишь о... Я не знаю, Кузьма, как тебе это передать, — сказал Зорин со стоном и в бессилии взмахнул руками. — Ну хорошо, ты головой не понимаешь. Но вот ты сейчас про живых людей говорил. Ты сам — ты живой человек, ты русский человек, так? Неужели ты, когда смотришь на него, когда думаешь про него, не чувствуешь... Ну хоть чего-то? Чего-то большего, Кузьма, чем ты да я?

— Я много чего чувствую, — медленно сказал Кузьма.

— Вот! — не понял Зорин. — Вот! Может, ты просто осознать не в состоянии, что чувствуешь? Может, ты от этого ерничаешь, и цинируешь, и чушь несешь? Может, тебя это чувство с ног сметает, и ты от растерянности это делаешь, а, Кузьма? — Зорин поглядел вверх, словно ища у темного летнего неба какой-никакой помощи, а потом сказал: — Давай я тебе попробую так объяснить. Ты же крещеный, наверное?

— Крещеный, — серьезно сказал Кузьма.

— Хорошо, — сказал Зорин. — Вот ты в церковь ходишь?

— Иногда случается, — сказал Кузьма все так же серьезно.

— На Пасху, небось, да на Рождество... — сказал Зорин, качая головой. — Ладно, неважно. Но ты мне скажи: у тебя бывало такое, чтобы вдруг, в одну секунду, ты ощутил вот здесь и сейчас, в полной мере ощутил в церкви острое, полноценное, полное Господне присутствие? Только не ерничай ты, умоляю, просто скажи...

— Просто тебе говорю, — ответил Кузьма тихо, — бывало, и не только в церкви, и не один раз, и эти мгновения для меня бесценны.

— Так вот пойми: я когда думаю: Боже мой, Господь России дал своего наместника — человека, который место его занимает, представляет его на Земле и волю его вершит, и это милость Божия, нам дарованная, — Кузьма, пойми, я не головой это воспринимаю, я это чувствую вот здесь, — и Зорин прижал кулак к груди, — вот здесь, так уж я устроен... Я знаю, что эти, *эти* обо мне говорят — что Зорин... Но я чувствую, Кузьма, — тут Зорин сжал кулак у груди, и кулак его побелел, — я чувствую так. Я вижу его — и я понимаю, что он, конечно, человек, что говорить; и человек живой, и ошибки наверняка он может делать, и то, и се, но, Кулинин, я чувствую, что он от Бога, что это Господа человек!.. Я Господне присутствие ощущаю, когда он говорит, понимаешь ты? И вот тут я тебе хочу сказать — ты не думай, я не о себе поговорить собрался, я о тебе, Кузьма, поговорить собрался, я не забыл, — что это выдержать, вот это чувство выдержать — это пиздец тяжело. Это тя-же-ло. Потому что оно тебя сметает, умаляет в копеечку. Ну скажи, разве нет?

Кузьма молчал.

— Молчишь ты, — с досадой сказал Зорин. — Тебе даже признаться трудно, что нечто — пусть даже это! — тебя, Кузьму Кулинина, такого всего охуенного, до копеечки умаляет. А мне легко признаться — а выдержать трудно. Так я что делаю? Я стихи пишу,

Кузьма. Я, когда меня это чувство на клочки раздирает, я хватаюсь стихи писать. Говно не говно — хватаюсь и пишу. Говно получится — это ничего, я не гордый, я выброшу потом. А ты, Кузьма, с этим чувством не знаешь, что делать, разрывает оно тебя. И чем мы ближе к Нему, к Нему подходим, тем оно в тебе сильнее растет и тем ты хуже с ним справляешься. Выходили мы — я на тебя смотрел и видел: да, циничный человек Кузьма Кулинин, едкий, верткий, но царский человек, на нашей стороне сражается и все правильно понимает. И вроде миссия у нас смешная, глупая, а я себе сказал: нет, это царская миссия, царское посланничество, и видишь ты, есть на нем отблеск божественный, и даже на слоне нашем, скотине мерзкой, я его ловлю и чувствую и оттого до сих пор по сусалам ему не надавал. А сейчас я смотрю на тебя, Кузьма, и понимаю: сломала тебя божественная близость, не смог ты ей места в своей душе найти. Подумай об этом, Кузьма: я в тебя больше не верю, а в душу твою бессмертную верю и молиться за нее буду; есть в ней место божественному присутствию, есть, только впусти его, я тебя умоляю, и ты увидишь, как легко тебе идти будет. А иначе только и останешься ты, что надсмотрщиком над слоном, хуже Толгата: Толгата любовь ведет, а ты зачем тащишься?..

И с этими словами Зорин, обогнув Кузьму, ушел прочь.

— Никогда не знаешь, — рассеянно пробормотал Кузьма и посмотрел Зорину вслед. — Черт его пойми, как теперь жрать...

Я вдруг почувствовал, что мелкая дрожь бьет меня. Я знал, я знал, о чем Зорин говорит; я понимал все. Я понимал, что такое «божественное присутствие ощущать»: я ведь помнил себя в Стамбуле, я помнил; и еще то понимал я, что иногда для чувства этого никаких флагов не надо; стоишь ты, поссамши, и смотришь, как какой-то муравей — крупный, дерзкий — на высокой

травинке качается: просто так он на нее залез, никакого дела у него там нет — так, мир повидать пожелал, — и вдруг раскрывается в тебе одновременно такая сладостная собственная малость и такое его, этого муравья, невыразимое величие, что все шестеренки этого мира становятся перед тобою обнажены и горло у тебя слезами сжимает, и не знаешь ты, кого за все это благодарить. Теперь-то я знаю, знаю; и Зорин — он знает, и Кузьма знает, только почему-то у каждого свой муравей на своей травинке должен покачаться, чтобы с ним такое произошло. Тут же и подумал я, что ежели царь — Божий на земле наместник, то для всех людей русских он — та травинка и тот муравей: от одного слова его, от одного взгляда на него, да что там — от одной мысли о нем должны мы все быть как Зорин: должно у нас появляться чувство, что Господь наш рядом. А только кто же виноват в том, что... Что... И не в том ли должна служба моя во славу России заключаться, чтобы... Я почувствовал, как при этой мысли голова начинает кружиться и ноги слабеют. Я должен был немедленно найти Квадратова и поговорить с ним.

Подвода наша стояла за зданием отельчика, там, где внутренний двор загибался буквою «Г». Распряженные Гошка с Яблочком мирно ели из тазов, заменявших им здесь ясли, и даже не посмотрели на меня; я хотел было уже пойти и заглянуть под навес подводы, как вдруг увидел близ нее Зорина, и что-то в его позе заставило меня перейти на очень мелкий, очень тихий шаг: я крался так, чтобы Зорин меня не услышал. Яблочко поднял голову и хотел было сказать что-то, но я прикрыл глаза: он понял меня и промолчал. Очень осторожно я заглянул Зорину через плечо: перед ним на краю подводы стоял изящный рюкзак Кузьмы с развязанными тесемками, а сам Зорин поспешно и нетерпеливо листал большую кожаную тетрадь, хорошо мне знакомую. Страница за страницей, страница за

страницей шли в тетради рисунки — и больше ничего: увидел я спящего себя с обвисшей кожей под подбородком и читающего стихи Зорина с распахнутым ртом; увидел Квадратова, благословляющего толстого неприятного человека, и очкастого чиновника с микрофоном под растяжкой, целиком заполненной буквами «Z»; увидел Сашеньку, что-то пишущего в маленький блокнотик, и Мозельского за едой, сидящего в лесу на пеньке, — а еще я увидел, что Зорин почему-то этими картинками страшно разочарован... Не удержавшись, я тихонько вострубил у Зорина над ухом, и Зорин, схватившись за сердце, подскочил на месте и выронил из рук тетрадь.

— Вот же ты мерзкая тварь, — процедил он, глядя мне прямо в глаз.

Я показал ему язык и отправился восвояси, испытывая чувство сильного облегчения от увиденного. Квадратова нигде не было, и я заподозрил, что отче поддался соблазну плоти и решил искупаться в теплом бассейне. Но Квадратов не купался: стоя рядом с Толгатом, он смотрел на плещущихся в теплой воде восторженных ребят мал мала меньше — их было человек десять—двенадцать, и визжали они так, будто впервые в жизни погрузились в воду.

— Как это они сюда пробрались? — спросил, улыбаясь, Квадратов.

— Да я попросил пустить, — тихо сказал Толгат. — Они, понимаете, через забор подглядывали, хотели слона посмотреть, я попросил. Видите вон того, высоконького? Вон там, в дальнем конце? Который ни с кем не играет, а только плавает туда-сюда?

— Вижу, — сказал Квадратов, сориентировавшись.

— Это мой Яшка, — сказал Толгат.

Растерявшийся Квадратов посмотрел на него недоуменно.

— Не буквально, — сказал Толгат. — У меня был средний сын, Яша, Якубек. Он жаловался на боли

в животе, у него была диарея. Мы ходили по врачам, но боли то начинались, то исчезали, и нам советовали лучше мыть руки. В какой-то момент у Яшки начались приступы тахикардии. Один, другой. Мы опять пошли к педиатру, сделали ЭКГ — ничего. После третьего приступа Яшка в школе потерял сознание, его увезли в реанимацию и сказали нам, что речь идет о редчайшей ситуации — детском инфаркте. Через несколько часов он умер. А еще через два дня мне позвонила врач из этой самой реанимации. Она сказала, что сегодня случайно увидела его анализы. И что она сделала ужасную, непростительную ошибку: не заметила, что у моего мальчика был гемоглобин семьдесят. И что, судя по всему, он умер от желудочного кровотечения.

Квадратов стоял, прикрыв рот рукой.

— Она сказала, что готова к любым последствиям. И что не знает, какие слова произнести, — сказал Толгат. — И я просто повесил трубку. Я знаю, что это плохо, простите меня, отче, но меня на большее не хватило. Моя жена до сих пор ничего не знает, я ей не сказал, не смог. Никто не знает. Но меня этот мой поступок убивает. Я должен был... ответить ей что-то, этому врачу. Что я не собираюсь...

Квадратов помолчал, а потом сказал очень мягко:

— Если это нужно вам... Если это так мучает вас, вы ведь можете и сейчас?..

— Я думаю об этом иногда, — сказал Толгат, — а вот видите — не делаю. Наверное, я плохой человек.

— Нет, — сказал Квадратов осторожно, — нет, совсем нет. Это не делает вас плохим человеком.

Толгат посмотрел на него, улыбнулся и перевел взгляд на ребятишек в бассейне.

— Я люблю на детей смотреть, — сказал он. — Выбираю себе Яшку, и очень даже легко получается. Очень хорошо. Где мы только не бываем с Яшкой, чего только не делаем.

Тут вдруг кто-то из ребят, указывая на меня, закричал:

— Слон! Слон!!! — И все они, обернувшись, замерли с открытыми ртами — почти голые, блестящие, счастливые, и внезапно, как если бы голос с неба скомандовал им броситься на меня, они метнулись к бортику, и вот я уже облеплен был весь мокрыми маленькими телами, и они карабкались по мне, как обезьянки бонобо, и еле удалось мне дотащиться вместе с ними до края бассейна и плюхнуться в воду, увлекая их за собой, и поплыть в облаке хохота и визга, и тот, который был Яшкой, держался за мое правое ухо так крепко, словно боялся потеряться. А когда я вылез, когда охранники увели детей (попрощавшихся со мной пять раз каждый) за ворота, где ждали их родители, когда убрали закуски и вынесли горячее, я увидел, как Толгат поднимает что-то с травы — маленькую игрушку, какие кладут в шоколадное яйцо, маленькую ярко-голубую машинку с номерной табличкой «LIVE!!!», — и кладет ее в свою котомочку.

Певицына подошла к одному из столов, взяла Кузьму за локоть и сказала:

— Ну что, тост?

— Подождите, Марина Романовна, — сказал Кузьма очень деловито. — Сперва подпишите мне, пожалуйста, подорожные, а то я чувствую, что после тоста ничего от меня не останется.

— Да, — сказала Певицына, — конечно.

И по какому-то наитию я осторожно пошел за ними к подводе и увидел, как Кузьма, похлопав Гошку по крупу, осторожно наклоняется к маленькой Марине Романовне и медленно целует ее, и сердце мое преисполнилось умилением и горечью, и я отвернулся, чтобы продышаться немного, и продышался, и вернулся к столам, и через несколько минут вернулись к столам Кузьма с Певицыной, тихие и спокойные, и Певицына взяла бокал и постучала по нему вилкой,

и все обернулись, и она сказала, сияя темными глазами в лучистых морщинках:

— Ну, сначала, конечно, за наших мальчиков на Украине и за нашу скорую победу!



Лило страшно, и мчался к нам по улице Ленина — не разбирая дороги, разбивая резиновыми сапогами огромные свинцовые лужи — черный человек в черном огромном дождевике, и под дождевиком у него было тоже мокрое, черное, бьющее по ногам, и весь он выглядел так, словно только что вернулся с похорон или нас бежит на похороны вести. Не добежав еще до нашей подводы и до нас, несчастных и продрогших, он закричал тонким голосом:

— Отче! Отче! Отец Сергей! С вами ли отец Сергей?! — и, ни взгляда на меня не бросивши, кинулся к навесу над движущейся подвоею и побежал следом за ней, уцепившись за боковые распорки и пытаясь заглянуть внутрь. Из-под навеса высунулся перепуганный Квадратов и тут же схватился за очки: ливень бил так, что они едва не свалились у него с носа.

— Что стряслось? — спросил Квадратов в ужасе. — Что случилось?

Прибежавший зажал себе рот ладонью, затем на бегу поклонился Квадратову и быстро пробормотал:

— Отче, благословите.

Квадратов поспешно выполнил его просьбу и повторил:

— Да что же случилось? — и тут же крикнул Мозельскому, мокнувшему на козлах: — Владимир Николаевич, дорогой, остановите вы лошадей на минуточку!

— Мне совет ваш нужен, отче, — быстро и тихо сказал прибежавший человек, и я понял наконец, что передо мною очень молодой и очень растерянный священник. — Через двадцать минут мне молебен служить, мне вас Господь послал, еле дождался вас, навстречу побежал, уже обратно бежать надо...

— Да вы полезайте внутрь, ради бога! — воскликнул Квадратов. — Тут только теснота, вы не обессудьте, но мы подвинемся...

— Нет-нет, не успеваю, — отвечал священник, — сейчас говорить надо, не могу... Вы скажите мне, умоляю вас: мне как служить-то сегодня?

Рядом с головой Квадратова появилась голова Кузьмы. Квадратов смотрел на священника в полнейшем недоумении. Священник же вглядывался в его лицо с таким вниманием, словно искал откровения свыше. Через минуту он сказал упавшим голосом:

— Не можете... Я понимаю... Я понимаю, конечно. Ах я дурак, дурак, конечно, вы не можете, сам я идиот и вас в ужасное положение поставил. Как я мог... Я просто... Вы поймите меня, отец Сергей, если я за здравие скажу, а он... Как вы думаете, Господь же разберет своих, да? Простите, если я так просто и глупо... Но есть еще такое, что если я за здравие — прихожане мои, люди простые, скажут: «Поп душе дороженьку не проложил, на вечные муки обречь хочет...» Хуже некуда. А если я, не дай Бог, наоборот... Записки сегодня не подали ни одной. Ни одной! И не подадут... Я не жаловаться, я просто объясняю, почему я так по-свински... Вы простите меня, ради... А-а-а-а, — вдруг вскрикнул он тоненьким голоском, — стыдно! Побегу назад, побегу. Стыдно!

И священник помчался обратно по лужам, натянув на глаза свой огромный, блестящий черный капюшон и не замечая того, что ливень прекратился и что страшное, выпуклое небо теперь нависает над нами, словно собирается задавить нас своим жирным серым брюхом.

Квадратов выбрался из подводы. Следом за ним выскочил Кузьма, посмотрел на небо и одернул пиджак.

— Поехали! — крикнул он Мозельскому, и они с Квадратовым двинулись за подвоею пешком. Растерянный, я пошел рядом с ними, прислушиваясь.

— Что это было? — спросил Квадратов в недоумении.

Кузьма помолчал. Потом догнал подвою и, трюся за ней следом, позвал:

— Сашенька! Выберите-ка к нам.

Сашенька тут же появился на свет и пошел с нами рядом, не преминув заметить, что после дождя воздух сделался чудо как свеж.

— Сашенька, — сказал Кузьма осторожно, — хорошо ли поживают наши близкие? Давно мы о них ничего не слышали...

Сашенька посмотрел на Кузьму огромными прозрачными глазами и сказал:

— Я вот лично последний раз, каюсь, получал сведения из дома в Алатыре — так вот мои все вроде бы в порядке, только про, знаете, двоюродного деда ходили слухи, что ему вроде бы нездоровится... А что, Кузьма Владимирович, новости есть?

— Да вот поп здешний приходил, — сказал Кузьма небрежно, — спрашивал, ни за кого ли мы не хотим свечечку поставить.

— Ага, понимаю. — Сашенька зевнул, ничего больше не сказал, прибавил шагу и отправился к Мозельскому на козлы.

— Я сейчас с ума сойду, — жалобно сказал Квадратов.

— Отец Сергей, — тихо сказал Кузьма, глядя себе под ноги, — все это значит одно: ходят слухи, что царь умер. Подтверждения по Сашенькиному ведомству в последние четыре часа не было: или Сашеньке не доверяют такие сведения, или слухи неверны. Но они есть. Продолжайте идти, ну что вы остановились.

Некоторое время Квадратов молчал, а потом сказал:  
— Ах ты ж бедный попик.

Встречал нас от имени села человек большой, широкий, с лицом как мозолистая ладонь, и при нем еще трое мужчин, всё люди серьезные. Когда Кузьма объяснил им, что на ночь мы останавливаться не будем, они испытали, кажется, некоторое облегчение. Я вглядывался в них очень-очень внимательно, но ни один из этих людей ни словом, ни жестом не выдал горя или хотя бы растерянности, и я не понимал: то ли слухам они не верят, то ли верят, но так хорошо себя держат, что только позавидовать можно. Я и позавидовал, позавидовал страшно, и позавидовал Кузьме, который совершенно спокойно улыбался им и говорил с ними о пополнении припасов наших, и об обеде, и о том, как село их чисто да красно и как мы благодарны ему за гостеприимство.

— Вы не смотрите, — смущенно сказал широкий человек, — что на улицах-то ничего, час ранний (*хотя было половина первого пополудни*).

— И то понятно, — немедленно подхватил Кузьма, улыбаясь. — Час ранний, день воскресный, куда тут слона смотреть. Отсыпается народ.

— Вот именно, отсыпается! — с облегчением откликнулся широкий человек (звали его Евгений Дмитриевич Потоцкий, и был он главой местной администрации), а потом замялся.

Тогда Кузьма едва заметным жестом дал ему понять, что хотел бы поговорить в сторонке, и они отошли, укрывшись за мной от лишних глаз.

— Кузьма Владимирович, дорогой, — сказал глава администрации, разглядывая мой бок так, словно на нем икона была нарисована, — парадный обед приготовили... А только я хотел вас спросить... Не убрать ли стерлядок и шампанское? Как вы думаете?

— Господи, Евгений Дмитриевич, да от стерлядок у меня несварение, а от шампанского у нашего Зорина

вечно голова болит! — тут же откликнулся Кузьма, взмахнув руками. — Убрать, непременно убрать!

— Ну слава богу! — приложив руку к груди, выдохнул Евгений Дмитриевич и тут же щелкнул пальцами, и один из его сопровождающих сорвался с места и исчез. — И еще, вы не поймите меня неправильно, а только не знаю, как сказать... Вдруг вы сможете обед без нашего, так сказать, присутствия... Все-таки... Не считите за обиду, умоляю... А только обед — дело такое...

— И конечно, сможем! — немедленно отозвался Кузьма. — Все понимаю: село большое, выходных не бывает! Работа на благо государства превыше всего, цену, цену таких людей, цену и уважаю!

Евгений Дмитриевич просветлел лицом, словно миновала его большая-большая беда.

— У меня одна просьба, — сказал Кузьма доверительно, — маленькая, простенькая: вы нам накройте, если можно, в не очень парадном месте. Нам бы тихонько посидеть, посоветоваться.

— Все понимаю, — серьезно сказал Евгений Дмитриевич. — Мы вам знаете где? Мы вам в Доме культуры нашем накроем. Там и светло, и просторно, и слонику вашему под окном травка имеется. — И он осторожно похлопал меня по боку, а потом не выдержал и робко постучал в меня три раза кулаком, зажмурив глаза. Кузьма улыбнулся.

— Люблю поесть в сени культуры, — сказал он. — Отлично, отлично. Нам бы с дороги ополоснуться, а дальше мы готовы и за стол сесть.

— Так банька запарена! — радостно доложил Евгений Дмитриевич.

— Ну счастье! — откликнулся Кузьма. — Вот у баньки мы и припаркуемся. И еще, Евгений Дмитриевич...

— Да-да? — с готовностью откликнулся тот.

— У меня-то от стерлядок несварение, а вот у остальных нет, — серьезно сказал Кузьма.

За баней, на маленьком лужку, куда вывел меня Толгат, паслись чьи-то две лошадки, грязно-серая и пегая рыженькая. Я едва поздоровался с ними — мысли мои мешались, я не мог ухватить ни единую из них, я мечтал об одном: чтобы дали мне на четверть часа остаться одному и, сосредоточившись, подумать в тишине об услышанном и о судьбе своей. Я хотел говорить с Кузьмой, мне надо было задать ему миллиард вопросов, без этого не понимал я ничего, ни будущей судьбы новой Родины моей, ни тем более судьбы своей собственной, но Кузьма будто нарочно уклонялся от того, чтоб остаться со мною наедине: стоило нам дойти до бани, как он, не обращая на меня и на жалобные взгляды мои ни малейшего внимания, отправился париться, и за ним потянулись все остальные. «Ладно же, — сказал я себе раздосадованно, — ладно, я потерплю и пока подумаю сам, если Господу будет угодно ниспослать мне хоть немного тишины и покоя», — но не тут-то было: стоило Мозельскому распрячь Гошку и Яблочко, как они, даром что мерины, решили в лучшем виде себя перед лошадками показать, тряхнули гривами и пошли вперед, подбрасывая зады так высоко, что ноги их задние одновременно отрывались от земли. Естественно, перед этими царственными особами лошадки не могли устоять и тут же, изящно согнув шейки, сделали по несколько шагов им навстречу. Мне было не до светских разговоров лошадиных, но говорили они так громко и ржали так неприлично, что я застонал.

— Он заболел? — с испугом спросила рыженькая.

Яблочко посмотрел на меня внимательно. Я осуждающе посмотрел на него в ответ.

— А хер его знает, — сказал Яблочко. — В голове у него вечно хуйня какая-то. По-моему, он на голову больной.

— Так-то он чувак нормальный, — снисходительно добавил Гошка, — но ебанутый, есть такое.

Очень задетый этим описанием, я смолчал. Гошка подошел ко мне и боднул меня мордой.

— Да ты не обижайся, — сказал он. — Времена такие, сейчас здоровеньких нет.

— Как вас зовут? — вежливо спросила серая.

— Бобо, — сказал я.

— Я Лялька, — сказала она и склонила свою большую тяжелую голову.

От Ляльки хорошо пахло свежим потом и сеном. Я поклонился.

— Что же, — сказала рыженькая, — домой вас теперь отпустят или дальше погонят?

От такого прямого вопроса у меня перехватило дыхание. Я спросил очень осторожно:

— Значит, вы верите, что...

Лялька дернула головой, откидывая челку с глаз.

— Я вчера на ярмарке в Ардатове была, — сказала она равнодушно. — Там только про это разговоры, а некоторых аж с Питера привезли. Чего не верить.

Я почувствовал, что колени мои становятся мягкими, и, чтобы не упасть, прислонился к стенке бани, закрыв собою небольшое низкое окошко. Мне понадобилось смежить веки на несколько секунд.

— Говорю же, — сказал Гошка, — дурной он. Пойдем по домам, подумаешь, нам-то что до этих дел? Сена не дадут? Чего ты истеришь?

— Ну, — рассудительно отозвался Яблочко, — это ты по домам пойдешь, а ему куда идти?

Гошка примолк.

Я сполз по стене бани, сел в траву и попытался справиться с приступом головокружения, откинув голову на банное окошко. Вдруг мне словно бы постучали в эту самую голову — кто-то стучал изнутри бани по стеклу окошка, снова и снова. У меня не было сил шевельнуться. Через минуту я почувствовал, что веко мое пытаются поднять самым грубым образом: свет ударил мне в глаз, и мне сделалось чрезвычайно

неприятно. Я заморгал и оттолкнул человека хоботом: то был Зорин — босой, голый, с чреслами, обмотанными большим белым полотенцем, и чрезвычайно злой. Рядом с ним стоял Кузьма в футболке и трусах, но тоже босой, и выглядел весьма обеспокоенным.

— Что же с нами со всеми будет? — тихо спросил я и услышал, что голос мой похож на сдавленный писк. Сам я не понимал, что вкладываю в этот вопрос; голова моя шла кругом. Тогда я заставил себя вдохнуть воздуха раз и другой и спросил снова, уже как следует: — Что же теперь будет?

Лицо Зорина вдруг смягчилось; по-моему, таким я не видел его никогда.

— Поверил, да? — сказал он с улыбкою. — Кто тебе глупостей наговорил, а? Эх ты, слонишка! Как вопросы задавать, так ты либерала даешь, задираешься, а как до дела доходит, так душа у тебя русская все-таки! Забываю я, что ты молодой еще дурачок, нельзя на тебя сердиться, тебя растить надо, бороться надо за таких, как ты, пацанят! Ничего не будет, дурачок ты эдакий. Кто тебе чего наговорил, я не знаю, а знал бы — язык бы отрезал. Если мы на каждую передислокацию будем в обморок падать, у нас обмороков не хватит!

— Зорин... — осторожно сказал Кузьма.

— Я войну видел, а ты нет, — сказал Зорин, присев рядом со мной на корточки и заглядывая мне в правый глаз. — Хочешь, я так телевизор поверну, чтобы тебе в окошко видно было? Это не они наступают, а мы отступаем, нет, — это тактическое наших командиров решение: пересобрать войска и ударить в другом направлении. А они им и пользуются, чтобы пиздеть: ах, у нас наступление! Да боже мой, пусть пиздят сколько хотят! Пиздеть — не мешки ворочать!..

— Зорин, — сказал Кузьма настойчиво, — отойди со мной на минуточку...

— Понимаешь? — сказал Зорин и похлопал меня по правой передней ноге. Я смотрел на его покачивающийся



деревянный крестик на тонком кожаном шнурке и не понимал абсолютно ничего, ни единого его слова, но на всякий случай моргнул. — Гляди, — продолжил Зорин и быстро собрал в кучку несколько камешков и разложил их в две полоски друг напротив друга. — Вот это мы, а вот это хохлы сраные. И мы решили, например, им в тыл зайти. Мы отсюда камешки убрали, — Зорин быстро собрал одну полоску в кучку, — и вот сюда передвинули, — Зорин разложил камушки чуть правее. — А они вот на это наше старое место встали, — Зорин передвинул одним движением ладони вторую полоску камушков туда, где прежде была первая, зачерпнув заодно земли и выдрав несколько травинок, и вдруг я заметил, что он страшно взволнован, — и голоса: «Контрнаступление! Контрнаступление!» А того не понимают, говнюки сраные, что им это их якобы контрнаступление в такую копеечку влетит...

Тут Зорин так стукнул по траве грязным кулаком, что напуганная Лялька заржала и попятилась. Я, по-прежнему не понимая ничего, закивал.

— Зорин, — сказал Кузьма твердо и так пожал по эту голое плечо, что на розовой коже остался след от стального кольца. — Отойдем прямо сейчас.

Я не слышал их слов, но видел, что происходило с ними: они стояли около каких-то прикрытых брезентом бревен, на которых висели ведра из-под краски, и сперва Кузьма коротко и спокойно сказал что-то, а потом Зорин, простояв несколько секунд без движения, ткнул Кузьму пальцем в грудь и так же коротко и спокойно ответил. Кузьма молчал. Зорин развернулся и пошел по траве к бане, зажав нательный крестик в кулаке и глядя перед собой невидящими глазами, Кузьма же еще постоял возле бревен, а потом подошел ко мне, погладил меня по голове и, ни слова не говоря, направился за Зориным.

Я продолжал сидеть, не в силах ни встать на ноги, ни собраться с мыслями. Лошадки не трогали меня

и негромко вели свой лошадиный разговор; я понял, что говорят они о том единственном, что занимало мысли мои, и стал прислушиваться. Быстро стало мне ясно, что Лялька, как побывавшая на ярмарке в Ардатове, имеет тут главное право голоса, и когда Яблочко спросил ее вежливо: «А что говорят, как оно случилось-то?» — Лялька закатила влажные свои глаза и отвечала снисходительно:

— Известное дело, в голове у него что-то лопнуло. Говорят, разозлился очень за что-то на генералов своих, кричал-кричал и упал.

— Генералов, небось, к ордену представили? — хмыкнул Гошка и заржал.

Лялька посмотрела на него в ужасе.

— Вы не слушайте его, Лялечка, — галантно сказал Яблочко, — он грубиян. Такое горе, такое горе.

— Как вы считаете, — задумчиво спросила рыженькая, — если все правда и траур будет, нам черные ленточки вплетут? А еще что? Мне через неделю тоже на ярмарку в Ардатов ехать — как представлю, что все в черном... Бр-р-р-р-р...

— Ленточки-то поебать, а вот я про жопы думаю! — сказал Гошка. — У меня племяшкиного мужа двоюродная сестра в дворцовой коннице, почетное клеймо во всю жопу с Его покойного Величества именованием, и подписью, и гербом личным, и хер знает чем еще. Больно, говорит, было, шо пиздец. Так теперь, что ли, на второе полужопие новое клеймо будут ставить? Небось, под наследницу-то положено всех переклеймить...

— Наследница... — тихо сказал Яблочко. — Посмотрим еще, чё какая наследница...

— Слон-то у вас, кстати, с тавром? — внезапно заинтересовалась рыженькая. — А посмотреть можно?

— На месте, видно, ставить будут, — рассудительно сказал Яблочко, подтанцовывая к Ляльке поближе. — Хотя хер его знает, что с нами будет теперь, со служивыми... Вам, Лялечка, хорошо: вы и красавица,

и умница, и хозяйева у вас, спорить готов, ласковые; и как это они вас на ярмарку повезли — ума не приложу! Только, небось, от сожаления такую цену заломили, что и купить-то вас никто не мог! Я б сам вас купил, ей-богу, — купил бы и любовался!..

Я уже не слушал лошадей; я думал, думал напряженно о двоюродной сестре мужа Гошкиной племянницы, и как будто все у меня в сознании становилось на свои места: на свои маленькие, скромненькие, аккуратненькие места. Словно бы огромный мыльный пузырь занимал прежде мою голову, а теперь ткнул в него Гошка иголкой, и разлетелся этот радужный пузырь, и увидел я совершенно ясно место мое в этом мире; а имя тому пузырю было «гордыня». Нет, не я один надувал тот пузырь, что правда, то правда: и экспедицию со мной собрали, и сапоги мне шили, и от самого Стамбула меня волокли, и камеры были, и выступления были, и то было, и се было, а только чем отличался я от любой лошади служивой при царском дворе? Вдруг понял я — понял благодаря Гошке да дальней родственнице его, — что ничем, ничем от них не отличался: небось, и поселят-то меня в ту же царскую конюшню, и клеймо поставят на жопу — не нынешнего царя клеймо, так наследницы его, и... и... И все. Все. И буду я, как наложница в гареме, томиться и думать, не сегодня ли тот день, когда захочет Их Величество заглянуть меня по бочку похлопать, и не сподобится ли мне великое счастье в сем году на парад попасть... Вот и весь боевой слон, понял вдруг я; вот и все, все, вся судьба моя.

Сложились мои карты.

Ужас объял меня; ужас и стыд словно заполняли теперь все то место, которое раньше было занято гордыней моей. Я смотрел, как выходят из бани те, кого я смел называть про себя «моими людьми»: почему они шли со мной? Была ли тут причина в долге или в том, что у каждого из них имелось к царю дело

свое и ехали они на мне каждый по своей надобности, или такая же гордыня вела их и казалось им, что ради важной миссии тащатся они ночами в забитой слоновьими сапогами разваливающейся подводе по лесным буеракам, терпя зимний холод, весенние заморозки, летнюю жару? Важной миссии!.. Очередного обитателя в царские конюшни поставить! Нет-нет, не могло это быть так — ладно бы одного меня ждала подобная судьба, но весь путь, ими проделанный, все силы душевные, ими вложенные, неужели ничего не стоили? С этим смириться я не мог, не мог никак. Не в моей будущности тут дело было — я посмотрел на серьезного Кузьму, на Зорина, который держался от Кузьмы как можно дальше, словно боялся чумою заразиться, на Сашеньку, дышащего легким прохладным воздухом и бьющего себя в грудь с наслаждением, на, видимо, поддавшего веселого Мозельского, на улыбающегося, светлого Квадратова, на Аслана, даже после бани ежащегося в сильно поблекшем своем красном пальтеце, на моего — да, моего — Толгата, который, отделившись от всех, бежал уже ко мне, видя мое положение, — и я понял, что пусть моя гордыня позорная вдребезги разлетелась, а только с гордостью ее путать не надо. Душа моя переполнилась; я закрыл глаза; и пока Толгат гладил меня и толкал, тянул и уговаривал подняться, я не к тому обращался, к кому поначалу все мои помыслы были направлены и ради кого столько времени сердце мое билось, потому что сейчас все равно мне было, есть ли он на свете, а к тому единственному, про кого в этот момент знал я: Он есть, и ежели что лопнет у кого в голове — то будет Его воля. «Извините, что я Вас беспокою, — сказал я, — и понимаю я, что полагать, будто Вам до метаний моих и забот наших дело есть, — это тоже гордыня, а только мы с отцом Сергием Квадратовым, которого Вы наверняка знаете, много про Вас говорим, и он объяснял мне, будто Вы всех слышите и Вам

не все равно. Послушайте тогда, пожалуйста, и меня. Я слон, меня зовут Бобо, больше же я про себя уже ничего не понимаю, кто я и зачем нужен, но это значения не имеет. Что имеет значение — так это вот эти люди, я не буду Вам их представлять, потому что мне пора открыть глаза, иначе Толгат сойдет с ума, а Аслан меня чем-нибудь уколет. *(Тут я уже перешел на скороговорку, потому что услышал, что Аслан и правда щелкает замками мерзкого своего саквояжика.)* Квадратов говорит, что Вы и так всех видите и про всех все знаете. Так вот, бога ради, — то есть это звучит глупо, но бога ради, — сделайте, пожалуйста, так, чтобы все это было не напрасно для них, чтобы они всё это не напрасно. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Из вежливости я немного подержал еще глаза закрытыми, а потом открыл наконец, но тут же закрыл снова, потому что вспомнил важную вещь. «Извините, — сказал я, — что не сообразил сразу: сегодня же воскресенье, поздравляю Вас с еженедельным праздником Вашего оживления, мне кажется, это замечательно, что Вы ожили всем нам на радость, спасибо Вам большое за все хорошее, что Вы для нас делаете». И уже после этого я окончательно открыл глаза и успел отпихнуть ногой Асланову руку со шприцем, и поднялся, и понял, что могу смотреть на свет божий.

До Дома культуры было недалеко совсем, но шли мы так медленно, что едва за полчаса добрались: ехавший на мне Толгат все придерживал меня, явно боясь, что мне под ним станет плохо. Я не хотел волновать его и смотрел себе спокойно по сторонам: во всех окнах были лица, дети махали мне, матери резко опустили их руки; никого на улицах не было. Жаль мне было детей, а больше ничего не жаль: ко всему я был готов. Вдруг Кузьма забежал вперед лошадок и остановился; остановились и мы все, загородив собою напроць какой-то маленький переулок. Кузьма глянул себе за плечо и крикнул:

— Кто там в конце — чужих нет?

— Нет! — отозвался удивленно Аслан.

— Ну и слава богу, — сказал Кузьма, — друзья, давайте все тут впереди соберемся, поговорить бы. Не хочу это делать в чужих стенах.

Подтянулись все, кроме Зорина: тот демонстративно стоял, прислонившись к моему боку, скрестив руки на груди и глядя на небо; мне очень хотелось сделать шаг в сторону, но я удержался.

— Послушайте, — сказал Кузьма, — я же понимаю, что все одно и то же слышали и об одном и том же думают.

Аслан нелепо захлопал глазами, доставив мне острое удовольствие. Квадратов взял его под локоток, аккуратно отвел в сторону и зашептал ему на ухо.

— Я просто хочу напомнить важную вещь, — негромко сказал Кузьма. — Миссия наша, может быть, небольшая и не самая важная на свете, но только по отношению к кому она исполняется, я прекрасно помню. Лично я, например, состою не на частной службе, а на дипломатической службе России, а Россия, кажется, пребывает на своем положенном месте. Так что лично я, опять же, продолжаю исполнять свои обязанности, заключающиеся в данный момент, насколько я понимаю, в том, чтобы хорошо отобедать под сенью муз, поблагодарить принимающую сторону и незамедлительно выступить в направлении Ульяновска, сопровождая вверенного мне слона, принадлежащего, если я правильно понимаю перечтенные мною бумаги, российской короне, а также двадцать три гребаных слоновьих сапога, которые не дай бог выбросить, потому что найдет же кто... Не в землю же их закапывать!

Сашенька хмыкнул. Квадратов прижал кулак ко рту, а потом сказал:

— Есть у меня идея одна по поводу сапог. Если позволите, я озвучу...

Ждавший нас на крыльце Дома культуры Евгений Дмитриевич грузно скатился по ступенькам, и Кузьма виновато упал ему в объятия.

— Простите, дорогой, слоник наш устал с дороги, дали ему полежать, отдохнуть, а потом шли медленно, старались не нагружать, — сказал он.

— Все знаю, все понимаю, — откликнулся Евгений Дмитриевич, — и не волновался, и с горячим не торопил наших девушек: мои людешечки за вами присматривали, а то не дай бог что...

— То-то я чувствовал на себе чей-то любящий, нежный взгляд, — сказал Кузьма с благодарностью.

Евгений Дмитриевич поглядел на него настороженно, но лицо Кузьмы не выражало ничего, кроме благодарности, и Евгений Дмитриевич расслабился.

— Ну как в баньке полежали? — спросил он с улыбкою.

— Как возле мамкиной сиськи! — нежно сказал Кузьма, и Евгений Дмитриевич на секунду остолбенел, однако быстро пришел в себя.

— Быстренькое дело у меня к вам, — сказал Кузьма, доверительно наклоняясь к чиновнику, — быстренькое, но хорошее, — и указал на стоящего рядом с ним очень важного Квадратова, глядевшего прямо перед собой. — Не буду говорить лишнего об отце Сергии, вы и сами понимаете...

— Наслышан, — весомо сказал Евгений Дмитриевич, отвесил Квадратову полупоклон и перекрестился. Квадратов важно благословил его, продолжая глядеть перед собою каменным взглядом.

— Удивительная вещь произошла с нами, знаете ли, в бане, — сказал Кузьма. — Устал наш отец Сергей от трудов духовных, выпил чайку, почитал Псалтирь, помолился да и задремал. И был ему сон про вверенное вам, Евгений Дмитриевич, замечательное селение.

Евгений Дмитриевич тут же сильно оживился.

— Церковь у нас стара стала, — бодро сказал он. — Подновление мы мигом обсчитаем; часовенку можем построить, это тоже мигом; монастырь если возводить — это дело покрепче будет, тут надо поговорить хорошенько, но мы с вами люди понимающие... — И Евгений Дмитриевич интенсивно замигал сразу двумя глазами.

Кузьма вздохнул. Квадратов закусил губу, и Евгений Дмитриевич, расценивший этот жест как неодобрение своей резвости, немножко сник.

— Нет, — сказал Кузьма, — видение ему было малое, но бесценное, разумеется.

— Что ж по смете меньше часовенки? — изумился Евгений Дмитриевич. — Что ли просто крест памятный поставим?

Кузьма прикрыл глаза, передохнул и терпеливо продолжил:

— Привиделось ему, будто склоняется над ним праотец наш Авраам и молвит: «Слушай меня, Сергию. Есть в этом городе двадцать три праведника, и Евгений Дмитриевич — первый среди них. Дай же им свое благословение да награди их по делам их».

— Прямо я первый? — с недоверием спросил Евгений Дмитриевич и, спохватившись, добавил: — Честь, честь, великая честь, — после чего посмотрел на небо и перекрестился.

Квадратов важно и медленно кивнул.

— Мы, понимаете, все потрясены, — сказал Кузьма, — потрясены и взволнованны.

— А суммы не назвал наш праотец Авраам? — заинтересовался Евгений Дмитриевич осторожно.

— И-и-и-и-и, милый, он и курса-то нынешнего не знает, откуда ему, праведному, — махнул рукой Кузьма.

— Значит, промеж собою договоримся? — выдохнул Евгений Дмитриевич с некоторым облегчением.

— Вы не поверите, — сказал Кузьма, — но не о деньгах речь.



Евгений Дмитриевич в большой тревоге замолчал.

— Есть у нас, — сказал Кузьма, — дар бесценный, царский: двадцать три слоновьих сапога. От себя отрываем по велению святого праотца нашего, слоника царского сирым-босым оставляем, а что делать? На то воля Божия. Только об одном отец Сергей просит: соберите нам, пока мы обедаем, людей, двадцать три человекца, и отец Сергей каждому по освященному сапожку вручит. Хорошие сапожки, что в них ни поставь, что ни положи — все сразу богоугодное становится. Ну и вы, Евгений Дмитриевич, разумеется, первый в списке.

Евгений Дмитриевич смотрел на Кузьму рыбьим взглядом. Квадратов смотрел мимо, время от времени обращая взгляд к небу, и что-то тихо шептал. Наконец в глазах Евгения Дмитриевича появилось некоторое понимание.

— Вот уж счастье на нас снизошло так снизошло, — сказал он с большим уважением, — а на меня так в первую очередь. Благодарю вас, отец Сергей, век не забуду, — и, поклонившись в пояс Квадратову, вновь перекрестился. — Только такой момент высокодуховный увековечить, мне кажется, надо. Камеры нужны, газетчиков позовем, на всю Россиюшку наше, как вы выразиться изволили, селение прославим...

— Но-но-но-но, — сказал Кузьма. — Отец Сергей у нас человек скромный, Божий, можно сказать, человек: он может такое и грехом гордыни счесть.

— Могу, — внезапно с большой поспешностью сказал Квадратов.

— Понимаю, — тут же ответил Евгений Дмитриевич и в подтверждение своих слов зачем-то встал по стойке смирно и щелкнул каблуками остроносых лаковых туфель. — Все понимаю. А только чтобы в тишине такое великое благословение удержать, надо, конечно, ресурсы приложить...

— Приложим, — заверил его Кузьма, — непременно приложим! Но это мы с вами, Евгений Дмитриевич,

потом особо после обеда обсудим, негоже такими вещами святого отца утруждать.

— И негоже, и не вовремя! — тут же откликнулся расплывшийся в улыбке Евгений Дмитриевич и, коснувшись плеча Кузьмы, широким жестом указал на дверь Дома культуры. — Ну, просим, просим, по-есть теперь самое время. — И добавил, наклонившись к Кузьме поближе и понижая голос: — Только вот что, насчет стерлядок, Кузьма Владимирович... Я уж думал-думал...

— Неужели не подадут? — в ужасе отшатнулся Кузьма, прижимая руку к сердцу.

— И что вы! — замахал руками Евгений Дмитриевич. — Подадут, обязательно подадут! Но только это... От греха подальше... Маленьких.

И Кузьма, разделяя опасения государственного человека, крепко, с пониманием пожал ему руку, и тут вдруг что-то забибикало так громко, что я едва не подскочил, и все обернулись на Зорина, а Зорин стоял, криво улыбаясь, и смотрел на Кузьму, как Господь на дьявола, наверное, смотрит.

— Ну? — сказал Кузьма, и Зорин повернул к нам экран пейджера, и только одно слово было там:

«Жду».

Я стоял под осиною и ел грибы. Привалом разожгли мы костер; дожаривалось на вертеле размороженное дорогою мясо, кипел котелок, тщательно надзираемый Мозельским; Кузьма со своей кожаной тетрадью сидел на каком-то валуне, подложив под себя одно из наших грязных одеял, и ничего в тетради не писал. Остальные же наши вели у костра необязательный разговор про русскую еду, и я слушал их без особой охоты: живот мой урчал, потому что по слякоти шли мы медленней, чем хотелось бы, подвода скрипела и вязла, и рациона моего, рассчитанного вроде бы с лихвой до Ульяновска, оказалось маловато; распоряжением Кузьмы честно поделили мы людские припасы, годные мне в пищу, пополам между мною и ими, и продержаться оставалось всего-навсего до утра, а только заснуть от голода мне было тяжело. Листья и ветки стали жесткими, и я жевал, что мог, насчет грибов же меня Аслан очень строго предупредил, и я теперь рвал хоботом только такие, какие Мозельский с Квадратовым себе в варево набрали. Услышал я лишь, что никто, кроме Квадратова, в жизни своей не пробовал пирогов с визигою, и тут же Квадратов, детство проведенный далеко на севере, эти пироги так хорошо описал, что все на некоторое время замолчали. Затем Сашенька поднял вопрос о пирогах с ревенем; хором все выступили против пирогов с ревенем, и тут уж

я, дожевывая грибы, не выдержал и вмешался, потому что пирога с ревенем я, конечно, не пробовал, но вот ревеневым лукумом меня султанията кармливали не раз, и то был очень хороший лукум. Почему-то присоединение мое к беседе очень всех развеселило, я этим весельем смутился и собрался уже снова пойти поискать грибов, когда вдруг Зорин воскликнул: «Смотрите-ка!» — и пальцем показал на Кузьму. Мы обернулись: прямо у Кузьмы на рюкзаке сидела тощая овсянка и смотрела на меня испуганными блестящими глазами. Сразу понял я, что чего-то ей от нас надо, раз она смелости набралась к нам сунуться, но только весь опыт мой подсказывал мне, что чем с птицами разговаривать, лучше мыла наестся, и объясниться с этой овсянкой я не спешил. И действительно, собравшись, видимо, окончательно с духом, овсянка склонила голову набок и спросила меня тоненько:

— Так а что, царские люди — это вы?

Мне хотелось спросить ее, что нас выдало: неужто я чем-то отличаюсь от типичных слонов, водящихся в этих краях? — но сил моих не было на пререкания, и пришлось коротко ответить:

— Мы.

Овсянка замерла на секунду, глядя прямо перед собою, а потом спросила:

— Так а что, вы вроде как и знаете все?

— Абсолютно все, — сказал я со вздохом.

Тогда овсянка тоже вздохнула и спросила, понизив голосок:

— Так а что, ебнет он или нет?

Я растерялся: я не понял, о ком и о чем речь.

— Кто ебнет кого? — спросил я, раздражаясь все более.

— А хуй с тобой, — вдруг сказала овсянка с досадою. — Ничего вы, царские люди, не знаете, такие же вы мешки с говном, как и мы. Чего ты ко мне пристал? Зачем я разговариваю с тобой? Это, может,

последний мой часочек, а я на тебя его трачу, громадина ты тупая.

Я совершенно опешил и только хлопал ртом, ища, что сказать, когда вторая овсянка, ничем не отличимая от первой, села с моей собеседницей рядом, и они запрыгали по рюкзаку Кузьмы, и я тут же в них запутался.

— На хуй поебать, — сказала какая-то из овсянок, глядя на меня в упор. — Никто не знает, ебнет или не ебнет, некоторые только выебываются, типа они знают, а на самом деле про ебанутого никто не знает, ебнет он или не ебнет. Сами себе жопу заговаривают, трусы ебанные.

— Не скажите, Вера Николаевна, — откликнулась другая овсянка, не сводя с меня взгляда. — Это если бы от него одного зависело, то он бы уже, может быть, и это самое, а то ж вот от тех, кто рядышком стоит, тоже зависит много чего. Что они там себе думают, очень я хотел бы знать. Как они, хотел бы я знать, себя поведут в случае чего?

— Как тряпки ебанные они себя поведут, — отвечала презрительно Вера Николаевна. — Поебать на хуй, Тюшенька, съебываем отсюда, жить надо, пока жизнь, сука ебаная, есть! Полетели, Тюшенька, — поедим, водички попьем, поебемся, мож, с кем!

— С кем же мне велите, Вера Николаевна? — грустно сказала другая овсянка. — Все подавленные ходят. К кому не подвалишь — разговоры-то одни и те же: сегодня али не сегодня, да али нет, да по кому, да полетит ли оно вообще или все там насмерть гнилое и напрочь разворованное... Разве тут до амурных дел!

— Бедный Тюшенька, да пошли хоть я тебе дам! — разжалобилась Вера Николаевна, и обе овсянки, сорвавшись с места и заливаясь песенкой, которую я не мог уже разобрать, взмыли в воздух. Вдруг кто-то из них — судя по всему, Вера Николаевна — спикировал вниз и прокричал мне:

— Вы куда претесь-то?

Я не хотел отвечать, но в задумчивом изумлении сам не заметил, как промямлил:

— В Ульяновск...

Тут вдруг обе овсянки замолчали, а потом я услышал:

— Так и надо вам, сукам ебаным!.. — И обе овсянки исчезли.

Я потряс головой, чтобы у меня из ушей высыпалось немного букв «ё», и они упали, мелко позванивая, в траву. Сашенька поднял одну из них, покрутил в пальцах и спросил осторожно:

— Это что было?

— Свиньи какие-то, — сказал я, пытаюсь прийти в себя. — Чушь несут. Сначала спрашивают, ебнет или не ебнет, а кто ебнет? Что ебнет?.. А потом еще говорят: «Так вам и надо!» Не про «ебнет» говорят «Так вам и надо!», про Ульяновск, — уточнил я.

— И что полагают, ебнет или не ебнет? — с большим интересом спросил Сашенька, задрал голову и вглядываясь в чистые линии ветвей.

— Полагают, что я могу об этом что-то знать, — растерянно сказал я.

— Хм, — сказал Сашенька и, отдавая букву «ё» подошедшему Толгату, который тут же и спрятал ее в свою котомочку, поинтересовался: — А про Ульяновск чего это нам «так и надо»?

— Не объяснили, — сказал я, чувствуя себя в целом тупой громадиной.

— Хм, — опять сказал Сашенька и, заметив высоко-высоко на сосне дятла, принялся внимательно его изучать.

Кузьма вышел из-за кустов, засовывая в рот зубную щетку, и постучал себя по часам. Я понимал, что сейчас двинемся мы снова вперед, и понимал, что ждет меня, голодного, достойный фураж в Ульяновске, а только чем-то эти мерзавцы смогли напугать

меня: вдруг очень захотелось мне никогда, ни за что не ходить в Ульяновск...

«Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим», — написано было на растяжке над рамками металлоискателей, через которые, поглядывая на пасмурное, неверное небо, медленно втягивалась в пространство площади огромная терпеливая толпа. Стояли между рамками большущие перегородки с изогнутыми зигзагом орденскими ленточками и надписями «День Единения Земель Русских»; пахло металлом, будущим дождем и простой едой: на площади уже шла торговля чем-то горячим, и бродили среди толпы ряженные коробейники с леденцовыми петушками. Кузьма посмотрел на часы и огляделся: никто не встречал нас, хотя в указанном месте разложены были широченной полосой три красные ковровые дорожки бок о бок, — видимо, чтобы и я мог по ним достойно пройти. Вдруг забил барабан, и откуда-то из-за угла площади вышло и пошло на нас небольшое и очень юное войско, все в одинаковой бежевой униформе с черными поясами и красными беретами. Лицо у барабанщика, от силы пятнадцатилетнего, было такое, словно он собрался прямо сейчас за родину погибать, да и знаменосцы, немногим старше, сурово смотрели перед собою и словно бы не замечали нас. Но они шли к нам, именно к нам, предводимые красавицею лет двадцати пяти в больших очках, в такой же униформе и с нарядными школьными бантами в очень пышных коротких косах. Их маленький отряд был построен от велика к малу — в хвосте его старательно вышагивали два мелких пацаненка, едва успевая чеканить за старшими строевой шаг, и девчущка, едва достигшая, как мне показалось, школьного возраста.

— Как начну-у-ут играть, как пойде-е-ем плясать, — устало пробормотал Кузьма и со вздохом одернул пиджак, собираясь, видимо, приветствовать этот

решительный отряд, но приветствие не состоялось: добравшись до нас и замерев по команде своей взрослой предводительницы («Отря-а-а-а-ад, стой раздва!..»), дети эти каким-то сложным образом перестроились и распределились вдоль красной дорожки, по-прежнему замершими взглядами таращась строго перед собою. Барабанщик отбил что-то очень решительное и смолк. Командирша, оказавшаяся у самого края дорожки слева и ближе всех ко мне, резко отдала честь непонятно кому и замерла навывтяжку. Видимо, и мы от неожиданности застыли как истуканы, потому что некоторое время никто слова не произносил, и я слышал только, как играют на площади «Несокрушимая и легендарная...». Время шло. Отряд никаких признаков жизни не подавал. Наконец Кузьма, в очередной раз посмотрев на часы, обратился к красавице-командирше:

— Вы меня простите, пожалуйста, это все очень красиво, но есть ли кто-то, кто нас нормально встретит?

Красавица судорожно сглотнула и, не меняя выражения сурово напряженного лица, промолчала.

— Понял, — сказал Кузьма. — Больше не беспокою.

И тут Зорин громко затопал ногами, не двигаясь с места, а потом сделал три шага вперед и оказался с командиршей лицом к лицу. В ужасе она вытаращила на него большие зеленые глаза за стеклами очков, а Зорин резко поднес согнутую руку к виску. Опомившись, красавица вытянулась еще сильнее и ответила ему тем же.

— Отряд, р-р-р-равняйся! — рявкнул Зорин. — Смир-р-р-рно!

Дважды дернулись дети, как будто их за одну веревочку тянули.

— Вольно, — сказал Зорин с такой, однако, интонацией, что на слона ни один из поменявших позу детей так и не решился даже глаза скосить. — Доложите обстановку, — сурово сказал Зорин.



Красавица от растерянности приложила руку в белой перчаточке ко рту, тут же ойкнула и снова встала как положено.

— Давайте-давайте, — сказал Зорин и вдруг улыбнулся. — Я командир охраны царской экспедиции Зорин, мне можно.

Красавица вдруг сделала уставный поворот налево и, помахивая руками и резко отмечая углы, зашла за меня. Кузьма и Зорин направились за нею. Красавица резко выдохнула, поправила ремень и села на край нашей подводы, вытянув длинные ноги в бежевых берцах и белых гольфиках. Аслан, выбиравший из своего пальто репейники, подскочил и поклонился, Сашенька вежливо подвинулся, и красавица закинула ногу на ногу.

— Простите, — сказала она, пожимая руки Кузьме и Зорину по очереди, — колени уже не держат, с пяти утра репетируем, блин. Я Разумовская Мария Евгеньевна, но вы меня Машей называйте, пожалуйста. Только не сливайте меня, ради бога, мне глотку перегрызут. Но не могу же я стоять, как дура, навтыжку, пока они не появятся. Посижу тут с вами. Сигареты ни у кого нет? Такое дело, что в карман не спрячешь.

— Увы, кажется, никто не курит, — сказал Кузьма, озираясь. (Квадратов потупился и смолчал.) — Слушайте, а что происходит? Нам тут тоже, как дуракам, стоять не нравится.

— Да дни такие, сами понимаете, — сказала Маша. — Вас должно важное лицо встречать, а он с самолета опаздывает, а больше никому нельзя, не велено. Вся делегация позади сцены стоит, прчется.

Кузьма вздохнул.

— Хороши юнармейцы, — довольно сказал Зорин. — Большой корпус у вас в городе?

— Да никакого, — усмехнулась Маша, — эти ряженые. Взяли хороших деток из первой школы, выдрессировали. Я сама из минобраза, меня понятно за

что к ним приставили. В эстетических, так сказать, целях. Вы простите, что я так прямо, но не врать же мне главе охраны царской экспедиции.

И Маша, глядя на Зорина по-над очками, мягко усмехнулась. Зорин сник, и Маша заботливо погладила его по плечу.

— Да вы не расстраивайтесь, — сказала она. — Встретят вас, все нормально будет. Только не сливайте меня, что я с вами нормально поговорила, а то мне кранты.

— Ну что вы, Маша, — сказал Кузьма. — Мы скажем, что вы перед нами навтыяжку стояли и молчали, как партизанка. Мы б вас тоже не пытали, только сил нет и очень жрать хочется. Может, мы поедем пойдем, а вы им доложите, что мы в гневе удалились?

— Могу, — сказала Маша и осклабилась. — Вот я на их рожи посмотрю. Вы только не сли...

Тут Маша исчезла, и я увидел, что она стоит на левом фланге маленькой шеренги фальшивых юнармейцев, вытянувшись в струнку и выпучив глаза, словно и не отлучалась никуда.

— Ох, простите уж простите, уж простите так простите, — раздался голос у нас за спиною. — Уж простите так простите, сто раз простите! Не выпускали, не выпускали из самолета, скорую ждали для какого-то малахольного, а я не люблю перед простым народом печаткою махать — разговоры пойдут. А мы с вами люди государственные, и мы друг с другом всегда объяснимся, да же? Да? — И выкатился пред наши лица круглый человечек и начал пожимать руки всем подряд, обходя, впрочем, Сашеньку с Мозельским, переглядывавшихся уже с его крупными в широких костюмах охранниками.

Человечка этого звали Тимуром Юрьевичем, и он был лыс, улыбчив и, при своем крошечном росте, удивительно широкоплеч. Едва заметный след от удаленной наколки на правой его кисти мелькал передо мною,

пока, быстро маша руками, Тимур Юрьевич подзывал к себе кого-то с площади.

— Тимур Юрьевич, — строго сказал Кузьма, — обид нет, но очень хотелось бы быстро закончить дела. Мы очень устали, и Бобо тоже пора поесть и отдохнуть.

— И виноват, и виноват, и сто раз виноват, — повторял Тимур Юрьевич, хватая Кузьму мягкой ладошкой за плечо, пожимая руку Зорину, кивая Аслану и тут же низко кланяясь Квадратову. — И быстро закончим, и быстренько вас размещать пойдем, и отдых, и сауна, и что захотите... И слонику все приготовлено... И люди мои подошли, подошли...

И он стал по одному называть имена мужчины и двух женщин, появившихся рядом с ним. Но я уже не слушал его — я смотрел на парадную красавицу Машу, так и стоящую по стойке смирно у края красной дорожки, и тоска медленно, но упорно заполняла меня. Тут заметил я, что один из мальчиков осторожно переминается с ноги на ногу, и понял, что ему очень надо в туалет. Мы обменялись взглядами: в глазах его была паника. Тогда я затрубил, затрубил изо всех сил совершенно бессовестно, и все замерли, и быстро сориентировавшийся Кузьма сказал:

— Это он от голода беспокоится, ай-яй-яй. Аслан Реджепович, а ну-ка посмотрите нашего слоника внимательно, как бы в муст не впал...

Аслан, не будь дурак, немедленно сбегал за стетоскопом и приложил его к боку моему, каковое унижение я выдержал совершенно терпеливо.

— Пульс часто, — важно сказал Аслан, — давление, полагаю, очень высоко. Ай-яй-яй.

Тут дошло происходящее и до Тимура Юрьевича, и он разом прекратил все свои улыбчивые разговоры.

— Все, все, все — раньше сядем, раньше выйдем! — скомандовал он, и по красной дорожке, под

собравшимися вокруг нас камерами пошли мы ко входу на площадь, и Маша успела быстро показать мне язык.

Меня поставили перед сценою, отгородили четырьмя охранниками от гуляющих, быстро собравшихся вокруг нас, и объявили в микрофон, что сейчас Кузьма поприветствует наш город. Вышел Кузьма и что-то сказал коротко, и сменил его Зорин, который выкрикнул неловко: «Здорово, Ульяновск!» — и принялся читать поэму «Глазами пулемета», а я стоял, и тоска моя становилась все тяжелее: мне казалось, что все-му этому конца не будет. Даже не голод томил меня, хотя в животе бурчало и пару раз охранники Тимура Юрьевича на меня оглядывались; томило меня чувство, что устал не только я: что страшно устали все, все, от Маши до Тимура Юрьевича, от охранников до гостей, бестолково бродящих по площади с хмурыми лицами, от камер до водителя «скорой помощи», дежурившей тут же за оградой, и что никто на этом празднике ничего не празднует, и что даже Зорину хлопают с большим трудом. Дальше загремело «Снаряд взорвется, и враг споткнется...», и понеслись по сцене юноши и девушки в серебряном и красном, причем часть из них, как я понял, изображала дальнобойные снаряды, дикими прыжками летящие в сторону воображаемой Украины, расположенной неподалеку от концертного рояля. До рояля тоже дошла очередь: сел за него кто-то в военной форме, но тут вскочил с первого ряда Тимур Юрьевич, подбежал к нам и спросил охранников, все ли у них в порядке. Охранники кивнули, и Тимур Юрьевич погрозил им пальцем.

— Если что будет, — сказал он тихо, — приказа не ждать: сразу на сцену и валить их, пидаров таких, провокаторов чертовых. И не смотреть, народная она артистка или хуй собачий.

После чего он расплылся в улыбке и так же поспешно попытался вернуться на свое почетное место, но

вдруг оклик в спину по имени и отчеству остановил его. Сквозь толпу камер пробирался вперед высокий сухой, растрепанный человек в короткой куртке поверх мягого пиджака, и Тимур Юрьевич переменялся так, что я в одну секунду не узнал его: челюсть его выдвинулась, широченные плечи округлились, глаза выкатились, и стал Тимур Юрьевич страшно похож на разъяренного бульдога. Охранники сомкнулись, отделяя его от растрепанного человека, но тот возвышался над охранниками, глядя на Тимура Юрьевича темными глазами в глубоких складках немолодых век.

— Тимур Юрьевич, — сказал он тихо, — я вас умоляю, прислушайтесь.

— Андрей Александрович, — сказал Тимур Юрьевич низким голосом, которого я от него не ожидал, и метнул взгляд на Сашеньку, безмятежно глядевшего перед собою, — позже поговорим.

— Нельзя же позже! — сказал растрепанный, и я вдруг понял, что он очень испуган. — Вы звонки мои сбрасываете, а надо немедленно, немедленно... Остановите это все прямо сейчас. Велите им расходиться.

— Послушайте, Гороновский, я на один звонок ваш ответил и все вам сказал, — тихо прогудел Тимур Юрьевич, от раздражения притопывая ногою. — Хватит, закончили.

— Анализы его пришли, — так же тихо сказал растрепанный и уставился на важного человека. — И еще знаете: «скорая» после него по всему городу моталась...

Тут мне показалось, что с Тимуром Юрьевичем снова произошла невероятная перемена: стал он как каменный, и лицо его сделалось белым и мраморным на одну секунду — но только на одну секунду. В следующий миг он снова стал jovиален и бодр и отправился сидеть в первом ряду, как сидел, и расплылся в улыбке и зааплодировал отплясавшей труппе. Высокий растрепанный человек оглядел площадь, а потом посмотрел на охранников и сказал:

— Я все. Запомните — я тут был, и я все сказал. Запомните хорошо, — и исчез в толпе, и охранники переглянулись между собой, но не тронулись с места, и тут концерт закончился, и появилась красавица Маша, уже без алой своей беретки и на каблуках, и выяснилось, что мне предписано участвовать в запуске гигантских воздушных шаров и хоботом разорвать символическую ленточку, держащую эти шары на земле.

Я покорно пошел за Машей, которая двигалась в расступающейся передо мной толпе очень деловито, но при этом никуда, кажется, особо не торопилась. Сашенька сопровождал меня (Мозельский куда-то исчез), и мы все вместе посмотрели, как Аслан с бешеной скоростью собирает и разбирает автомат Калашникова на «площадке Юнармии», приговаривая:

— Военная кафедра! Военная кафедра!.. А мы вот так, товарищ военрук! И вот так, товарищ военрук!..

Я огляделся в поисках Зорина, уверенный, что он не упустит такой шанс покрасоваться перед камерами с автоматом в руках, но Зорина не было видно, зато появился Мозельский, утер испарину со лба и сообщил, что шары сами себя не запустят.

— Ты в порядке ли, дорогой? — спросил Сашенька, внимательно глядя на Мозельского.

— Сойдет, — ответил Мозельский, ласково беря Машу под руку. — Позвольте препроводить.

Маша засмеялась, похлопала Мозельского по руке, и через минуту они вывели нас к площадке с шарами — бело-красно-синими, большими, старательно привязанными к металлическому крюку, торчащему из бетонного блока, ярко-красной атласной лентой. Я шел через толпу; Толгат медленно направлял меня так, чтобы под ноги мне не попала восторженная малышня, норовящая постучать по мне три раза, и я хорошо помню, как мне представились взрослые, за спиною у меня шепчущие свои заветные желания им в маленькие холодные ушки. От этой мысли

я всем телом передернулся, и Толгат, подскочив у меня на спине, озабоченно ткнул меня в заушины обеими пятками; я помотал головою, давая ему знать, что все со мной хорошо, и сказал себе, что голод все хуже на меня влияет; тело мое, видимо, очень устало от нерегулярного питания. Впрочем, по моим расчетам, история с шарами должна была занять минут двадцать от силы, и я понадеялся, что сразу после нее выберемся мы отсюда, но на площадке, украшенной надписью «Русской души исполненный полет...» и застеленной уже знакомыми мне красными ковровыми дорожками, я вынужден был торчать, ничего не делая, как минимум четверть часа: на этот раз куда-то запропастился Кузьма. Толгат спешился, к нам подошел мрачный Квадратов, и Толгат, взглядевшись в него, едва слышно спросил:

— Что, телефончик нашли?

— Нашел, хорошо искал, — ответил Квадратов шепотом.

— И как? — спросил Толгат.

— Худо, — сказал Квадратов. — С семьей-то все ничего, а в остальном худо. На допрос его забирали, бывшего духовника моего.

Толгат промолчал и только осторожно огляделся; но никто не слушал их, и Толгат занялся частым своим делом: вместе с Сашенькой осторожно оттащить в сторону детишек, намеренных вскарабкаться мне на спину по ногам.

Наконец явился Кузьма, бледный и поеживающийся, и я, помню, подумал с тревогой, что и на нем нерегулярное питание сказывается не лучшим образом. Мы выслушали речь немолодой женщины с крупной брошкой под подбородком о том, что к каждому шару привязано написанное третьеклассниками первой школы послание «к жителям наших новых регионов», и запустили наконец шары, причем мне пришлось дергать накрепко завязанную бантом ленту добрую минуту,

пока вокруг торжественно молчали присутствующие. Как только шары взмыли в небо, раздался многоголосый детский плач, и молодая мать, стоявшая от меня неподалеку, сказала строго девочке в шапке с кошачьими ушками:

— Перестань плакать сию же секунду. Шарик полетел к несчастным детям Донбасса, дети Донбасса без мамы, без папы, без ручек, без ножек. Ты хочешь без ножек или без шарика?

Когда мы выбрались наконец с площади и дождались снова куда-то пропавшего Мозельского (исчезавшего на этот раз вместе с Толгатом), давно уже перevalило за полдень.

— Вы-то сами в порядке? — тихо спросил Толгата Квадратов.

— Живот прихватило, — сказал тот. — Ничего особенного.

Момент этот я не мог забыть еще долго. Потому что в следующий раз я увидел улыбающегося Толгата...

Нет-нет; поймите, я не могу рассказывать об этих страшных днях так спокойно и последовательно, как хотелось бы мне. Я скажу просто: то была холера.

Я могу рассказать вам о том, как стоял у ограды больницы, взятой в кольцо охраны, Аслан и, тыча пальцем в грудь Тимура Юрьевича, кричал:

— Вы! Вы! Вы!.. — и задыхался и ничего больше не мог произнести.

Я могу рассказать вам о том, как ждали костюмов биозащиты для врачей, но они приехали только на третий день.

Я могу рассказать, как работал Аслан наравне с санитарями.

Я могу рассказать, как на третий день от усталости потерял сознание Гороновский.

Я могу рассказать, как заразился профессор Борухов и целыми днями надиктовывал наблюдения за своим состоянием в маленький старый диктофон.



Я могу рассказать, как нигде нельзя было найти Зорина, когда собрали всех, кто контактировал с Тимуром Юрьевичем, в изоляцию и как Зорин пришел к нам в тот день, когда с больницы сняли оцепление, — был в лесу, молился за наше здравие.

Я могу рассказать, как ходил с утра до ночи от пациента к пациенту Квадратов, с каждым подолгу разговаривая.

Я могу рассказать о том, как я стоял и выл под окном палаты, где лежал Кузьма.

Но вместо всего этого я расскажу вам вот что: когда выпустили нас из города Ульяновска, не было с нами больше раба Божия Мозельского Владимира Николаевича, год рождения тысяча девятьсот девяносто шестой, мать Мозельская (Шукшенко) Наталья Сергеевна, отец Мозельский Николай Сергеевич, место прописки Зеленоград, и так далее, и так далее. А Сашенька махал нам медленно из окна второго этажа больницы, слишком слабый еще, чтобы продолжать путь, и синеватое детское лицо его за стеклянными бликами казалось мне лишенным рта.

Я проснулся ночью оттого, что клеть на спине у меня подрагивала, и сразу понял, что он плачет. Он плакал тихо, совсем тихо, но я слышал его, и сердце мое обливалось кровью. Не зная, как его утешить, и пуще того не зная, простит ли он меня, если я дам понять, что слезы его заметил, я замер и попытался дышать ровно, как дышал во сне, но не выдержал и попытался хоботом дотянуться до прутьев клетки, чтобы погладить ее; я не дотянулся, но в ответ на движение мое плач тут же смолк, и я страшно пожалел о своей душевной неуклюжести. «Господи, надоумь меня, пожалуйста!» — взмолился я, потому что страдания его и моя беспомощность перед ними терзали мне душу. На мне построили деревянную клеть для него, слишком слабого после болезни, чтобы ехать в подводе (и уж тем более чтобы идти пешком), и Кузьма третий день спускался только ради отправления естественных надобностей; днем он, кажется, все время спал или быстро водил ручкой по страницам своей тетради, ночью плакал, и я замечал, что еда, которую передавал ему наверх Квадратов, возвращалась вниз нетронутой.

Хуже того, Зорин вчера взял на себя роль командира нашего, и я терпел это с трудом, как, похоже, и другие (особенно Гошка с Яблочком, любившие поспать и тут же прозвавшие генеральствующего Зорина «его припиздодительством»). Теперь второй день вставать

мы должны были ровно в семь утра, а ложиться нам было постановлено в одиннадцать, шагали мы по расписанию, ели по расписанию, и якобы доволен этим был один только Аслан, эта продажная тварь, тут же начавший к Зорину подлизываться: то интересоваться про маршрут, то делиться своими погодными наблюдениями, а то и просто на пустом месте восторженно поддакивать. Сам же Зорин, отказавшись в Ульяновске взять себе вместо Сашеньки и бедного нашего Мозельского «непроверенные кадры», теперь каждую нашу стоянку по километровому периметру обходил, держа руку на пистолете, и только в это недолгое время разговор между всеми шел свободно. Именно в такой момент, прямо перед ужином, через несколько часов после того, как отошли мы, запасшись водой, картошкой, хлебом и свиной, от Карловки, я увидел, что Квадратов, сидя у костерка, выщипывает ниточки из рукава своей прохудившейся куртки; так всегда он делал, когда был в большом волнении, и я понял, что в Карловке он опять нарушил предписания. Понял это, видимо, и Толгат; поглядывая на Аслана, он сказал громко:

— Отец Сергей, вы простите меня, а только у вас, кажется, брюки на заду порвались. Отойдем-ка: нитки с иголкой у меня, я быстро прямо на вас заштопаю.

Страшно сконфуженный Квадратов, не понимая уловки, вскочил, схватился сзади за штаны, а потом быстро одернул куртку.

— Идемте к подводе, — сказал Толгат. — Сейчас мы живо.

Они отошли, Толгат слазил в подводу за швейными своими принадлежностями и, вдевая нитку в иглоку, тихо спросил:

— Что там, отец Сергей? Я вижу, вы знаете что-то.

— Что, заметно по мне мое преступление? — уныло сказал Квадратов. — Виктор Аркадьевич догадается — голову мне откусит.

— Не волнуйтесь, — сказал Толгат и принялся делать вид, будто шьет что-то у Квадратова пониже спины. — Я со зверьми привык без слов замечать, а другие, скорее всего, мимо пропустят; Виктор же Аркадьевич, хоть и поэт...

— Да, понимаю, о чем вы, — улыбнулся Квадратов. — Ну и слава богу. Помните, я вам про духовника моего бывшего рассказывал? Плохи дела: терзают его, уголовным делом грозят.

— Господи боже, — сказал Толгат, нахмурившись. — А чего хотят-то от него?

— Чтобы он отчитался им, что ему в ответ на его проповеди на занятиях подростки отвечали, которые у него в воскресную школу ходили. На сутки уж в ОВД оставляли — старика! Семьдесят три года! Причем вы представьте себе — ребят уже и самих допрашивали, а они, кроме двух доносчиков, не колются и против него самого не свидетельствуют. Надолго ли их хватит, не понимаю, родители их, конечно, с ума сводят, школа давит... Ей-богу, плакать хочется. Господи, скорей бы дойти, пан или пропал...

Толгат промолчал.

— Не верите вы в мою затею, да? — спросил Квадратов, поворачиваясь к Толгату лицом.

— Не знаю, — медленно сказал Толгат, — кто ж тут поймет.

— Да что ж мне еще делать? — спросил Квадратов в отчаянии.

Толгат молчал. Вдруг притих и Квадратов и посмотрел на Толгата очень внимательно.

— Я не имею в виду вас конкретно, не дай бог, — мягко сказал Толгат. — Я просто все время думаю: есть надежда или нет? Если кто-то из его (это слово Толгат произнес с нажимом) окружения наконец решится... Или будет хуже? Я очень боюсь, знаете, когда слышу про шарф и табакерку, что пришедшее на смену ох как не понравится нам...

Квадратов смял лицо ладонью.

— Знаете, чего я больше всего боюсь? — сказал он. — Что мы дойдем, а нас ему и не представят даже и не будет у меня шанса за отца Павла слово замолвить. И что все это время я мог с отцом Павлом быть, рядом быть, а я телепался тут у слона под хвостом, как идиот наивный...

Толгат пожал плечами и сказал мягко:

— Вроде он нашего слона очень ждет, нет? Авось, и сложится...

— У меня уже навязчивые мысли об этом просто, — сказал Квадратов с тоской. — Все прокручиваю и прокручиваю эту встречу, прокручиваю и прокручиваю...

— Понимаю, — кивнул Толгат.

— А надо, может, туда, к отцу Павлу, — выдохнул Квадратов. — Если у вас есть для меня совет, Толгат Батырович...

— Какой тут совет, дорогой мой, — сказал Толгат и погладил Квадратова по прохудившемуся рукаву. — Разве я вправе.

— Молюсь я о наставлении, молюсь, да, видно, не хочет Господь с меня бремя снять, — сказал Квадратов. — Что ж, буду дальше идти да пуще прежнего молиться.

— Помогите вам Бог, — просто сказал Толгат и пошел назад к маленькому нашему костерку, а Квадратов остался стоять у подводы, видимо собираясь с силами.

Я подошел к нему и коснулся его хоботом. От неожиданности он дернулся, но тут же повернулся ко мне и спросил, явно продолжая думать о своем:

— Что, дорогой, устал?

— Отец Сергей, — спросил я, — что значит «про шарф и табакерку»?

Он тихо объяснил мне, оглянувшись пару раз, не возвращается ли Зорин. В смятении я замолчал: темная фигурка Толгата, сидящего по-турецки на фоне костра, казалась крошечной и очень хрупкой, и я силился

понять, как помещается в нем такая мысль, если во мне, огромном, она колом стоит и втиснуться не может.

— Но ведь он наместник Бога на земле? — сказал я в ужасе. — Толгат человек прекрасный, почти святой, наверное, как же в нем...

— Я не могу разделить, но могу понять, — медленно сказал Квадратов. — Когда столько горя, столько смерти, столько преступлений, много о чем думать начинаешь... Иногда я и сам... И сразу в ужас прихожу, а все ж мыслишка эта крутится... Хотя я умом-то считаю, что только суд нужен, что суд важен, что преступников судить надо судом сперва человеческим, и долго про это всем объяснять готов. А вот не умом, а каким-то другим местом, животным, которое требует немедленного спасения для всех и немедленно возмездия...

— Как же я ему служить буду? — в ужасе спросил я. — Как же я ему верен буду, как я защищать его буду, как я ему буду боевым слонем?

Квадратов заглянул мне в левый глаз и сказал мягко:

— Я думаю, дорогой Бобо, что вокруг этого человека светлых душ ни одной нет. И вдруг будет ваша: светлая, честная, прекрасная. Бог весть, что одна светлая душа со злым человеком сделать может.

Я открыл было рот много чего спросить, но тут затрещали ветки и подскочили уже мы оба: из-за кустов вышел на нас Зорин. Мы застыли, но он явно не слышал нас: он выглядел изможденным, и я вдруг пожалел его; мне непонятно было до этого, только изображает он строгого командира и бдительного охранника или правда считает, что верно все делает, но сейчас я понял, что Зорина изводит свалившаяся на него ответственность за экспедицию, и стало мне его жалко в его дисциплинированном одиночестве. Я быстро отошел в сторону, чтобы он не спросил Квадратова,

о чем мы тут с ним разговаривали, но Зорину оказалось не до того.

— Так-то ничего все, — сказал он устало, — да только ходит кто-то за ветками. Быстро ходит, не медведь. Один раз глаза блеснули, довольно низко. Дай бог, примерещилось мне, а все же тут могут быть и волки. Костер будем, значит, всю ночь держать. Моя смена первая, остальных сейчас назначу. Пойдемте, отец Сергей, попрошу и вас тоже подежурить: чем больше смена, тем дольше все поспать смогут.

И он повел Квадратова за собой к костру, и Квадратов, не оборачиваясь на меня, пошел за ним. На спине у меня Кузьма постучал по доскам своей клетки: видно, надо было ему отлучиться. Я осторожно встал на колени и дал спуститься Кузьме и увидел, что на ходу его пошатывает от слабости, и осторожно двинулся следом и дал ему опереться на меня, чтобы не упасть.

Строго по зоринскому расписанию оказались мы в Тольятти к двенадцати часам дня, и в этот раз при переправе по воде (паромом) я пересилил достойно и тошноту, и желание вопить от ужаса каждый раз, когда низко просевший паром делал поворот. На пароме осунувшийся Зорин собрал нас всех в узкий круг у самых поручней и тихо поделился планами на пребывание в Тольятти: и переночевать мы успеваем, и отоспаться сможем, и ждет нас почетный визит на завод имени Куйбышева.

— Вам, отец Сергей, особенно, я думаю, интересно будет, — сказал Зорин и потыкал зачем-то Квадратова пальцем. — Завод важное дело делает как раз по вашей части, к тому же инновационное. Ну, увидите, не буду сюрприз портить.

У сходней парома стояли и ждали нас всего два человека: высокая седая женщина с короткой стрижкой и немолодой мужчина в сером костюме под черным пальто, показавшийся мне каким-то немножко

скособоченным. Женщина первой пошла нам навстречу и протянула руку Зорину:

— Здравствуйте, Кузьма Владимирович, — сказала она спокойно, — ждали вас. Я Антонина Львовна Меньшикова, мы с вами еще тогда списывались.

— Я, простите, не Кузьма Владимирович, — сказал Зорин, пожимая руку Меньшиковой, — я Зорин, Виктор Аркадьевич, но можно просто Виктор, я замещаю сегодня Кузьму Владимировича, он переболел у нас и очень слаб пока, отлежаться ему нужно.

— Вы простите за путаницу, ради бога, — сказала Меньшикова, ничуть, впрочем, не смущаясь. — И за то, что я вас не узнала, простите, — я стихи не люблю. Рада познакомиться. Да, конечно, Кузьму Владимировича тогда сразу отправим в гостиницу, а с вами на завод. Это вот, познакомьтесь, Игорь Ростиславович Потоцкий, директор собственной персоной. Вы простите, что мы без свиты и красных дорожек, деловому, — я не люблю суеты.

— И слава богу, — сказал Зорин. — Суеты как раз никакой не надо, я и сам рад к делу приступить.

Тут вдруг Потоцкий сделал странное: шагнув в сторону Квадратова, тут же протянувшего ему навстречу руку, прижал ладони к груди и низко, размашисто поклонился, слегка забирая вправо, а потом, выпрямившись, молча на Квадратова уставился, ни слова не говоря. Квадратов растерянно приоткрыл рот, но Потоцкий уже сделал шаг назад и больше на него не смотрел.

— Что же, сориентируйте нас — и двинемся, — неловко сказал Зорин, обращаясь к Меньшиковой.

И мы, оставив Кузьму на попечение Аслана и какого-то молодого человека, маячившего у Меньшиковой за спиной, двинулись.

Над воротами завода закреплена была большая надпись белым по зеленому: «КАЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЯЕТ КЛИЕНТ». За воротами никто не встречал нас: видимо, Потоцкий распорядился, чтобы люди



не отвлекались от работы. Сам Потоцкий всю дорогу молчал, шагая рядом с Квадратовым, и единственное, что нам удалось от него услышать, — это вежливый отказ от зоринского предложения проехаться на подводе: путь оказался неблизким, шли мы до завода минут сорок — сорок пять. Пахло металлом и еще чем-то машинным, рабочим, тяжелым. Миновав с нами ворота, Потоцкий спросил:

— Что велите со слонем делать? В кое-какие цеха можно и с ним пройти, только Толгату Батыровичу иногда пригнуться придется.

— Слон снаружи постоит, — поджав губы, сказал Зорин. — А Толгат Батырович, наверное, за ним присмотреть захочет, правда, Толгат Батырович?

— Я бы завод поглядел, — сказал Толгат, незаметно похлопывая меня по затылку, — интересно очень, но вот как Бобо одного бросить...

Зорин метнул на него недовольный взгляд, но Толгат только безмятежно улыбнулся в ответ.

— Тогда пойдем по тем цехам, где слон нормально проходит, — сказал Потоцкий. — Про остальные на словах расскажу. Главное все равно увидите. Да и людям радость на слона посмотреть, тоже нелишнее. — И Потоцкий вдруг улыбнулся очень хорошей, очень яркой улыбкой, и я вдруг заметил, что глаза у него похожи разрезом на Толгатовы.

И мы пошли по цехам, и кое-где я протискивался с большим трудом, а Толгату, чтобы не задевать потолок головой, приходилось буквально лежать на мне, и от шума машин у меня несколько раз закладывало уши. Я не понимал большей части того, что говорилось, — я смотрел на Потоцкого и изумлялся тому, как он преобразился: он вдруг стал двигаться свободно и ловко, хромота его почти исчезла, и я сразу понял, что почти каждого человека, которого мы встречали в цехах, он знал лично и звал на «ты», но по имени-отчеству и говорил с каждым легко, и люди отвечали

ему тем же. В каждом цеху видел я грузовики, но то были не целые грузовики, а только зачатки грузовиков — корпуса без крыш и внутренностей, без моторов и колес, без сидений и рулей. Иногда Потоцкий словно бы забывал о нас и о Меньшиковой, обсуждая дела с людьми, работавшими в цехах и подходившими нам навстречу, — зачастую обсуждение это велось криком, чтобы слышать друг друга за шумом машин; я заподозрил, что так Потоцкий показывал, что ему не так уж и важны мы, навязанные царские гости, и что его детище, его завод, важнее ему во много крат, а может быть, хотел продемонстрировать, что работа на заводе идет полным ходом и даже мое присутствие ее не тормозит. Нам же Потоцкий творящееся в каждом цеху объяснял очень коротко, и я сумел понять только, что завод этот «В нормальное время» делает обычные машины особенными и это называется «тюнинг». Потоцкий так и говорил: «в нормальное время...» — а потом добавлял: «Теперь-то мы вынуждены...» — и прямо смотрел на Квадратова, явно не понимавшего, чем он провинился, и Зорин каждый раз от этих слов делался все мрачнее. Грузовики по мере нашего продвижения обрастали деталями — с крошечными окошками снаружи, уродливо-зеленые, они обретали колеса, моторы, рули, лестницы, ведущие в кузов, но внутри оставались пустыми, — и вдруг мы вышли из цехов на свежий воздух, и от уличной тишины я оглох, и оказалось, что мы идем в другой корпус, и Потоцкий сказал сухо:

— Собственно, вот корпус номер два, из-за него мои владельцы тендер и выиграли, — впрочем, вам это навряд ли отлично известно.

— Нет, совсем неизвестно, — так же сухо сказал Зорин. — Расскажите, пожалуйста, интересно очень.

Тут Потоцкий остановился, обернулся и уставился на Зорина:

— Я думал, вы знаете. Мы первые в городе по обивке и декору, у нас целый корпус под это оборудован.

— Рад, что так, — сказал Зорин.

Потоцкий, ничего не ответив, двинулся дальше и у самого входа в корпус сказал:

— Знаете что? Не пойдем внутрь: слон тут не пройдет, да и интересного внутри уже не так много. Давайте я прямо готовую продукцию вам покажу на выезде, вы и устали уже, небось, по цехам слоняться, — и усмехнулся на последнем слове.

— Давайте, конечно, — сказал Зорин, что-то пишущий в блокнотик. — Хотя нам все интересно.

— Рапорт пишете? — вдруг спросил Потоцкий, скривившись.

— Нет, — сказал Зорин сдержанно, — пара строчек на ум пришла. Все же в таких местах понимаешь поэтов двадцатых годов: индустриальная мощь — это нечеловеческое, конечно... Понимаешь, как они заводы воспевали... Это не только про новую жизнь было, это еще и про покорение стихий, про вот это чувство, что человек больше природы...

— Да какое у нас покорение стихий, — вдруг улыбнулся Потоцкий своей прекрасной улыбкой. — Я вам расскажу: я на медном заводе в Норильске практику проходил когда-то, я инженер-литейщик по образованию же. Я когда впервые увидел, как с небес — мне так тогда показалось — в литейном цеху струя расплавленного металла льется, я сам чуть стихи писать не начал. Вот это было... Это не передать. Это... Впрочем, простите. — Улыбка Потоцкого мгновенно погасла. — Я отвлекся. Пойдемте на ту сторону, посмотрите на результат нашего покорения стихий, чего там. — И Потоцкий похромал вперед, держась рукой за правое бедро.

— Как он обычно день на ногах выдерживает? — тихо спросил Меньшикову Зорин.

— А он не на ногах, — сказала Меньшикова так же тихо. — Он на специальном самокате ездит, построил себе штуку с сиденьем. При вас не хочет.

— Понял, — сказал Зорин и ускорил шаг: Потоцкий хромал быстро.

Они стояли бок о бок — несколько десятков грузовиков, и поверх зеленой краски сверху донизу бока у них были заклеены изображения икон — аляповатыми, яркими, крупными. Один грузовик как раз выруливал из открытых ворот цеха на стоянку, и Потоцкий замахал руками, чтобы водитель вывел машину перед нами. Распахнув двери кузова, Потоцкий дернул какие-то рычаги, и выдвинулась лестница.

— Что ж, заходите, инспектируйте, — сказал он. — Я за вами поднимусь. Давайте, отче, вы первый.

Квадратов осторожно взошел по гулкой зеленой лестнице и исчез в грузовике. Следом поднялись Зорин и Меньшикова, за ними проследовал и сам Потоцкий. Толгат потянул меня за ухо, я подошел поближе и заглянул в кузов. Все внутри было обклеено блестящими бежевыми обоями с золотым узором, пол устелен красным в узорах же ковром, по бокам на небольших возвышениях закреплены большие круглые подсвечники, а в самой глубине увидел я аналой с иконой, вроде того, что приносили нам в цирке, и на дальней стене еще иконы, поменьше. Квадратов, задрав голову, рассматривал росписи на потолке — там были святые в нимбах и крест посередине. Зорин крестился на иконы и низко кланялся. Меньшикова, быстро оглядевшись, спустилась по лестнице к нам и осторожно погладила мой бок. Рука у нее, несмотря на сырой октябрьский холод, была сухая и теплая.

Квадратов с Потоцким спустились последними.

— Что, — сухо спросил Потоцкий Квадратова, — все по протоколу? Устраивает?

— Да ведь я не знаю протокола, — жалобно сказал Квадратов.

— Ну так я вас заверю, — сказал Потоцкий, упирая руки в бока, — все по протоколу, каждый спек я лично

с линейкой проверял, и крепления ваши бесценные на крыше сами знаете для чего тоже имеются. Надеюсь, я военную тайну не выдал — их, знаете ли, невооруженным глазом, простите опять за каламбур, снаружи видно. Так можете и передать.

— Да кому передать? — чуть не всхлипнул Квадратов.

Тут Потоцкий несколько растерялся.

— Да ведь вы от них? — осторожно спросил он.

— От кого? — спросил Квадратов.

Потоцкий помолчал, а потом сказал:

— Так. Теперь мне стыдно — вы даже не представляете насколько. Простите меня. Я тут перед вами юродствую... Я думал, вы от них проверяющий.

— Я даже, скажу вам честно, не вполне член экспедиции, — тихо сказал Квадратов с некоторым раздражением. — Я милостью Кузьмы Владимировича с ними по своему делу иду.

Потоцкий поднес руку ко лбу и замер на секунду, а затем отвел Квадратова в сторону и сказал, понизив голос и оглядываясь на Зорина:

— Блядь. Я думал, вы от этих, из РПЦ. Вы простите меня еще раз. Я этот заказ не хотел, скандал устроил владельцам. Да только мне ясно было сказано: или берем, или мобилизуют всех моих и меня с ними заодно. На себя мне плевать, я застрелюсь, а убивать не пойду, а за людей моих...

— Бог с вами, — вполголоса сказал Квадратов. — Это же часовни, в конце концов, не оружие. Не так страшно, и...

— Все одно, — перебил Потоцкий, — у них на крышах крепления для пулеметов.

Квадратов замолчал.

— Пойдемте назад, — сказал Потоцкий. — Нехорошо, что мы здесь стоим.

И они пошли назад, к Зорину и Меньшиковой, и Меньшикова сказала Зорину:

— Слушайте, скажите, вы что хотите, чтобы мы вам устроили? Музей? Театр? Званный ужин? Все сделаем, я читала, вас в других городах пышно принимали. Я просто честно подумала, что вам бы отдохнуть, а для галочки оно мне не надо.

— И нам не надо, — с облегчением сказал Зорин. — Спасибо вам большое, устали мы очень от чествований. Нам бы один вечер полежать да отъесться. А завтра утром мы будем в строю.

— Рестораны вам в гостинице посоветуют, — сказала Меньшикова, — но и в самой «Ладе» можно поесть нормально. Вы простите, что не прямо в центре, зато там слону будет привольно, я рассудила, что это важно, — не на стоянке же его парковать. Для Бобо там все заготовлено, я лично проконтролировала, с московским зоопарком консультировались. Завтра утром — да, рассчитываем на вас. Как вы думаете, Кузьма Владимирович сможет?

— Очень надеюсь, — осторожно сказал Зорин. — Посмотрю сегодня на его состояние.

И мы разошлись.

Кузьма сидел в шезлонге на гостиничном пляже, натянув шарф на нос, и смотрел на Волгу. На коленях у него лежала кожаная его тетрадь. Ручку Кузьма крутил в пальцах, едва торчащих из рукавов, и видно было, что ему холодно и при этом сил встать и уйти с пляжа в гостиницу он в себе не находит. Здесь же, на пляже, около составленных один на другой шезлонгов, стояли две палеты с выложенным на них в красивом порядке моим обедом. Я почувствовал, что рот мой наполняется слюной, и ускорил шаг. Кузьма обернулся на меня и тут же снова равнодушно перевел взгляд на воду; стало мне очень больно, и я, несмотря на то что давно не ел, потерял всякий аппетит; Зорин же, наклонившись и подхватив с моей палеты без спросу большое яблоко, выкусил из него с хрустом едва ли не половину и сказал в спину Кузьме:

— Мне посоветоваться с тобой надо.

— Так вы опять со мной разговаривать изволите, Виктор Аркадьевич, — вяло усмехнулся Кузьма, и я обрадовался: если он язвить не прекратил, то, видимо, все-таки на поправку идет.

— Перестань ерничать, — скривился Зорин, обходя Кузьму и подбочениваясь по своей новой привычке. — У меня ситуация, а с кем мне еще говорить? С Асланом? С Толгатом? Или мне к Квадратову твоему любимому на исповедь идти? Обойдусь как-нибудь.

— Называть Квадратова моим — это смело, — усмехнулся Кузьма.

— Вот, — сказал Зорин и злобно наставил на Кузьму палец. — Вот. Вот это проблема. Ты его притащил — и ты же теперь говоришь: «Ах, называть его моим — это смело!..» Ты не понимаешь, что твои поступки на нас всех сказываются! На каждом из нас отражаются!

— На тебе, ты имеешь в виду, сказываются, — уточнил Кузьма, склоняя голову набок.

— И на мне! — рявкнул Зорин. — И на мне! Ты посмотри, с кем я пред Его очи покажусь: поп-расстрига какой-то, Толгат понятно что думает, у слона черт-те что в голове, и я в этом тебя виню, а сам ты...

— Сам я что? — с интересом спросил Кузьма.

— Сам ты государственный человек, русский дипломат, хочу тебе напомнить, а позиция твоя... — понижая голос и оглядываясь, сказал Зорин.

— Короче, мы тебя позорим, порядочного патриота, — кивнул Кузьма.

— Вот! — опять сказал Зорин и опять наставил на Кузьму палец. — Вот! Ты и слово это произносишь уже как ругательство! И я считаю эту ситуацию совершенно ненормальной, учитывая то, как, куда, почему и к кому мы идем!

— Завидую я тебе, Зорин, — вдруг сказал Кузьма и, прищурившись, посмотрел на приближающийся к нам

по реке маленький белый кораблик. — Хорошо, небось, тобою быть.

Тут Зорин словно бы захлебнулся воздухом, а потом очень тихо сказал:

— Мною хорошо быть? Ты думаешь, дебил ты этакий, это мною-то хорошо быть? Это тобою, дорогой мой, хорошо быть. У тебя, мой милый, все просто: если что черненькое — так все черненькое, да? А сам ты стоишь весь беленький и думаешь, что люди вроде меня — слепые, глухие и тупые. Не-е-е-ет, дорогой, это я, я, я тебе завидую, — хорошо, небось, беленьким себя чувствовать, собственную страну последним судом осуждать? А каково все то же самое видеть, все то же самое слышать, то же самое понимать и все время себе говорить: вот это плевела и вот это плевела — а есть зерна, много-много зерен; и всегда, каждую минуту, каждую секунду, не давать у себя в душе плевелам прорасти и эти зерна прекрасные заслонить, задушить?! Каково сквозь все это не быть как ты, не осуждать, не стоять в белом пальто красавчиком, а любить, любить изо всех сил, всем сердцем любить, над каждой ошибкой, над каждой бедой в душе плакать, а только поминуть, что это — беда, что это — ошибка, а не... а не...

— А не что? — спросил Кузьма так же тихо.

— Иди ты на хуй, — устало сказал Зорин и, присев на стопку шезлонгов, опустил руки.

— Ты про это хотел со мной посоветоваться? — спросил Кузьма, помолчав. — Боишься на себя через нас гнев навлечь?

Зорин покачал головой.

— Не про это, — сказал он. — С этим я уж как-нибудь сам разберусь, спасибо. Про другое. Ты только не учи меня жить, ладно? Послушай и попробуй понять. Я про письмо это сраное хотел.

Кузьма внезапно захлопнул тетрадь и, сложив на ней руки, прищурился. Зорин внимательно посмотрел на него и вдруг сообразил:



— Ах ты ж блядь! Ты что, тоже письмо ему пишешь?!

Кузьма молчал. Зорин на миг закрыл лицо ладонями, издал такой звук, словно у него зуб разболелся, а потом сказал:

— Так, это меня не касается. Я не про твое письмо, я даже думать про него не желаю. Я про ее письмо, — и похлопал себя по левой стороне бушлата.

— Так-так, — сказал Кузьма.

— Первым убивают гонца, как известно, — сказал Зорин и многозначительно посмотрел на Кузьму.

— Ты его читал-таки, — сказал Кузьма со вздохом.

— Только жить меня не учи, — повторил Зорин.

Кузьма помолчал.

— Не знаю, — сказал он наконец. — Ты же веришь, во что веришь? Вот и верь, наверное, в разумное начало известно чье.

— Я пытаюсь, — сказал Зорин. — Но трясет меня, конечно. Думаешь, отдавать, да? Не могу понять, что хуже — отдать или потерять.

— Потерять хуже, мне кажется, — сказал Кузьма. — Это пахнет неуважением. А учитывая, что письма ты не читал и о его содержании знать не знаешь, к тебе, по здравом размышлении, претензий никаких быть не может.

— Вот тут и возникают два вопроса, — сказал Зорин, явно нервничая. — Первый: если в письме такое, то о чем же со мной Ее бывшее Величество говорить изволила, и надо ли мне было об этом немедленно доложить, и почему я этого не сделал; а второй — собственно о чтении письма: должен ли я был, как начальник охраны экспедиции, или не должен...

— А о чем с тобой Ее бывшее Величество говорить изволила? — с интересом спросил Кузьма.

— Да ни о чем! — сказал Зорин с мукою. — А то бы я... Но нет. Compliment стихам сказала совершенно невинный и письмо отдала. Сам себя проклиная, что

согласился, — гордыня подставила... А с другой стороны — ну куда мне деваться было? Попал я...

— Ну перестань, перестань, — сказал Кузьма неожиданно тепло.— Ты же веришь — вот и верь. Я в твоей вере слаб — и то думаю: обойдется, народный ты наш любимец.

— Вера в церкви хороша, — вдруг резко сказал Зорин, вскочил и пошел прочь, к гостиничному корпусу. Обернулся и крикнул, едва не налетев на шедшего ему навстречу Квадратова: — Утром чтобы был на освящении! Не можешь начальствовать, так я начальствовать буду! Хватит, поотлынивал!..

Квадратов, посмотрев ему вслед, покачал головой и, увязая в песке, побрел к нам.

— Кузьма Владимирович, как вы? — спросил он.

— Да что мне сделается, — ответил Кузьма вяло.

Квадратов помолчал.

— У меня просьба к вам, — сказал он наконец. — Увольте меня, если можно, — я на завтрашнее мероприятие не пойду. От одной мысли мне нехорошо делается.

— Понимаю вас, — откликнулся Кузьма. — А меня вон начальство гонит, слышали? — И он усмехнулся.

Усмехнулся в ответ и Квадратов.

— Я-то думал, вы как раз можете быть вполне не против таких вещей, — сказал Кузьма. — Людям на фронте разве вера не нужна? Утешение не нужно?

— Ох как нужно, — сказал Квадратов. — И вера, и утешение — каждая капля нужна. А только я как представлю, что они завтра учинят и как это все проходить будет...

— Крамольники мы с вами, отец Сергей, — сказал Кузьма. — Недаром Зорин уже и компанию с нами водить боится.

Отец Сергей присел на то самое место, где несколько минут назад сидел Зорин, и тоже уставился на воду.

— Страшно мне, — сказал он просто и замолчал.

Кузьма ничего не ответил.

— Почему страшно, отец Сергей? — осторожно спросил я.

Квадратов вздрогнул и с тоскою сказал, не глядя на меня:

— Да я не про завтра. Я про все, про все сразу. Я все думаю: война — та же холера... Нет, хуже: война — та же чума, мытьем рук не отделаешься, кипяченой водой не спасешься. Все болеют, и болеют страшно, и сам про себя ты знаешь, что рано или поздно заболеешь, — а может, уже болеешь и просто без сознания давно, и кажется тебе в бреду, что ты здоров, ходишь, разговариваешь, а на самом деле ты чумной и тебе конец. Потому что страшно война душу разъедает, смертельно разъедает — и в тех, кто против, на самом деле не меньше разъедает, чем в тех, кто за: тут тебе и ненависть, и нетерпимость, и гордыня, и гнев, и кое-что похуже гордыни и гнева вместе взятых... Страшно мне за всех, а пуще всех за себя. — Тут Квадратов глянул наконец на меня и криво улыбнулся. — Простите меня, разболтался попик. Да и вот тоже грех: все мы болтаем сейчас много, а я так по каждому поводу стал тирады произносить. Замолкаю, замолкаю, простите меня.

— Чума... — произнес Кузьма медленно, будто не слышал последней фразы Квадратова. — Да, отец Сергей, хорошо помню: «Даже тот, кто не болен, все равно носит болезнь у себя в сердце»<sup>1</sup>.

— С другой стороны, вы же помните и главное, да? — вдруг сказал Квадратов горячо. — Он заключает в конце, что в людях больше достойного восхищения, чем презрения, или как-то так.

Сказав это, Квадратов подобрал с песка плоский камешек и пустил по воде. Камешек подпрыгнул раз, другой, третий — и исчез, и вдруг словно бы по голове

---

<sup>1</sup> Перевод Надежды Жарковой.

ударил меня: я увидел перед собою сверкающий на солнце дворцовый пруд, прекрасный, заросший лилиями по краям круглый пруд, и мелькали в нем золотые и красные спинки жирных молчаливых карпов, и маленькие султанята пускали плоские камешки по воде, и кричали, и смеялись, и мой Мурат был жив, жив и говорил мне что-то, чего я из-за смеха султанят не мог слышать, и я просил его повторить, и он повторял свои слова снова и снова, но султанята хохотали все громче, и я, не выдержав, затрубил изо всех сил, затрубил, чтоб они испугались и разбежались, и тут картинка исчезла, и я снова стоял на хмуром берегу Волги, на холодном песке, гудела вдалеке баржа, дождь накрапывал, и капли его смешивались со слезами у меня на щеках, я всхлипывал, и Квадратов с Кузьмой испуганно смотрели на меня, и тонкая цепочка муравьев, поднимавшаяся по моей ноге, стремительно разворачивалась, чтобы бежать прочь.

Утром Толгат не мог добудиться меня — я не хотел просыпаться, хотя сны мои были мучительны и дурны, и, вырвавшись из них наконец, я сделал все возможное, чтобы их забыть. Открыв глаза, я обнаружил, что окружен палетами с едой: не съеденное мною вечером решили, видимо, не уносить, зато принесли новое, положенное мне на завтрак. Аппетита у меня по-прежнему не было, а было омерзительное состояние: одновременно страшно хотелось есть и есть не хотелось. Я выбрал из предоставленного мне весь хлеб и тут же пожалел об этом: теперь пища лежала у меня на дне желудка комом. Вчерашний разговор Кузьмы с Квадратовым не прошел для меня даром — я ждал от сегодняшнего мероприятия какой-то мерзости. Вдруг явилась мне в голову мысль сказаться больным, но помешала совесть: я допустил, что ровно это же собирается сделать Квадратов, а может быть, и Кузьма тоже, и если так поступлю я, то все мы будем выглядеть крайне подозрительно. Надо было идти, и, когда

прибыл за мною на пляж Зорин, тщательно выбритый и в вычищенном бушлате, я уже собрался с силами и, как мне казалось в тот момент, был ко всему готов. Неожиданно для меня — и для Зорина, видимо, тоже — появился на дорожке, ведущей от корпуса к пляжу, мой Кузьма в синем своем костюме и самом нарядном галстуке, бледный, но бодрый (а следом за ним семенил падкий до зрелищ Аслан, и смуглое лицо его на фоне задранного ярко-красного воротника пальто тоже казалось бледным). Настроение мое сразу улучшилось, и я вдруг весело разозлился сам на себя: почему, ну почему жду я мерзости от наступающего дня? Ведь не убивать же людей меня ведут! Бодро потопал я вперед, да так быстро, что вскоре пришлось нам подсадить все-таки выдохшегося Кузьму мне на спину, но уже не в клеть, а на место любезно спешившегося Толгата, и от этого стало мне еще веселей, и к Центральной площади я прибыл в самом хорошем расположении духа. Толпа здесь оказалась невелика; кто-то, впрочем, еще подтягивался, и у рамок металлоискателей стояли очереди. К нам подскочили, поприветствовали, провели через ограждения. Что-то было странное в этой толпе, слишком тихой и еще... Еще какой-то не такой. Мне стало вдруг очень тревожно, хорошее настроение растаяло, и возникло тяжелое чувство, что я страшно неуместен, что никто тут не рад меня видеть, что ни один человек на этой площади не интересуется мной, живым слоном посреди Тольятти. Вдруг женский голос у меня за спиной негромко произнес:

— Слона кормить — на это у них хватает, а мужиков на фронт, значит, мы собирай.

Я осторожно развернулся. Две женщины смотрели на меня в упор — одна молодая, явно испугавшаяся, что я мог услышать ее спутницу, а вторая лет шестидесяти, если не больше, с торчащими из-под шапки седыми волосами и шарфом, доходящим до самого носа. На груди у седой женщины висела написанная от руки

картонная табличка: «ИЩУ БЕРЦЫ УСТАВНЫЕ Р. 47 МЕНЯЮ НА Р. 45». Несколько секунд женщина пристально глядела на меня, а потом вдруг выставила руку в шерстяной перчатке и подняла вверх средний палец. Молодая в ужасе ахнула и ударила седую по руке, но сидевший на мне Кузьма успел заметить жест и тихо рассмеялся. Молодая женщина прикрыла ладонью рот, на лице пожилой выступил рваный румянец, Кузьма похлопал меня по затылку, и я понял, что он хочет спешиться. Осторожно, чтобы не задеть тех, кто стоял вокруг и чьи кулаки постукивали по моим бокам ежесекундно, встал я на колени; Кузьма неловко слез и подошел к этим двум женщинам, протягивая им руку.

— Я Кузьма Кулинин, — сказал он просто. — Вы не волнуйтесь, пожалуйста, все хорошо.

— Я Даша, — срывающимся голосом сказала молодая женщина. — Вы извините...

— Да и не за что, — махнул рукой Кузьма. — Когда вашему идти?

— Не делайте вид, что вам не все равно, — сухо сказала пожилая женщина.

— Арина Андреевна! — в ужасе воскликнула Даша.

— Ну я Арина Андреевна, — сказала пожилая женщина резко. — Успокойся, Дарья. Ничего он тебе не сделает, у него времени нет, да и дела ему нет, он погонщик, так ведь?

— Так, — кивнул Кузьма. — Я погонщик, сегодня ночью из города уеду — и был таков, со мной можно спокойно разговаривать.

Даша помолчала, а потом сказала:

— Моему завтра идти.

— А берцев в продаже уже нет, бронезилетов нет, теплых подштанников нет. Хер бы я сюда пошла и Дарье бы не позволила, если бы не надеялась у кого-то хоть берцы найти, — подхватила Арина Андреевна отрывисто. — Да не найду, ясное дело. В кроссовках пойдет.

— Ну как он в кроссовках пойдет, мама? — жалобно спросила Даша, и на глазах у нее проступили слезы. — Его же накажут!

— Не ной! — оборвала ее Арина Андреевна. — Пойдет, как полгорода пойдет. Ты вокруг посмотри!

Я посмотрел вокруг, посмотрел вокруг и Кузьма, и тут я понял, что не так с этой толпой: в ней были одни женщины и старики, только женщины и старики. Ни одного молодого мужского лица не увидел я на площади, зато увидел, как пожилой человек приоткрывает осторожно полупальто, чтобы показать маленькую бумажку с надписью «Ищем термобелье XL», и медленно поворачивается вокруг своей оси, жадным взглядом шаря по толпе.

— Заводам бронь обещали, да хер кто верит, — сказала Арина Андреевна низким голосом. — По домам прячутся. В толпе, впрочем, говорят, скоро и это не поможет: будут бабам повестки для мужиков вручать. И то умно.

— Еще говорят, с курьерами начнут приходить, которые еду разносят, — сказала Даша равнодушно. Видно было, что это ей все равно.

— Ладно, — сказала Арина Андреевна и крепко взяла Дашу под руку. — Еще пятнадцать минут походим и двинемся отсюда. Бесполезно это все.

— На освящение, значит, не останетесь? — спросил Кузьма.

Арина Андреевна выразительно посмотрела на него и исчезла вместе с Дашей. Кузьма рассеянно погладил меня по боку. Я хотел спросить его, сколько стоят берцы и сколько стоит ананас, каждый ананас, который подносят мне чуть ли не три раза в день, но не мог, разумеется, заговорить в толпе; было мне плохо и стыдно, и я поклялся себе, что больше не прикоснусь к ананасам и буду на одних хлебе и ветках жить, чего бы мне это ни стоило, и скажу, чтобы ничего другого мне не давали. Появился злой Зорин и сказал,

что это не церемония освящения, а какой-то вещево́й, блядь, рынок, что куда смотрит сраная полиция, ему совершенно непонятно и что он уже распорядился всех, кто меняется вещами или с табличками ходит, гнать взащей.

— Это ты совершенно зря, — серьезно сказал Кузьма. — Надо было распорядиться заводить на них протоколы по статье о дискредитации армии. Это что же, они открыто намекают, что армия не может наших призывников всем необходимым обеспечить? А деньги на это куда делись? Уж не разворовали ли их? Ужасная крамола! Не зришь ты, Зорин, в корень, прости за рифму. Потакаешь преступному поведению. Нехорошо.

Зорин некоторое время смотрел на Кузьму не мигая и, кажется, всерьез обдумывал его слова, а потом махнул рукой и сказал:

— Времени нет. Митрополит прибыл, тебя ищут. Давай, пошли.

Я шагал за Зориным, низко опустив голову и стараясь не смотреть по сторонам. Дождь прошел, солнце пробивалось время от времени сквозь облака, и блестели расставленные в каре по периметру площади штук двенадцать этих самых авточасовен, а между ними стояли, как положено, стеклоголовые люди в черном с дубинками у бедер, и слабое сияние их влажных шлемов в солнечном свете выглядело, ей-богу, очень странно. Меньшикова с Потоцким сидели на лесенке, спущенной с крайней машины, и, как показалось мне, неловко молчали, а завидев нас издали, вскочили и вроде бы вздохнули с облегчением. Я увидел золотое мерцание в торце каре — то сверкал крест на митре, и суетились перед церковным человеком люди, настраивая для него микрофон. Мне страшно хотелось уйти, но мое место было там, возле маленькой сцены, и пришлось мне встать рядом с Кузьмой, Асланом, Зориным и прочими у всех на виду. Митрополит, окруженный тремя охранниками,



поднял руку. В передних рядах старушки принялись кланяться и креститься, и Зорин тоже перекрестился размашисто и поклонился до самого асфальта. Вышла к микрофону Меньшикова и заговорила о том, какая это честь для города — духовно поддерживать наши войска на фронте, и какая это честь для нее лично — приветствовать митрополита на сегодняшнем мероприятии. Голос ее красиво дрожал, взлетал и падал, и, пожалуй, таким же голосом она, если бы захотела, могла бы прочесть меню в ресторане. Потом вышел Потоцкий, мрачно посмотрел на толпу и объявил, что речи говорить он не мастер, но главное, что обязанности свои он выполнил, — и он посмотрел на митрополита в упор, а тот сладко улыбнулся и покивал, а потом, так же улыбаясь, смотрел, сложив руки на животике, как Потоцкий хромает прочь со сцены, и по-отечески качал головою. После Потоцкого пришла очередь Кузьмы говорить, и Кузьма мой сказал коротко, что, на его личный взгляд, все, способное принести человеку на поле боя толику мира и утешения, само по себе благословенно. Наконец заговорил митрополит, и охранники его сделали шаг вперед у него за спиной и по бокам.

— Я долго говорить не буду, — сказал митрополит и ласково посмотрел на толпу поверх тонких золотых очков. — Знаю, забот у вас сегодня много. Скажу просто: мысли у меня нынче те же, какие и у вас. Я глубоко верю, что наступит примирение между братскими народами, и наступит скоро, но прежде — скажу я вам с глубоким горем в сердце своем — должна будет наша, русская кровь еще не раз пролиться и не один герой еще долг свой должен будет перед Отечеством выполнить, и за каждого такого героя я молюсь, молюсь со слезами денно и ночью... — Тут митрополит вдруг снял очки и протер, словно были они заплаканы, и снова надел, и тяжело вздохнул, и вдруг я услышал свое имя. — Вот слон Бобо, тварь Господня,

тварь неразумная, — сказал он, мягко показывая на меня рукою. — А только будь в нем разума хотя бы как в ребенке малом, я бы сейчас же спросил его: «Что ты, Бобо, о том думаешь, чтобы боевым слонем стать и сию же секунду на фронт отправиться?» Знаю, знаю, отлично знаю, куда наш Бобо путь держит и кто его в конце пути ждет, но вот такой я крамольник. — Тут митрополит легонько усмехнулся, и засмеялись услужливо старушки в первых рядах, и хохотнул, качая головой, Зорин. — Но почему-то думаю я, — продолжил митрополит, улыбаясь, — что ради нашей славы военной великий человек, хозяин нашего Бобо, согласился бы своего слона отпустить с врагом воевать, а что история боевых слонов не одно тысячелетие насчитывает, мне вам, наверное, рассказывать не надо... А почему бы я Бобо, вы спросите, на фронт отправил? Да потому что Бобо теперь по русской земле идет, русскую пищу ест и под русским небом спит, а значит, русским слонем стал наш Бобо, и русский народ от притеснений ему до последней капли крови самим Господом защищать положено. Верно я рассуждаю?

Тут митрополит сделал паузу, и старушечьи голоса закричали вразнобой: «Верно, верно, владыка!», а откуда-то с краю донеслось: «Не воюет — не мужик!» Митрополит засмеялся, повернулся неожиданно ко мне и вдруг сказал, обращаясь к Зорину:

— Виктор Аркадьевич, будьте так любезны, подведите Бобо сюда поближе — хочется мне людям показать, какой справный из него боевой слон выйдет! Буду лично перед Его Величеством челом бить, просить Бобо вместе с погонщиком на фронт отправить: днем на врагов страх наводить, вечером солдат наших веселить, дух их боевой поднимать. Была не была — авось не накажут меня за мою дерзость! Похлопаем Бобо!

И митрополит захлопал в ладоши, и вместе с ним захлопали одни руки, другие, пятые, десятые, и меня

затрясло от ярости и ужаса, а Толгат гладил и гладил меня по затылку, но это вовсе не помогало, мне делалось только обиднее и страшнее, а Зорин, судорожно подававший Толгату знаки, запрокинув голову, не выдержал и потянул меня за ухо, и это взбесило меня окончательно. Ясная, яркая ярость стала заполнять меня, поднимаясь от груди все выше и выше, к самому темечку. Резко дернул я головою, высвободил ухо и вдруг почувствовал, что ноги мои мелко-мелко дрожат и что мне от этого становится очень-очень смешно. Зорин вдруг стал совсем маленьким, и тут я в ужасе понял, что со мной происходит. «Господи, — взмолился я, — Господи, не дай этому случиться!» Счет шел на секунды; мне надо было бежать, бежать отсюда, и я, неся на себе Толгата, рванулся в толпу, ахнувшую хором и расступившуюся передо мной; миг, только миг — и все обошлось бы, но тут Зорин изо всех сил ухватил меня за хвост, за мой бритый, голый, колющийся хвост. Ярость в голове моей стала прозрачной; глаза мои закрылись; я понял, что встаю на задние ноги и иду назад и что страшный звук, разносящийся над площадью, издаю я, я, — и еще понял, что у меня из-за спины раздается жуткий крик, крик боли и отчаяния, и что с ним смешиваются другие крики, и кто-то толкает меня, и бьет кулаками по ногам, и толкает снова, но мне все равно, все равно. Зорин отпустил давно мой хвост, Толгат соскользнул с меня, и я обернулся, чтобы как следует дать Зорину хоботом по голове или сделать еще что похуже, но ни Зорина, ни Кузьмы не было рядом со мною, и вообще никого не было. Только под ногами у меня лежало, не двигаясь, скрюченное сухое тело в ярко-красном пальто, и растекалась под смуглой головой ярко-красная бесформенная лужа крови.

Я должен его убить.

Я убийца теперь, душа моя погибла, но я могу еще, я еще могу спасти других, если я убью его — его, чьим именем и по чьей воле все это творится. Мысли мои вдруг стали совершенно ясны — так ясны, как не бывало с тех пор, как я, наивный придурок, гордо выступал по набережной Стамбула, полагая, что суждено мне стать русским боевым слонем и новому Отечеству моему великую службу сослужить. Ну так вот: суждено, суждено мне сослужить моему новому Отечеству великую службу, и теперь я знал какую. Все тело мое было словно искрами набито, и я вторые сутки не мог заснуть. Сердце мое колотилось, я бежал вперед по лесу так быстро, что постоянно оскальзывался на насте, и Гошка в какой-то момент раздраженно крикнул мне вслед:

— Эй, ебнутый, тебе что, скипидару в жопу налили? Из-за тебя этот вояка недоделанный меня кнутом пиздит!

Мрачный Зорин, сидевший на козлах, действительно пару раз прошелся по лошадам кнутом, чего никогда не делал Мозельский, и привел Гошку и Яблочко в отвратительное настроение; по каждому поводу они назло останавливались и отказывались идти дальше — поваленное ли дерево лежало перед ними, заледенелый ли ручей трещал под копытами, темные ли

заросли надо было преодолеть... Я же, напротив, рвался вперед, и наши привалы, прежде так любимые мною за возможность поесть, погреться у костра да послушать веселые разговоры, сделались для меня невыносимы: у меня была теперь цель, а они отдаляли меня от цели; есть я не мог; вместо разговоров же висело теперь над костром тяжелое молчание. Мне казалось, что все стали внимательнее ко мне, чем прежде, и от этого я чувствовал себя стократ хуже и мечтал только об одном: чтобы пришли мы наконец в город Самару и ни у кого больше на меня времени не было. К счастью, ночи стали совсем холодны, и шли мы без сна и вошли в Самару под самое раннее утро. Я видел, что люди мои еле держатся на ногах от усталости, но сам не испытывал ни малейшего желания отдыхать: при мысли, что сейчас мы остановимся и будем терять здесь время, делалось мне дурно. Я, однако, понимал, что повлиять на происходящее никак не могу, и в тоске стал озиаться: мы стояли на холме, и слева от нас располагалось огромное строение, больше всего похожее на миску, накрытую еще одной миской; то был стадион, подле которого должны были нас встречать. И правда, совсем скоро подъехали три черные блестящие машины, совершенно одинаковые на первый взгляд, и я с тоскою понял, что встреча предстоит пышная. Тяжело вздохнул и Кузьма; мы обменялись понимающими взглядами. Однако ни из первой машины, ни из третьей никто не появился. Зато открылись дверцы второй, и из нее выступили двое, удивительно похожие друг на друга: сухопарый мужчина с зачесанными назад пышными седыми волосами и почти такой же мужчина лет двадцати пяти, с волосами соломенного цвета и с большим блокнотом в руках. Седой мужчина направился прямо к Кузьме, а его молодой двойник обошел машину и встал от сзади и слева, держа перед собой блокнот и явно приготовившись писать.

— Кузьма Владимирович, уважаемый, — сказал седой мужчина, глядя прямо перед собой и мимо Кузьмы, — позвольте отрекомендоваться: Поренчук Георгий Вячеславович, зам. Добро пожаловать в Самару. Выражаю соболезнования по поводу потери вашего коллеги. Поехали дальше. Население Самары — один миллион сто семьдесят пять тысяч четыреста девяносто семь человек. Национальный состав — русские, татары, мордва, украинцы, чувашаи, другие. Площадь в границах городского округа — пятьсот сорок один и четыре квадратных километра. Основан в тысяча пятьсот восемьдесят шестом году. По объему инвестиций в основной капитал входит в пятерку крупнейших городов России.

Тут Поренчук запнулся, и стоящий у него за спиной молодой двойник тихо прошепестел:

— Является крупным центром...

— Является крупным центром машиностроения и металлообработки, пищевой, а также космической и авиационной промышленности, — подхватил Поренчук. — Является одним из крупнейших в России транспортных узлов. Является одним из главных научных центров страны в космической и авиационной областях. Самарская область в спорте — одна из ведущих в Российской Федерации, готовит победителей и чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы. Театральная жизнь города интересна и насыщена. Архитектурную ценность придают Самаре разнообразные здания, среди которых много исторических памятников. Еще раз — добро пожаловать.

Поренчук замолчал, продолжая стоять навтыяжку и смотреть в пространство, и вдруг я понял, что он страшно, невысказанно нас боится. Кузьма кивнул и, глядя мимо Поренчука на молодого человека с блокнотом, заговорил совершенно бесцветным голосом:

— Так, Георгий Вячеславович, дорогой, очень, очень рад познакомиться. Как вы уже знаете — Кулинин

Кузьма Владимирович, начальник экспедиции. Со мной Зорин Виктор Аркадьевич, глава охраны, Айпенев Толгат Батырович, опекун Бобо, и отец Сергей, наш духовный наставник. Вышли из Стамбула первого марта сего года, движемся в Оренбург с известной вам целью. В иные подробности, к сожалению, права входить не имею.

— Да-да-да-да-да-да. — Поренчук часто затряс головой, словно испугался, что Кузьма начнет-таки входить в какие-нибудь подробности, которые ему, Поренчуку, знать не положено. — Ни в коем случае не расспрашиваю и не претендую. Вы простите, что я так официально начал, — я целиком и полностью в вашем распоряжении, разумеется, вы только мигните. Это вот Витенька, — тут Поренчук повернулся к своему двойнику, — он любые ваши пожелания исполнит.

— Есть такой вариант для вас, — зачастил Витенька, распахнув блокнот. — Слоника на территории Загородного парка расположим, все для него устроим, а вас можно и поближе к нему, но в четырехзвездочном «Ренессансе», и подальше, но зато уж в лучшей нашей гостиничке, в «Лотте». Это как пожелаете. — И Витенька, склонившись в сторону Кузьмы, стал вопросительно переводить взгляд с него на Зорина и с Зорина на Квадратова.

Кузьма помедлил с ответом, и я понял, что расставаться со мной ему не хочется, но очень хочется как следует отдохнуть. Я понимал его и был не в обиде — я хотел только, чтобы как можно скорее оставили меня наедине с моими черными размышлениями, со страшными планами моими; сна у меня не было ни в одном глазу, и я безразличен был к тому, как и куда меня определят, лишь бы побыстрее. Наконец Кузьма заговорил, и я понял, что долг взял в нем верх над усталостью.

— Нет, — сказал он, — не пойдет по отдельности. Вы нас так поселите, чтобы для слона поляночка была, а звездочки нас не волнуют.

— Нет такого в центре, — тут же ответил Витенька. — Вы извините, ради бога, а только я каждую гостиничку знаю, всех размещаю. Есть на выселках, а только вы туда-сюда даже дойти перед выступлением не успеете...

— Тогда всех нас определяйте в парк, — решительно сказал Кузьма и, увидев ужас на лице Поренчука, добавил: — Под мою ответственность.

— Да ведь холод собачий! — едва не всхлипывая, сказал Витенька. — Как же вы в парке ночевать-то будете? Нет, если вы настаиваете, мы и матрасики, и одеяльца, и такие, знаете, штученьки, которые тепло сверху дают, да только как же вы... В «Ренессансе» вот стояночка есть, я вам руку даю на отсечение — вы слоника вашего будете из окошечка видеть! Давайте, а? А?

Кузьма колебался, глядя на меня; я понял, что ему не хочется, чтобы я еще одну ночь проводил на асфальтовой стоянке. Я ответил ему равнодушным взглядом и незаметно для других покивал, давая понять, что мне это совершенно все равно. Кузьма вздохнул.

— Ладно, — сказал он, — давайте на стояночку. Очень в кроватку хочется.

Витенька расцвел, и через полчаса я стоял уже позади «Ренессанса» и вдыхал едкий бензиновый запах, а Кузьма, сложив руки на груди, и вправду смотрел на меня из окна второго этажа. Наконец он исчез; я ждал с нетерпением, когда оставит меня Толгат, а тот все не уходил, и я полагал, что он не пойдет к себе в номер, пока не вынесут мне еду. Наконец появились люди с тазами, поставили эти тазы передо мной и ушли. Я отвернулся от тазов и посмотрел на Толгата в упор. Толгат же только перекатился с пятки на носок и обратно на пятку и продолжил стоять, где стоял. Я, не выдержав, сказал:

— Господи, да не буду я есть все равно!

Тогда Толгат наконец спросил осторожно:



— Да что творится с тобой?

Я не стал отвечать — я столь многое мог сказать ему, что предпочел не сказать ничего; потом прошептал тихо:

— Пожалуйста, уходите, дайте мне одному побыть.

В растерянности Толгат сделал неловкий жест; я повернулся к нему спиной и вдруг увидел, как от ближайшего дерева отделяется маленькая фигурка в коричневом пальто и, оглядевшись, бежит прямо к нам. От неожиданности я попятился. То была женщина лет, на мой взгляд, тридцати, с растрепанными волосами, выбивавшимися из-под рыжего берета грубой вязки, и усталые глаза ее были полны, показалось мне, отчаянной решимости. Я приготовился к тому, что она сейчас примется стучать по моему боку или, того больше, три раза повторять, держась за мой бивень «С меня на слона, со слона в никуда» (это новое поветрие было), но женщина не обратила на меня ни малейшего внимания, как если бы не стоял перед ней огромный живой слон.

— Вы царский человек? — обратилась она к Толгату, с трудом переводя дух, словно бежала за нами не один километр.

— Я просто погонщик Бобо, — ответил Толгат, тут же становясь между женщиной и мною и поспешно косясь на окна гостиницы; в окнах, однако, никого из наших не было, а только какие-то зеваки глазели на меня там и сям.

— Вы просто погонщик Бобо... — сказала женщина задумчиво. — Кто у вас главный? Мне надо говорить с вашим главным, с вашим начальником. У меня к нему дело, это вопрос жизни и смерти, мне надо говорить с ним прямо сейчас. — И она твердо посмотрела Толгату в глаза. Что-то не так было с ее лицом, и я вдруг понял, что вокруг одного ее глаза расплылся тщательно замазанный чем-то бежевым бледный, состарившийся желто-лиловый синяк.

Толгат снова оглянулся на окна, и взгляд женщины немедленно проследовал за его взглядом.

— Я знаю, они в гостинице, — сказала она, — я вас отследила. Кто у вас главный? Пожалуйста, отведите меня к нему. Поверьте мне, вы этим жизнь человеку спасете.

— Может быть, — сказал Толгат мягко, — вы мне доверитесь, а я все передам?

— Нет. — Женщина потрясла головой, отчего берет съехал ей на глаза, и она поправила его рукой с обкусанными ногтями. — Нет, это так не работает. Пожалуйста, отведите меня. А не то я сама пойду и найду, только шуму будет много.

Тут вдруг окно на втором этаже распахнулось, и выглянул Кузьма и спросил настороженно:

— Все в порядке?

— Кузьма Владимирович, дама вас ищет, — спокойно сказал Толгат.

— Вы главный? — немедленно спросила женщина.

— В определенном смысле, — сказал Кузьма.

— Отлично, — сказала женщина, — тогда слушайте меня. Я вам быстро все скажу...

— Подождите, подождите, — сказал Кузьма, — может, вы ко мне подниметесь?

— Нет, — сказала женщина, — фиг я с вами в гостиничном номере наедине останусь, не дождетесь. Нет, я тут скажу, при свидетеле. Слушайте: я замужем три года. И три года мой муж меня избивает и насилует. И я знаю, что, если я от него уйду, он придет к моим родителям, понимаете вы? Я была в полиции шестнадцать раз. Знаете, что они мне говорят? «Убьет — тогда приходите». А один раз мне сказали: «Если вы терпите, значит, вас это возбуждает». Поняли? Так вот, знайте: следующий раз, когда он поднимет на меня руку, я его убью. Это я не угрожаю, а рассказываю. Я его предупредила, а он смеется и говорит, что я хорошая христианка и грех на душу не возьму.

А я поняла, что я хорошая христианка и поэтому... Короче, это не ваше дело, что я поняла, — сказала она и вдруг задохнулась, сложилась вдвое, уперев руки в колени, и постояла так немножко, приходя в себя. — Короче. Вы царские люди. Я вас предупредила. Или вы сделаете что-то и его сейчас арестуют, или я его убью. Это я просто рассказываю, что будет. Вот, рассказала. — И она, сорвав с лохматой головы берет, широким движением утерла потный лоб и, задрвав голову, уставилась на Кузьму.

— Понял вас, — медленно сказал Кузьма. — Мне только имя ваше понадобится.

— Форц Евгения Анатольевна, — сказала женщина изумленно. — Что, правда поговорите?

— Правда поговорю, — кивнул Кузьма. — Обещать ничего не могу, но поговорю.

— Да уж, конечно, не можете, — вдруг зло сказала женщина. — А я уж, дура, на секунду подумала... Ладно, ну вас на хер. Совесть моя чиста — я вас предупредила. Теперь это вам с вашей совестью дальше жить. — И, быстро развернувшись, решительно пошла прочь со стоянки, оставляя на тонком слое снега черные маленькие следы. Толгат поднял голову и посмотрел вверх, но Кузьмы уже не было в окне.

Толгат перевел взгляд с меня на разложенные в больших алюминиевых кухонных тазах хлеба, бананы, ананасы, яблоки и бог весть что еще. Я взял хоботом ананас, демонстративно зашвырнул его в кусты и повернулся к тазам спиной. Толгат постоял немного, а потом медленно пошел прочь — я услышал удаляющиеся шаги его. Тут же стало мне стыдно, очень стыдно, но сил моих не было окликнуть его и извиниться, как не было и сил поесть. Волна отворачивания к самому себе захлестнула меня, и, если бы не новый мой зорек, не знаю, что бы я сделал с собою в тот час. «Убью его, а потом себя голодом заморю», — вдруг понял я со всей ясностью и тут же сообразил,

что это несусветная глупость: конечно, меня немедленно казнят. От этой обнадеживающей мысли мозг мой мигом прояснился, а боль в груди прошла, будто лопнул там какой-то огромный колючий шар. Мне показалось даже, что на стоянке светлее стало, — я не сразу понял, что тучи надо мною разошлись. Я потряс головой и глубоко вздохнул несколько раз, и страшно захотелось мне есть; я развернулся к тазам и увидел, что прямо передо мною стоит, сложив руки на груди, Квадратов.

Я положил себе в рот большой белый хлеб, потом сразу еще один и принялся жевать, а потом спросил с набитым ртом, ничуть присутствию Квадратова не радуясь:

— Что, вас прислали исповедь у меня принять?

Квадратов улыбнулся мне, и я тут же перестал на него злиться, потому что было это совершенно невозможно.

— Скорей проведать, — осторожно сказал он.

— Ну так передайте им, что нечего меня проведывать, все со мной в порядке, — отвечал я как можно бодрее, — а если они за мероприятие сегодняшнее беспокоятся, то беспокоиться нечего: я исправно явлюсь и буду хоть на задних ногах ходить, хоть детей катать, хоть за Зориним стихи повторять — что прикажут, то и сделаю.

Квадратов помолчал, а потом сказал, оглядевшись:

— Бобо, дорогой, я обещаю — я им всем передам, что вы поели как следует и теперь бодры, веселы и готовы через час явиться к сцене, — ничего серьезного лично от вас, кстати, сегодня не понадобится, нам будут спектакль показывать на свежем воздухе прямо тут недалеко. Но мне-то вы можете сказать, как вы? Поверьте мне, я за вас в душе моей каждую минуту молюсь, и я не исповедовать вас пришел, я... Если я смею — я как друг к вам пришел. Сердце мое за вас разрывается. — И Квадратов, сделав шаг вперед,

протянул было ко мне руку, да так и не решил до меня дотронуться: постоял с поднятой рукой и неловко сунул ее в карман.

Я молчал, но уже не оттого, что хотелось мне молчать: слова душили меня. Я хотел сказать, что я убийца теперь; что душа моя погибла; что терпеть я не мог Аслана, а теперь бы все отдал, чтобы на одну секунду увидеть костлявое личико его и услышать противный его голос, рассуждающий о том, как он будет мариновать мою селезенку; еще раз — что душа моя погибла; что теперь у меня один путь, потому что только так могу я жизни своей смысл придать и смерть Асланову хоть немного искупить, — а потом меня не станет, и мучения мои, слава богу, закончатся; а только мне все еще не будет даже семнадцати лет, и когда я об этом думаю... Тут боль в груди моей стала вновь такой острой, что аж горло перехватило, и я затряс головой и закрыл глаза, чтобы не дать слезам политься, и отвращение к себе заставило меня передернуться. Квадратов кинулся ко мне, раскинув руки, и обнял меня, как мог, и тут уж я, тряпка, тряпка безвольная, разрыдался по-настоящему и только повторял снова и снова:

— Я убью его, я убью его, я его убью!..

Квадратов потихоньку отпустил меня, лишь когда рыдания мои стали всхлипами. О, как я надеялся, что он не понял, о чем это я, — но он понял, он понял прекрасно. Усталые его бледные глаза с льяными ресницами смотрели на меня из-за стареньких очков со странным выражением — не совсем я это выражение понимал. Наконец он сказал задумчиво:

— Экая огромная табакерка...

Все еще всхлипывая, я засмеялся, и вслед за мной засмеялся Квадратов, и некоторое время хохот разбирал нас: стоило нам взглянуть друг на друга, как мы начинали задыхаться и топать и не могли остановиться. Наконец обоих нас попустило, и Квадратов,

пытаюсь отдышаться, огляделся снова и сказал очень тихо, почти вплотную придвинувшись к моему уху:

— Дорогой мой, хороший мой, знаете, почему я знаю, что это дьявол вам нашептывает, что это он искушает вас? Ладно бы потому, что сама мысль такая — она не от Бога: тут не мне рассуждать, это такой сложности вопрос, что у меня от него жалкие остатки волос дыбом встают... Я потому знаю, что у меня внутри все сразу начинает кричать: «Да, да, пусть убьет! Да, да, если не он, то кто?! Смерть, смерть тирану! Пусть душу свою навек погубит, а тирана убьет!» Так вот, я твердо знаю: такие вирусы мозговые, такая легкость заражения злом — это дьяволовых рук дело, всегда, без исключения. И такая абсолютная уверенность в своей правоте — она тоже от Бога не дается.

Теперь Квадратов говорил горячо и испуганно, и его дыхание обжигало мне ухо. Он отошел на шаг назад, чтобы заглянуть мне в правый глаз, и я увидел, что кожа его стала бледна, а жилки на висках дрожат и подпрыгивают.

Сердце мое колотилось.

— А вдруг только так и можно? — сказал я тихо. — Какая разница, от дьявола это или от Бога, если другого спасения нет? Моя душа уже погибла, а сколько людей из-за него еще...

— Так, — перебил меня Квадратов и вдруг стал очень серьезен. — Послушайте меня, пожалуйста. Во-первых, совершенно вы не правы про вашу душу. То, что случилось с Асланом, — чудовищно, ужасно, но замысла вашего дурного, намерения вашего здесь не было. А вот если вы сейчас скажете себе, что душа ваша погибла, погублена, — вы действительно погубите ее, такое не раз с людьми бывало, я это видел: это как будто покажется человеку, что рубашка на нем несвежая, и пойдет он в грязи валяться — а что, рубашки-то больше не жалко... Бобо, дорогой, поверьте немолодому уже попу: я достаточно людей перевидал,

немножко что-то понимаю: прекрасная у вас душа, мудрая, светлая, чистая. Беречь ее надо. Скажите мне, пожалуйста, что вы меня хотя бы слышите.

Я кивнул, с трудом сдерживая слезы.

— Спасибо вам, — с облегчением сказал Квадратов. — Жалко, что не курю я больше, сейчас самое дело закурить бы...

— Вас Кузьма подослал? — спросил я с тайной надеждой.

— Нет, — покачал головой Квадратов. — Нет. С одной стороны, Виктор Аркадьевич про вас беспокоился, чтобы вы в театр явились, а с другой стороны, я и сам собирался к вам идти, очень за вас переживал, и видите — не зря. Спасибо вам еще раз, что поговорили со мной, — камень у меня с души упал.

— Но что же делать мне? — спросил я в отчаянии.

— Я могу сказать только, что бы делал я, — медленно ответил Квадратов. — Я молился бы о наставлении. Есть в одном псалме такие слова: «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей». Я бы их повторял сколько сил хватит. И еще, наверное, я бы пытался, если бы мог, делать добро там, где я есть. Хоть махонькое добро, но пытался бы. Вам, Бобо, в этом смысле большая сила дана, хоть вы этого и не знаете: от вашего присутствия сердце радуется. Как-то так, дорогой.

Я не знал, как ответить Квадратову: мне хотелось сказать, что нет сил моих теперь молиться смиренно о наставлении и делать махонькое добро; сказать, что ощущаемое мною сейчас — это как муст, но только хуже, страшнее, сильнее муста, ибо в мусте ты животное неразумное, и голова твоя не работает, и ярость ослепляет и одуряет тебя, и тебе легко, но сейчас тело мое набито яростью, как мешок камнями, а голова ясна и чиста, и это ужасно и невыносимо, и так, должно быть, родители мои себя чувствовали, когда в бой за своих людей на врага шли, — а он враг, враг,

и я убить его хочу с яростным телом и чистой головой: за людей моих. За плачущего Кузьму и за Толгата, вынужденного треть жизни слоновье дерьмо убирать; за мертвого Мозельского и за Сашеньку, у которого вся душа заросла сувелью; за Катерину и Квадратова; за боящегося нас Поренчука, за озлобленного Потоцкого, за прекрасную ужасную Певицыну, за Соню и Васю и бедную их маму, какой бы там ни была она, за всех, кто стучит меня по бокам и бивни мои лапает, потому что никак иначе жизнь свою изменить не может, — за всех, за всех. Я открыл рот, чтобы вывалить это на Квадратова со всей той злостью, которая ходила во мне, но только покачал головой: надо было защитить от моей злости Квадратова, хоть это я сделать мог. Вместо того я сказал:

— Вы поговорите с Кузьмой, отец Сергей. Страшно мне за него.

— Я бы и рад, — сказал Квадратов, непроизвольно оглядываясь на окно второго этажа, — да не знаю, как подступиться...

Когда нам, однако, пора пришла идти на представление, Кузьма спустился на стоянку бодрый, злой, одетый с иголки, в синем шелковом шейном платке с мелкими бежевыми цветами, пахнущий одеколоном, и сразу прицепился к Зорину: не хочет ли Зорин перед спектаклем осчастливить город чтением своих стихов. Зорин коротко отвечал, что нет, не хочет, и Кузьма изобразил большое изумление и еще большее разочарование: что же это такое, да как же так, без стихов Зорина Самаре и жизнь не в радость! Всю дорогу до ближнего парка он настырно уговаривал Зорина продекламировать «ну хоть стишочек», заверяя, что уже «поговорил и договорился», и наконец Зорин рывкнул:

— Да отъебись ты уже! Старое читать не хочу, а нового у меня нет!

— Вот я тебя и хотел спросить, — тут же подхватил Кузьма. — Что это ты, я вижу, стихов не пишешь? Мало



ли поводов для воспевания? Например, жесты доброй воли по отведению нашей армии на заранее заготовленные позиции перед лицом вражеского наступления — разве эту добрую волю не надо отметить восхищенной одой? Или вот так успешно проходящая мобилизация — ее же совершенно необходимо восславить! Сам посмотри: у мобиков ни броников, ни берцев, ни оружейной подготовки — вся надежда на то, что они пойдут в атаку с твоими боевыми строками на устах и ими одними спасутся! Да, и еще не забудь проклясть отъезжантов, дезертиров, а пуще всего — предателей, сдающихся в плен. Я тебе даже рифму подкину: «плен — измен». Не благодари, мне не жалко. Кроме того...

— Кузьма, — тихо сказал Зорин, оглядываясь по сторонам в поисках сцены и направляясь туда, куда стекались потихоньку посетители парка, — прекрати, хватит. Ты меня на ссору вызвать пытаешься, а я с тобой ссориться не буду. Нам не так долго идти осталось, у нас задача общая, и я эту задачу намерен выполнить, как бы меня ни беспокоили твоё состояние и поведение. А если тебя правда интересует, почему я сейчас стихов не пишу, — пожалуйста: у всякого поэта бывают переломные моменты, когда он чувствует, что прежнюю технику перерос, а новую еще не нашупал. Такой момент сейчас и у меня: я ощущаю, что на пороге чего-то нового стою, а старое мне уже неинтересно. Вот и все.

— Неужели на вражеский верлибр перейдешь? — с деланным ужасом спросил Кузьма.

Зорин только покачал головой и помахал рукою кому-то под сценою впереди: там стоял бледный Поренчук в бежевом, не по погоде легком плаще на клетчатой подкладке. За ним маячил Витенька со своим блокнотом в руках, всматриваясь в нас так старательно, словно пытался мысли наши прочесть.

— Ну, как вам гостиничка? — спросил он торопливо, в два шага оказавшись рядом с нами.

— Лапочка и красоточка! — отвечал Кузьма.

Витенька засиял и выдохнул. Запахло мятной жвачкою.

— Все готово, все готово, — нервно сказал Поренчук, рассматривая сцену, по которой что-то таскали. — Ради всего святого, строго не судите: студенты все-таки. Хотя самарская театральная школа, мне сказали, очень приличной считается... Не знаю, что уж это значит. Вы строго не судите...

— Я уверен, что мы получим огромное удовольствие, — тепло сказал Зорин.

Поренчук благодарно посмотрел на него. Я увидел, что глаза у него красные от усталости и тревоги.

— Георгий Вячеславович, — сказал Кузьма, — мне бы с вами парой слов обмолвиться. Есть у нас пять минуточек?

— Без моего распоряжения не начнут, — сказал Поренчук и поглядел на Кузьму, как зебра Гербера глядела, бывало, на бедного нашего Аслана, когда он с прививочным шприцем к ней крался.

Кузьма поманил меня пальцем, мы отошли подальше, и Поренчук последовал за нами, и Кузьма с Поренчуком укрылись от любопытных взглядов за моим боком; Витеньку же Кузьма остановил жестом, и Витенька пошел командовать людьми на сцене, хотя те, судя по всему, отлично справлялись и без него.

— Георгий Вячеславович, — сказал Кузьма, — тут такое дело. Есть у меня в вашем городе хорошая знакомая, Женя. Ну я и выбрался с ней повидаться, годы, знаете, не видались. А она, оказывается, замуж вышла. Я даже расстроился. И тут вижу — что-то она невесела. Я на нее насел — и знаете что? Муж у нее оказался негодяй последний, страшный: бьет ее, по-настоящему бьет!

Георгий Вячеславович выкатил глаза.

— Кошмар какой! — сказал он испуганно. — Бедная, несчастная женщина! Мы, Кузьма Владимирович, разберемся немедленно, срок мотать будет! Вы только

данные ее мне сообщите, я прямо сейчас и позвоню кому положено — до аута в амбаре просидит, век баланду жрать будет!.. — От волнения покрасневший Георгий Вячеславович перешел, видимо, на более привычный ему язык.

— Вот спасибо вам, дорогой, — тепло сказал Кузьма, — чисто подогрев мне сделали. Только из данных у меня одни имя-отчество — Форц Евгения Анатольевна. Ну да у ваших кому-положено все остальное в заглавничке-то имеется, она шестнадцать, знаете ли, раз к ним являлась, а они ей как водится: «Убьет — тогда и приходите». Ух, как я рад, что нашел человека с понятиями! — И Кузьма крепко пожал Георгию Вячеславовичу бежевое плечо.

Все время, пока Кузьма говорил, румянец сходил со щек Георгия Вячеславовича, и к этому благодарному пожатю важный человек был бледен до синевы, как холерный больной.

— Кузьма... Кузьма Владимирович, — задыхаясь, проговорил он, — а может, вы с ним лично, по-мужски поговорите?

Кузьма, кажется, по-настоящему растерялся. Некоторое время двое государственных людей не мигая смотрели друг на друга.

— Вы поймите меня, — зачастил Георгий Вячеславович, прижимая руки к груди, — дело тонкое... У них, знаете, свои расклады, у нас свои... Мы к ним в лопатник не смотрим, они к нам в дела не лезут, и в городе мир-покой... Я, конечно, попросить могу, так ведь потом с нас попросят, крепко попросят... Я лично бы для вас, Кузьма Владимирович, в лепешку разбился, жизни не пожалел, но не меня же лично потом попросят!..

Кузьма прервал его агонию:

— Георгий Вячеславович, дорогой, все понимаю, о чем речь! Город большой, сложный, дела тонкие. Спасибо вам, что выслушали меня и разложили мне все как следует. Клянусь, без обид!

Бедный Георгий Вячеславович снова порозовел и шумно выдохнул.

— Пойдемте, мой дорогой, спектакль смотреть, студенты истомились, небось, — сказал Кузьма и, взяв несчастного, измученного самарца под руку, под мелким дождичком отправился к сцене.

Я пошел за ними, осторожно раздвигая хоботом редких зрителей, не сбежавших от дурной погоды, и стараясь не напороться глазом на спицу какого-нибудь зонтика. Возле сцены в спешно установленном прозрачном шатре ждали нас Толгат с Зориным. Зорин посмотрел на Кузьму подозрительно, и тот показал ему язык. На сцене изображена была комната — насколько я понимал, небогатая: был тут столик низенький и два кресла по бокам от него, а подальше книжный шкаф и в нем книги и какое-то растение, и постелен был большой темный ковер под кресла и под столик, а справа лежал яркий коврик, и там разбросаны были игрушки. Я вдруг ужасно взволновался: во-первых, никогда я не глядел еще в чью-нибудь комнату, а во-вторых, представлений я в султанском нашем парке видел великое множество, но ни одно из них не происходило в комнате чьей-нибудь, без оркестра, или фейерверка, или без того, чтобы Мурат мой в конце сказал, качая головою: «Почему я, такой нежный, должен все это видеть?» У нас перед началом представления выносили в белом паланкине с расшитым золотом балдахинном небрежно, по-домашнему одетого султана, и он, спешившись, пересаживался в любимое свое покачивающееся кресло, и представление тут же начиналось, причем понятия мы не имели, кто все эти маги, и шпагоглотатели, и красавицы, способные завязаться в узел, — все они были ничтожествами перед лицом Великого Правителя, вот и все. Тут же явно дожидались Кузьмы с Георгием Вячеславовичем, и стоило им появиться, как раздался где-то за сценой громкий перезвон колокольчика,

и вяло болтавшая толпа под зонтиками стихла. Пожилая женщина, дождавшаяся очереди к Зорину на автограф и бурно изливавшая ему историю своих отношений с его поэзией, перешла на шепот, и Зорину пришлось приложить палец к губам, чтобы остановить ее, и все, стоявшие за ней, разом повернулись к этой самой комнате, на которую я смотрел с таким волнением. Вспыхнули мокрые фонари у самого края сцены, и вышла прямо к ним юная, немногим, видимо, старше меня, и очень милая девушка и сказала громко:

— «Повестка». Мини-пьеса самарского студенческого театра. Эскизы и наброски. Автор — Сергей Познанский. Режиссер-постановщик — Юлия Нелепова. В главных ролях — Алина Вострошеева и Виктор Молотов. В роли Паши — Дима Холодов, театральная студия «Рост».

Вышел на сцену маленький мальчик и стал играть с игрушками. Я попытался понять игру его, но не понял, — мне показалось, что он просто перебирает их, и я решил, что он находится, раз так, в большом волнении, и сам оттого еще сильнее разволновался. Тут раздался стук, громкий стук — и я только тогда заметил, что за креслами и столиком есть дверь, просто дверь, никуда не ведущая и ни к чему не прикрепленная. За этой дверью стоял военный с сумкой на боку, в руках у него была бумажка. Через дверь очень быстрым шагом, едва не натыкаясь на кресла, почти пробежал мужчина и открыл эту странную дверь, и военный перешагнул порог.

— Вы Суворов Михаил Александрович? — строго спросил он.

— Я, я, — торопливо сказал мужчина.

Тогда военный дал ему бумажку и попросил у него автограф, как пожилая женщина у Зорина, а потом собрался снова переступить через порог двери, но мужчина сказал:

— Пойдите секунду, ради бога!

Он тоже явно волновался.

— Я столько этого ждал, — сказал мужчина, — и вот..

Военный обернулся и посмотрел на мужчину очень удивленно.

— Ждали? — спросил он.

— Загадал себе, — сказал мужчина проникновенно, — если и сегодня не придет — сам пойду в военкомат. Жене не скажу, пока она на работе будет, — все сделаю и оттуда позвоню. Не могу больше отсиживаться. А тут вы. Вот как сложилось.

— Удивительный вы человек, — сказал военный, а потом, поколебавшись, добавил: — Слушайте, если не трудно, можно чашку чаю? Вы бы знали, что я за день выслушиваю..

— Я буду очень рад, конечно! — сказал мужчина и показал широким жестом на одно из кресел, и военный, аккуратно сняв ботинки у двери, вошел и сел, а мужчина исчез со сцены, и я понял, что сейчас они будут пить чай и разговаривать, — я еще не понял, о чем, но понял, что о чем-то очень важном, и вдруг обнаружил, что переминаюсь с ноги на ногу — так необходимо мне узнать, что сейчас произойдет. И тут, как назло, кто-то сильно толкнул меня в бок.

Это была та самая женщина — Женя, Евгения Форц. Берета на ней не было, не по погоде теплый зеленый пуховик был распахнут, в волосах, падающих на лоб, сверкали капельки дождя. Я мешал ей пройти туда, к прозрачному шатру, к Кузьме, и я собирался уже в ответ на грубость немножко толкнуть ее хоботом, но, едва взглянув на ее лицо, замер от ужаса: почти лиловая правая его половина раздулась так, что глаз едва открывался, и из рассеченной губы медленно сочилась кровь. Я быстро шагнул в сторону. Она пошла вперед и ладонью заколотила по клеенке шатра. Кузьма выскочил к ней и, взяв ее за руку, повел за собой в глубь парка, и я пошел за ними, готовый

притвориться, что меня внезапно одолела естественная нужда, но им явно было не до меня.

— Евгения Анатольевна, что случилось? — спросил Кузьма тихо.

— Угадайте с трех раз, — язвительно ответила женщина, пришепетывая.

Видно было, что говорить ей больно. Кровь из губы пошла сильнее, и Кузьма протянул было ей платок, но она оттолкнула его руку и прижала к губе уже порядком испачканную бумажную салфетку.

Кузьма молчал, опустив голову.

— Скажите мне прямо — вы сделали хоть что-нибудь? — спросила она. — Его арестуют?

— Послушайте, Евгения Анатольевна, — сказал Кузьма с жаром, — дайте мне поговорить с ним. Я царский человек, я его насмерть запугаю. Я...

— Ясно, — спокойно сказала Женя. — Вы такое же говно, как и все. Обычное казенное говно. А я дура беспросветная.

Она повернулась и пошла прочь, обходя зонтики и придерживая салфетку у губы.

— Евгения Анатольевна, ради бога... — безнадежно сказал Кузьма ей в спину, но она уже исчезла.

Кузьма посмотрел на меня. Я не знал, что сказать ему, и отвел глаза. Оба мы медленно пошли назад к сцене. Там, на сцене, женщина кричала на мужчину:

— Ты!.. Ты!.. Подвигов захотел, да? Орденов захотел? Фамилию свою историческую оправдать захотел! А мы, мы — что?! Мы с Пашкой — как?!.. Если... Если... Если тебя...

Тут женщина зарыдала, а мужчина быстро сделал шаг к ней, и вдруг я отчетливо увидел, что он сейчас может ударить ее, ударить со всей дури, страшно, кулаком прямо в лицо, и никто, никто, никто из всей этой толпы под зонтиками...

Я задохнулся и побежал прочь, в сторону, к детской площадке прямо у сцены. Реплики актеров все еще

доносились до меня — кажется, Суворов объяснял там жене, что ее и Пашку он любит больше жизни, а только не в наградах дело и даже не в фамилии, дело в том, что он русский и что Родине он нужен сейчас в бою и что это судьба его — там, на поле боя, ее и Пашку от врага защищать... Здесь, на детской площадке, несколько молодых женщин с малышами медленно переходили от одного мокрого аттракциона к другому, пока отцы смотрели спектакль. Кто-то при виде меня раззявил крошечный ротик и потянул ко мне маленькие ручки в варежках, кто-то перепугался и заревел; я замер и постарался выглядеть как можно приветливее — больше всего на свете мне хотелось сейчас, чтобы кто-нибудь погладил меня и покатался на мне, и порадовался, и посмеялся, но Толгат мой был там, в прозрачном шатре, и некому было сказать этим тихим, опасливым женщинам, что можно подходить ко мне и ничего не бояться. Думал я даже встать на колени и тем проявить добрые свои намерения, но понял, что ничему это не поможет, и хотел было пойти в глубь парка, сделать по пустым осенним аллеям маленький кружок, когда вдруг что-то в театральных звуках резко изменилось: то, что звучало теперь со сцены, перестало быть театральным, что ли. Женщина говорила громко, очень громко, голос ее срывался, время от времени она останавливалась, чтобы перевести дух, и вдруг толпа ахнула. Я стал проталкиваться вбок, туда, к сцене, и, преодолев зонтики, увидел вдруг взлохмаченную голову, зеленый пуховик и заплывшее наполовину лицо... Весь пуховик у Жени Форц был в пятнах, показавшихся мне черными, а руки у Жени Форц были красными, и я перестал слышать, что она говорит, — я только смотрел на нож, большой нож с деревянной ручкой, который она сжимала перед собой в трясущемся кулаке. Время вдруг стало как пустой шар — никто не двигался, и ничего не двигалось. Я смотрел на Кузьму — у него дрожала нижняя губа,



как если бы он хотел закричать во сне, но у него не получалось. Я смотрел на Поренчука — глаза его выкатывались из орбит все дальше и дальше, и мне его стало очень жалко. Я смотрел на Зорина — он медленно, как кошка, крался вперед, выставив перед собою скрюченные пальцы. Я смотрел на актеров, сбившихся в кучку в глубине сцены: девушка, раскинув руки, закрывала собой Суворова, а маленький Паша стоял, разинув рот, на цветном коврике, среди игрушек, и вертел головой. Я смотрел на охранников внизу лестницы, ведущей на сцену, а они смотрели на Поренчука. На всех я успел посмотреть, прежде чем Женя начала медленно наклоняться, все еще держа окровавленный нож перед собой. Она оперлась на свободную руку, тяжело прыгнула со сцены и помчалась в мою сторону, и, когда подбежала, я, сам не зная почему, развернулся и помчался о бок с ней в узкую, темную аллею, и пару раз оба мы оскальзывались, но удерживались на ногах — Женя схватилась за мой хвост, и мы бежали, и сворачивали, и снова бежали, и я, задыхаясь, грохнулся на колени, и Женя, падая и срываясь, забралась наконец в клеть у меня на спине и захлопнула дверцу, и я вскочил на ноги и стоял, задыхаясь, мотая хоботом и дрожа, когда они наконец выскочили из-за поворота. Выскочили — и Зорин заорал:

— Ты, ты, ты — туда! Ты — туда! Ты, ты, ты...

А пока он орал, Кузьма смотрел на меня, а я смотрел на него.

Через час выдвинулись мы в сторону Николаевки, где предстояло нам переночевать и поужинать. Я старался идти бодро и легко, но старания мои, кажется, были излишни: ни шороха, ни звука не раздавалось у Толгата за спиной. Одно не нравилось мне очень: Гошка все время запрокидывал голову и беспокойно принюхивался, высоко подбрасывая передние копыта, пока наконец не сказал озабоченно:

— Бабьей течкой пахнет, а бабы нет. И пахнет-то как-то странно. Не нравится мне.

— Заткнись, — быстро сказал я и тут же пожалел, потому что Гошка немедленно замер (а вместе с ним остановился Яблочко) и спросил подозрительно:

— Что ли, в подводе кто прячется?

— Заткнись и иди, — сказал я в отчаянии, и Гошка тут же выпалил:

— А ты мне не начальник — пасть мою затыкать! Что ли Кузька бабу припрятал? Или даже Зорин наш семейный оскоромился, а? — И Гошка довольно заржал.

— Господи, Гошка, успокойся ты, — сказал Яблочко со вздохом. — Мы знаем, знаем: пусть ты и мерин, а мужик хоть куда.

— Да иди ты на хуй, — озлобился Гошка, — куда я с тобой не пойду. Встану и буду стоять. Пусть я от этого говнюка пизды получу, так зато и ты получишь! — И Гошка, демонстративно запрокинув голову, зарылся в землю копытами.

Зорин, сидевший на козлах, матюкнулся и прикрикнул на лошадок. Яблочко слабо покачал головой, Гошка даже не шевельнулся. Зорин слез с козел и пошел посмотреть, нет ли чего на дороге.

— Толгат Батырович, мне кажется, клеть покосилась, того и гляди упадет, — сказал Кузьма. — Давайте-ка ее поправим. Вы там со своей стороны, а я снизу. Попросите-ка Бобо опуститься.

Толгат похлопал меня по затылку, и я встал на колени. Кузьма поспешно заглянул в просвет между частыми прутьями клетки и шепотом спросил:

— Женя, вы как?

— Пить, — прошептали изнутри.

Толгат оглянулся. Зорин, вновь усевшись на козлы, пытался сдвинуть лошадок с места. Толгат кивнул. Тогда Кузьма подал стоящему позади меня Квадратову знак, и тот, достав из рюкзака маленькую бутылку с водой,

перекинул ему. Кузьма медленно-медленно стал приоткрывать дверцу клетки, и та страшно закричала. Сердце мое ушло в желудок, и я зажмурился от ужаса. Кузьма протиснул в зазор бутылочку, захлопнул чертову дверцу, и вдруг над ухом моим разъяренный голос произнес:

— Что происходит?! Откройте клеть.

— Зорин, не ори, голова раскалывается, — сказал Кузьма устало.

— Откройте клеть, или я ее сам открою, — сказал Зорин угрожающе.

— Все-то тебе, Зорин, знать надо, — грустно сказал Кузьма. — Не хочешь ты, Зорин, отдохнуть, полюбоваться пей...

И тут в руках у Зорина что-то блеснуло.

— Откройте клеть, — сказал Зорин, наставляя на дверцу пистолет. — Я начальник охраны этой экспедиции, и любого не согласованного со мной постороннего я считаю угрозой безопасности Российского государства.

— Зорин, ты оху... — начал Кузьма, но тут дверь клетки со страшным скрипом распахнулась.

Зорин, продолжая держать перед собой пистолет, заглянул внутрь, а потом медленно отступил и вернул пистолет в кобуру. Женя вылезла из клетки и спрыгнула на землю, и Зорин тут же взял ее жестко за предплечье, и она, не сопротивляясь, опустила патлатую голову.

— Нет, — сказал Зорин печально, — нет. Это ты, Кузьма, охуел. Живи дальше как хочешь, а только я умываю руки. С мнениями твоими я мог спорить, а вот преступлениям твоим я не соучастник. Про письмо не заботься — я доставлю. Хотя тебе, наверное, наплевать.

С этими словами Зорин, таща за собой Женю, подошел к подводе, порылся в ней, достал свой баул, взвалил его на плечо и зашагал обратно в сторону Самары.

— Отец Сергей, вы лошадьми править умеете? — спросил Кузьма.

## Глава 25. Нефтегорск

Я должен умереть.

Я убить его не могу и служить ему не могу.

Все могло бы быть просто: я мог бы перестать есть сейчас, прямо сейчас, но они немедленно все поймут и будут мучиться, убеждать, уговаривать, и я не выдержу этого. Нет, потом, уже там. Но как же Толгат? Ведь на него повесят смерть мою — что он плохо ходил за мной, что он не смог заставить меня есть, что... Господи, Господи, наставь меня на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей! Господи, Господи, Господи!..

Подвода наша теперь была совсем легка, лошадки бежали лесом довольно резво, резво шел и я — не видя дороги, не чувствуя ничего, не понимая, что происходит вокруг. В Просвете, поев шашлыков в маленькой придорожной шашлычной, Толгат попросил у хозяев шланг и горячей водой помыл меня хорошенько. На холоде от меня шел пар, и все время, пока тер он меня купленной тут же автомобильной губкой и намыливал остатками любимого моего шампуня с розовым ароматом, я рыдал, рыдал до дрожи — я оплакивал свою невинность, я полагаю, оплакивал розовые сопли свои. А когда последние капли упали из шланга, увидел я слезы на глазах Толгата, и думаю, что сердце мое только чудом тогда не разорвалось.

Нефтегорск оказался маленьким, много меньше имени своего, и мы прямо с подводой дошли до небольшой

площади перед обсаженным елями трехэтажным зданием, где назначена нам была встреча. Как только мы появились из-за поворота, какой-то мальчонка, явно поджидавший нас, сорвался с места и, грохоча ботинками, помчался вперед, к зданию, и, когда мы подошли, у бегущей меж елей асфальтовой дорожки встречали нас высокая женщина с пышной косою, в бледно-желтом брючном костюме, невысокий полный мужчина и две маленькие дрожащие девочки в беленьких рубашечках, беленьких гольфиках, темненьких курточках и черных сапожках. Кузьма, успевший слезть с подводы и шагавший теперь слева от меня, едва слышно вздохнул, а пристроившийся справа от меня Квадратов тихо сказал: «И снова здравствуйте». Толгат потянул меня легонько за уши, и мы остановились. Женщина щелкнула пальцами, и тут же девчушки сорвались с места: одна подбежала к Кузьме, а другая к Квадратову. Хором прокричав: «Мы счастливы видеть любимых гостей! Пусть будет ваш путь полон добрых вестей!», они протянули свои подношения и застыли с несколько пугающими улыбками, и я вдруг понял, что лет им по десять-одиннадцать, но, несмотря на это, они вполне мастерски накрашены. У одной на вытянутых руках лежало расшитое красными нитками белое полотенце, поверх него разместился увесистый круглый хлеб, очень красивый, весь в цветочках, а посреди хлеба, опасно покачиваясь, стояла стеклянная высокая солонка. У другой маленькой красавицы было такое же полотенце, но поверх него лежал довольно увесистый золотой ключ. Квадратов растерянно посмотрел на Кузьму, но Кузьма был занят делом: он с серьезным видом отломил маленький кусочек хлеба, обмакнул его в соль (предусмотрительно придержав солонку) и положил в рот, прожевал, проглотил и легонько поклонился девочке. Та с облегчением вздохнула и вдруг улыбнулась живой детской улыбкой, которую не портила даже помада, отпечатавшаяся у нее на зубах. Тогда Квадратов взял ключ,

зачем-то потряс им в воздухе три раза и тоже поклонился стоявшей перед ним малышке, и та смущенно хрюкнула. Держа перед собой остатки даров и выбрасывая вперед вытянутые ножки, чеканным шагом они пошли назад, к женщине с мужчиной, но потом сбились на бег и, тряся бантиками, улизнули. Женщина первой двинулась к нам, мужчина поспешил за ней, и Кузьма, предваряя неловкие вопросы, сразу сказал:

— Мы в сокращенном составе, дорогие коллеги: всего-то я да Толгат Батырович, опекун Бобо, да наш прекрасный отец Сергей Квадратов. Знаю, вы ждали, наверное, знаменитого нашего поэта Виктора Аркадьевича Зорина, но неотложные государственные дела потребовали его присутствия в Москве.

— Это очень жаль, — сказала женщина, и слышно было, что где-то у нее явно заготовлена книжка для автографа, причем не одна, — но мы вам рады, очень-очень рады, большая честь для нас, Кузьма Владимирович, Толгат Батырович, большая честь, отец Сергей. Благословите, батюшка!

Квадратов, приняв свой священный вид, как я это про себя называл, выполнил ее просьбу, благословив и подкатившегося под руку полного мужчину, представившегося Юрием Ивановичем (а женщина была Нина Федоровна, и, по ее выражению, «вместе они были администрация»).

— С доченьками нашими познакомились, — просто сказала Нина Федоровна, — а теперь мы спросить хотели: не сочтите за дерзость, но вы, наверное, ресторанов-то навидались в пути, — может, вы домашненького захотите? Мы подумали вас на обед к себе пригласить... Только вы честно скажите, если это наглость! — зачатила она. — В ресторане тоже все готово по высшему классу, мы просто подумали...

— Нина Федоровна, родненькая, — тепло сказал Кузьма, беря руки женщины в свои, — я так вам благодарен! Не могу уже видеть эти чертовы рестораны!

Восемь месяцев в дороге — порога жилья человеческого не переступал! Да и разве поговоришь нормально в ресторане? Везде же уши! Такое вам спасибо! Толгат Батырович, отец Сергей, вы как насчет в гости сходить?

Квадратов развел руками и кивнул, Толгат улыбнулся, и Кузьма снова принялся благодарить Нину Федоровну, переводя взгляд с нее на ее мужа и административного поделщика.

Из теплого гаража двухэтажного кирпичного дома на улице Южной вывели «мерседес» и «тойоту», а вместо них завели внутрь меня, и я увидел железные полки, ломящиеся от всякой еды, явно к моему удовольствию приготовленной, и с отвращением обнаружил среди апельсинов, и булок, и бананов, и всякой прочей снеди равномерно распределенные ананасы. Аппетит, с которым у меня и так было плохо, улетучился окончательно. Толгат попросил опускающуюся с потолка автоматическую дверь в мой гараж не закрывать до конца, и к проему между ее краем и полом подтянули два тепловентилятора, кровожадно сиявшие красно-оранжевыми пастями. Стемнело быстро, снежок медленно падал на порог гаража и таял в зубах тепловентиляторов. Может, в том было дело, что я впервые за много суток полностью отогрелся, а может, в том, что остался я наконец совершенно один, но только вдруг все, все стало мне все равно: словно бы та машинка живая, которая у меня внутри билась, и страдала, и умирала от боли, и сомнений, и страхов, не выдержала напряжения и какая-то пружина в ней лопнула, и она замерла. Я не спал — я был сейчас просто животное, животное, которое ничего не хотело, ничего не понимало, ни к чему не имело отношения. Все было от меня далеко. Я помочился. Я вдыхал запах фруктов и был им сыт. Я смотрел сквозь щель на падающий снег и был им околдован. Я чувствовал, что тонкая нитка слюны сбегает из правого уголка моего рта, и умилялся ей. Ничего не было мне нужно.

Он влез в дверную щель и некоторое время не приближался ко мне — ходил вокруг, трогал вещи, делал вид, что слона-то он и не заметил. Он был рыжий, полный, ухоженный, и в целом вид у него был такой, словно и ему тоже ничего не нужно, но я знал, знал, что ему, как и всем, было что-то нужно от меня, и мне захотелось плакать, потому что я понимал, что даже если я затопаю на него, затрублю, что, даже если по сигнальной видеосвязи, которую Толгат показал мне, заметят его и прибегут и он испугается и исчезнет, блаженство мое не вернется ко мне. Разумеется, я не стал топтать и трубить. Разумеется, он постепенно подходил ко мне все ближе и ближе, наматывал круги и наконец потерял о мою ногу, выскрив искру. Ждать не имело смысла. Я резко развернулся, задев боком одну из железных полок (посыпались ананасы), и спросил прямо:

— Что вам надо от меня? Чего вы хотите?

Он испугался, шарахнулся, выгнул спину, но тут же справился с собою: настолько ему, видимо, нужно было что-то от меня. Я вдруг понял, что он не знает, как начать, и еще — что ему страшно; страшно не меня, нет, — что есть какой-то страх, который давно уже его мучает, и что этот страх пригнал его сюда, ко мне, громадине, и что предпочел бы он сюда не идти. Это я мог понять, и стало мне его жалко.

— Сядьте, пожалуйста, — сказал я негромко, боясь, что сработает сигнальная система, — сядьте. Что-то случилось у вас? Я чем-то могу помочь?

Мне показалось, что он успокоился немного. Походив кругами на одном месте с задранной хвостом, как это у его рода заведено, он действительно сел, смущенно протер усы и в яростном свете тепловентиляторов стал еще рыжее.

— Мне нечем угостить вас, вы простите, — сказала я, стараясь звучать приветливо. — Я сам тут не дома, молока мне не поднесли, а ананасов вы не едите...



— Это ничего, — сказал он быстро. — Ну что вы, в самом деле, я же не откушать пришел... Вы простите меня, что я пришел вообще, я понимаю, вы устали, небось, страшно, а я... Но сил моих больше нет, а город крошечный, а уйти далеко я не могу, они с ума сойдут, там ребенок особенно... А то бы я попробовал до Самары добежать, черт с ними, с собаками, хотя я в жизни, если честно, дальше этого двора от своего соседнего не ходил... Господи, — вдруг спохватился он и закрыл лицо лапой, — я болтаю, вы простите меня, это я от волнения, вы большое лицо, — и тут же в ужасе прикрыл себе рот и пробормотал: — Ужас, я не имел в виду...

Я коснулся его хоботом, надеясь успокоить, и сказал:

— Вы не волнуйтесь, ради бога, я теперь и сам волнуясь! Я рад вас видеть, я вижу, у вас дело важное, я не знаю, смогу ли я помочь, но я рад буду поговорить.

Он проводил мой хобот замороженным взглядом и громко перевел дух. Тело его, кажется, расслабилось. Некоторое время провели мы в молчании. Наконец он сказал:

— Я почему пришел... Вдруг вы знаете... Вы и в другой стране жили, и столько повидали, и такой путь проделали, и сами царский вельможа — я даже и не надеюсь, а только вдруг, ну вдруг вы знаете! Скажите, пожалуйста, если детям пятнадцать и шестнадцать лет, они четвертое поколение, а оба родителя — третье, есть ли хоть какой-то шанс, что дети пойдут в армию в семнадцать лет, а не в восемнадцать и родители смогут уехать из страны? Они хотят детей вывезти, а жить они там не хотят, хотят дальше двигать в Штаты, но для этого дети должны быть в армии, конечно, гражданства-то у них, как у четвертого поколения, сразу не будет, а только после армии...

Он смотрел на меня своими прекрасными круглыми глазами, напряженно приоткрыв рот, а я только хлопал веками, не понимая совершенно ничего, и он тут же устыдился, что поставил меня в это положение,

и замахал лапой, и замотал головой, и заговорил быстро, что должен немедленно идти, что его сейчас хватятся, что то, что се...

— Подождите, подождите, подождите, — перебил его я. — Объясните мне, пожалуйста, о чем...

— Нет-нет-нет, — сказал он, — я просто вдруг подумал... Господи, ну конечно, вам не до того, у вас в голове дела государственные! Вы простите меня, ради всего святого, за глупость и эгоизм. Эгоизм, эгоизм — вот главная беда моя. Им нельзя здесь оставаться, они с ума сходят после... После того как этот пиздец, — простите, нет у меня другого слова, — начался. Они люди тонкие, интеллигентные, их в клочья рвет, не могут, ну не могут они быть причастны к этому государству! А детей тут растить? А «Разговоры о важном» в школах? Нет, нет и нет! — сказал он вдруг очень решительно. — Только уезжать! Заграны есть, деньги кое-какие есть у нас. А только... — Тут он запнулся, и мне вдруг стало очень больно на него смотреть, но он продолжил совершенно буднично: — Меня они не смогут повезти, конечно: мы с одними справками хлопот не оберемся, и потом, меня в багажное отделение сдавать у них сердце разорвется, мы все знаем, что там творится, в багажном-то отделении... Нет, нет и нет. Но если дети в семнадцать лет не могут в армию пойти и придется три года там высиживать... Три года очень много... Может, и не поедут, может, и останутся... Но я, конечно, за то, чтоб они немедленно, немедленно ехали! — сказал он, резко вскидывая голову. — Не могут наши дети тут расти! Нельзя, нельзя, нельзя!.. Но вам, вам я не должен был голову морочить. — И он опять замахал на меня лапой. — Эгоизм, эгоизм, простите и помилуйте! — И он вскочил на все четыре лапы.

Я открыл было рот ответить ему, но тут он исчез, просто исчез, потому что, согнувшись в три погибели, между дверью и порогом протискивался ко мне Квадратов, роняя и подбирая очки раз, и второй, и третий,

сбивая тепловентилятор, поднимая его, обжигая палец, вскрикивая и наконец с кряхтением выпрямившись, он, вместо того чтобы заговорить со мной, принялся ходить вокруг, трогать вещи, и я вдруг понял, что он почему-то собирается с духом, и сделалось мне страшно. Некоторое время я молчал и сопел, но вскоре не выдержал:

— Отец Сергей, не мучайте меня. Скажите, случилось что-то с Толггатом? С Кузьмой?..

Он чуть не подскочил и ответил немедленно:

— Нет-нет, что вы, милый мой, нет! Простите меня, раздолбая нерешительного, все наши целы! Это у меня вести дурные, совсем дурные... Сидели мы там, у этих людей... удивительных, слушали их рассуждения. Чувство, знаете, поразительное: они крокодилы, абсолютные крокодилы — жесткие, ни во что не верящие, циничные, — но вот дали им в руки город, и они чувствуют за него ответственность и честно на него работают — ну в том смысле, в котором они понимают честность, — но следят, чтобы в какой-то мере было сыто, чисто, то, се... Наверное, и крокодилы за своей заводью следят, не знаю, надо будет почитать...

Я молчал и смотрел на него; голос его был спокойным, а руки, вертевшие апельсин и твердыми ногтями выдавливавшие в кожуре лунки, дрожали.

— Дорогой мой, любимый мой, оставляю я вас, — сказал он и вдруг прижался, раскинув руки, всем телом к моему лбу, и апельсин пришелся аккурат в выемку моего левого уха.

Я почувствовал, что мозг мой отказывается понимать, что Квадратов говорит. Я затряс головой, и ему пришлось отпустить меня. Печально он отступил. Я закрыл глаза, чтобы его не видеть, а он сказал:

— Телевизор они включили, а там сидит... Морда. И говорит о духовнике моем бывшем, об отце Павле. Арестовали его, показательное дело устраивают, чтобы попов запугать, если кто еще не запуган. Да на

такое с детьми намекают, что меня чуть всем обедом не вырвало... Дорогой мой, хороший, надо мне назад идти, с ним быть.

— Но вы же хотели... — начал я поспешно.

— Дурак я был, — махнул Квадратов рукой с апельсином и вдруг уставился на этот апельсин, как будто впервые его увидел. — С кем я разговаривать хотел? С главным крокодилом, с Крокодилом Крокодиловичем. Дурак, дурак, все это время мог... Ладно, сейчас казнить — только пыль поднимать. Милый мой, хороший, молитесь за меня, дурака, а пуще меня молитесь, прошу вас, за отца Павла Шольберга, обещаете мне? Большим это утешением для меня будет.

У меня не было сил открыть рот — я понимал, что если я сделаю это, я завою, — и я только кивнул с закрытыми глазами. Он постоял еще секунду, опустив голову, и с кряхтеньем полез обратно в щель. Несколько секунд я видел его ботинки — как тает под ними снег, пока он идет к подводе за своими вещами.

И я не умер.

— «Любимые мои Бобо и Кузьма Владимирович! Когда вы проснетесь и станете читать это письмо, я буду ехать поездом из Сорочинска в Орск, домой. Я чувствую себя совершенным предателем и понимаю, что никакие слова не могут этого изменить. Но все-таки я попытаюсь в последней надежде объяснить, почему я должен был...» Тут зачеркнуто, — сказал Кузьма, — и вместо «должен был» написано «не имел выбора и не могу оставаться с вами. Поверьте мне, ради бога: это решение стоило мне страшных мучений, мучений, про которые мне стыдно здесь рассказывать, потому что они — последнее, что должно вас сейчас интересовать. Но я не могу, я не могу служить лично этим людям, этому человеку; я не могу находиться в его непосредственной близости, я не могу...».

Я перебил его и закричал голосом, которого сам испугался:

— Не читайте мне!!! Я не хочу, я не буду... Я не хочу о нем слышать!!!

Кузьма отшатнулся, и я, испугавшись себя самого, побежал вперед, мимо кострища, у которого еще вчера Кузьма с Толгатом вдвоем сидели, и шорох пролетающих за кустами по шоссе фур казался мне змеиным шипением. Я кругами бегал по поляне, погибая от боли, но запах, запах Толгата был со мною, у меня на загривке, в чертовой попоне моей, в каждой моей

клеточке, и я бегал, бегал, бегал. Наконец я остановился и упал на колени перед Кузьмою, словно бы Толгат мог сойти с меня. Худые мои бока ходили ходуном, и Кузьма меня обнял, обнял и прижался ко мне, как прижимался вчера Квадратов. Я оттолкнул его хоботом и поднял на него глаза; задыхаясь, я не мог говорить.

Время шло.

Наконец сказал я ему просто:

— Все. Все.

Он понял, он понимал это уже. Медленно обошел он клеть, закрепленную у меня на спине, и полез в нее и вылез обратно, и в руках у него был Асланов кожаный саквояж. Раскрыв заедающий замок, он принялся в нем рыться, потом выкрикнул дурное слово и стал извлекать оттуда по одному страшные инструменты и докопался наконец до небольшой черной сумочки, закрытой на молнию. Пальцы у него стали белые. Там, в сумочке, были шприцы и ампулы, и он стал читать надписи на ампулах и все время что-то говорил, да я не слушал уже. Я лежал и смотрел на Кузьму, и все было расплывчатым, и Кузьма был расплывчатый, и сам я был расплывчатый и пустой, как выпитый мех. Вдруг три малые скляночки оказались у него в ладони — малые скляночки с красными головками, и на каждой скляночке было написано «Narkamon 100».

Кузьма лег к моему животу, свернувшись калачиком и вжавшись в меня спиной, и я понял про любовь все, чего раньше еще не понимал. «А хорошо, — подумал я, — что мы лошадок в Нефтегорске оставили». И еще подумал: «Яблочка хочется».

Время для меня не шло больше.

Потом кольнуло что-то под мышку, я дернул головой и увидел на секунду, как из-за шоссе красное солнце встает.

## Глава 27. Оренбург

Сначала меня страшно трясло из стороны в сторону, и я понял, что это фура, и несколько раз меня рвало. Потом была слишком узкая сходня, с которой я едва не упал вбок, но все-таки народился в страшных муках из проклятой фуры на невыносимый свет, и рядом был предатель Кузьма, которого глаза мои не желали видеть. Потом асфальт, ужасный изгибающийся асфальт, норовивший лентою сложиться у меня под дрожащими, кисельными ногами и удариться об лицо мое. Потом я не помню. Потом мы стояли, стояли, стояли, и я трясся, трясся, трясся. Потом что-то ухнуло, рухнуло, потащило меня вниз, и я сблевал. Потом не помню. Тело мое колотилось, зуб не попадал на зуб, и стояли кругом меня вдоль серых бетонных стен люди в костюмах, и смотрели на меня, и молчали. Я узнал Шойгу, и Лаврова, и смуглая небольшая женщина в белом костюме показалась мне знакомой, и еще кто-то, и я закрыл глаза. Вдруг прошел по этой бетонной зале какой-то вздох. Я открыл глаза. Серый человек деревянной походкою шел ко мне. Я смотрел на него безотрывно, а он на меня. Он подошел к левому моему боку и обернулся. Тут же какие-то двое громадин появились с большою стремянкою и к моему боку плотно ее прислонили, и он полез вверх и потом пополз на четвереньках по спине моей и уселся на меня. Отделился от стены человек с огромным

фотоаппаратом в руках и забегал, забегал туда-сюда вдоль правого моего бока. Что-то спланировало на пол, и я понял, что это серая рубашка, сброшенная серым человеком, и что теперь он почему-то с голым торсом у меня на загривке сидит. Вдруг человек с фотоаппаратом замер, скрючившись, на полусогнутых ногах. Вспыхнула над его камерой бешеная лампочка; он выпрямился и отошел молча назад, к бетонной стене, и словно бы в ней растворился. На спине моей почувствовалось шевеление. Двое богатырей, вынесших стрелянку, бросились к ней и вцепились опять в нее, и я понял, что сейчас он спустится с меня.

И вдруг я осознал, что это все. Все. Что это и есть то, зачем я нужен был ему, и больше я его не увижу.

Меня передернуло.

Он поехал по моей спине, пытаюсь зацепиться за шкуру мою слабыми старческими пальцами, и от брезгливости я передернулся еще сильнее, и он заскользил быстрее, быстрее и через секунду... Был удар тела о бетонный пол — глухой, сильный удар, — и тихий треск, и, когда я посмотрел на него, спина его была скрючена, руки распахнуты, а голова на искривленной шее смотрела назад, и было понятно, что все. Все.

Они словно все одновременно захлебнулись воздухом, а потом — я не понял как — у каждого из них в руках оказался пистолет; один Шойгу замешкался, выдирая оружие из кобуры, но под конец справился и он. Все они целились друг в друга, водили жалами из стороны в сторону, а Кузьма тянул меня за хвост прочь, тянул и тянул, тянул и тянул, но я не мог уйти. Я должен был досмотреть.



## Оглавление

|   |     |
|---|-----|
| Глава 1. Стамбул . . . . .                  | 5   |
| Глава 2. Керчь . . . . .                    | 13  |
| Глава 3. Новороссийск . . . . .             | 32  |
| Глава 4. Ильский . . . . .                  | 45  |
| Глава 5. Краснодар . . . . .                | 56  |
| Глава 6. Крыловская . . . . .               | 71  |
| Глава 7. Ростов-на-Дону. . . . .            | 84  |
| Глава 8. Новочеркасск . . . . .             | 100 |
| Глава 9. Богучар . . . . .                  | 113 |
| Глава 10. Тамбов . . . . .                  | 131 |
| Глава 11. Моршанск . . . . .                | 146 |
| Глава 12. Рязань . . . . .                  | 162 |
| Глава 13. Григорьевское. . . . .            | 177 |
| Глава 14. Коломна . . . . .                 | 178 |
| Глава 15. Москва . . . . .                  | 189 |
| Глава 16. Гусь-Хрустальный . . . . .        | 207 |
| Глава 17. Муром . . . . .                   | 224 |
| Глава 18. Арзамас . . . . .                 | 237 |
| Глава 19. Дзержинск . . . . .               | 257 |
| Глава 20. Нижний Новгород . . . . .         | 278 |
| Глава 21. Ивановково-Ленинское. . . . .     | 312 |
| Глава 22. Ульяновск . . . . .               | 330 |
| Глава 23. Тольятти . . . . .                | 345 |
| Глава 24. Самара . . . . .                  | 371 |
| Глава 25. Нефтегорск . . . . .              | 395 |
| Глава 26. У шоссе под Сорочинском . . . . . | 404 |
| Глава 27. Оренбург . . . . .                | 406 |